

ЮЛИАН ОТСТУПНИК



Жак
Бенжа-Мешен



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Annotation

Личность императора Юлиана (331–363) постоянно привлекает к себе внимание историков, писателей, поэтов. В христианской традиции он известен под уничижительным прозвищем Отступник: именно ему принадлежит последняя попытка возродить язычество в качестве государственной религии Римской империи. Вместе с тем император Юлиан вошел в историю как выдающийся полководец, незаурядный писатель, оригинальный мыслитель, оставивший потомкам свои сочинения, как человек исключительных личных качеств... Известный французский историк и писатель Жак Бенуа-Мешен, автор серии романов о выдающихся личностях в истории человечества, предлагает свой взгляд на императора-реформатора, попытавшегося остановить время и, по существу, повернуть историю вспять.

Перевод осуществлен по изданию: Benoist-Méchin. L'Empereur Julien ou le rêve calciné (331–363). Paris: Perrin, 1997.

- [Жак Бенуа-Мешен](#)
 - [ПРЕДИСЛОВИЕ](#)
 - [ЧАСТЬ ПЕРВАЯ](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
 - [XI](#)
 - [XII](#)
 - [XIII](#)
 - [XIV](#)
 - [XV](#)
 - [XVI](#)
 - [XVII](#)

- [XVIII](#)
- [XIX](#)
- [ЧАСТЬ ВТОРАЯ](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [X](#)
 - [XI](#)
 - [XII](#)
 - [XIII](#)
 - [XIV](#)
 - [XV](#)
 - [XVI](#)
 - [XVII](#)
 - [XVIII](#)
 - [XIX](#)
 - [XX](#)
 - [XXI](#)
- [ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
- [ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)

- [VI](#)
- [VII](#)
- [VIII](#)
- [IX](#)
- [X](#)
- [XI](#)
- [XII](#)
- [XIII](#)
- [ЧАСТЬ ПЯТАЯ](#)
 - [I](#)
 - [II](#)
- [ЗАКЛЮЧЕНИЕ](#)
- [ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ](#)
 - [Часть первая](#)
 - [Часть вторая](#)
 - [Часть третья](#)
 - [Часть четвертая](#)
 - [Часть пятая](#)
 - [Заключение](#)
- [ЛИТЕРАТУРА](#)
- [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ ИМПЕРАТОРА ЮЛИАНА](#)
- [Иллюстрации](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)

- [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
-

Жак Бенуа-Мешен
ИМПЕРАТОР ЮЛИАН, или
ОПАЛЕННАЯ МЕЧТА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Человек, живущий в эпоху перемен... По восточным представлениям, это равносильно проклятию. Ибо человек, живущий в эпоху перемен, обязательно становится жертвой Истории. Это относится и к простым смертным, и к властителям народов, даже к императорам, хотя им самим казалось, будто им подвластно все — не только пространство, но и само время, которое будто бы можно остановить или даже повернуть вспять...

К таким эпическим — и одновременно трагическим — фигурам принадлежит император Юлиан, прозванный в христианской традиции Отступником, — император, вступивший на престол правителя Римской империи в 361 году, когда эта империя уже без малого пятьдесят лет — со времени Константина Великого — жила в новом христианском облике. Она уже стала Византийской империей, как назовут ее по имени ее новой столицы — Константинополя, или Византия, куда были перенесены из Рима и резиденция императора, и его двор, и даже сенат. Христианская Византия была призвана занять место языческого Рима как центр империи, центр мира, центр цивилизации. Но путь истории сложен и тернист, он никогда не бывает прямым.

Флавий Клавдий Юлиан — племянник основателя Византийской империи Константина I Великого — родился в 332 году в новой столице. В 355 году он был уже цезарем в римской западной провинции Галлии, а в 361-м вступил на императорский престол в Константинополе. Воспитанный в христианском духе, изучавший с юности философские труды неоплатоников, посвященный в восточные мистические религиозные таинства, тяготевший к языческим культам единого бога — Солнца, он запечатлелся в истории в образе правителя-реформатора, решившего взяться за восстановление язычества на всем пространстве империи и «отступившего» (отсюда его прозвище) от утвердившегося было в качестве государственной религии христианства.

При недолгом правлении Юлиана (361–363) возобновились языческие жертвоприношения, был восстановлен в своих правах античный пантеон, вновь зазвучали древние оракулы, проводились мистерии и магические обряды. Сам Юлиан искренне верил и в неоплатоновское учение о Едином, и в гадания, и в вечный космос, почитал величайшего из богов — Солнце. Античная философия, языческая мистика и восточные культы переплелись в мировоззрении императора-реставратора, создавшего фактически

собственное учение, воплощенное в написанных им сочинениях, таких, как «К царю Гелиосу» («К царю Солнцу») и «К Матери богов». Юлиан писал и полемические трактаты, например, «Против галилеян», то есть против христиан, в котором спорил с одним из авторитетнейших христианских учителей — Кириллом Александрийским; а в сочинении «Пир» (название соименно платоновскому произведению) в манере менипповой сатиры подвергал критике некоторых из своих предшественников. Свои сочинения Юлиан писал по-гречески; сохранились его речи, послание сенату и народу Афин, письма, инвективы против киников. В своей религиозной политике Юлиан прошел путь от молчаливого согласия с акциями фанатичной толпы, растерзавшей в Александрии местного епископа, до активного поощрения подобных действий и притеснений христианских учителей и священников. Впрочем, он пытался воздействовать на оппонентов в своей полемике силой аргументов, стремясь показать невозможность обожествления никакого человека, невозможность даже мысли о богочеловеке.

Этические нормы, поведенческие принципы, исповедуемые Юлианом, отличались строгостью, самодисциплиной в духе древнего стоицизма. В войнах, которые он вел, он был бесстрашным, нередко находился в самой гуще боя. Во время последнего своего похода на парфян в Персии он получил смертельную рану, и, если верить свидетельству современника, сопровождавшего императора в войнах, — знаменитого историка Аммиана Марцеллина, встретил смерть в сознании высшей силы духа, позволяющей презреть земное, плотское и принять смерть как дар богов. Последние слова Юлиана, переданные историком, звучат как завет: «Слишком рано, друзья мои, пришло для меня время уйти из жизни, которую я как честный должник рад отдать требующей ее назад природе. Не горюю я и не скорблю, как можно думать, потому что я проникнут общим убеждением философов, что дух много выше тела, и представляю себе, что всякое отделение лучшего элемента от худшего должно внушать радость, а не скорбь. Я верю и в то, что боги небесные даровали смерть некоторым благочестивым людям как высшую награду. И мне дали этот дар... Я знаю на опыте, что всякое горе сокрушает малодушных, оказываясь бессильным перед человеком твердого духа».

Юлиан скончался 26 июня 363 года, на тридцать втором году жизни, почти в возрасте Христа, однако так и не создав культа, который мог бы быть противопоставлен христианству. «Ты победил, Назаретянин!» — эти слова, как бы обращенные к Христу, приписывают последнему языческому императору, понявшему тщетность собственных усилий.

Современники относились к нему противоречиво и давали ему противоположные оценки. Так, ранневизантийский историк Евнапий (ум. ок. 420), учившийся в лидийском городе Сарды у неоплатоника Хрисанфия, одного из воспитателей Юлиана, составил в виде исторического повествования о годах правления императора-реставратора своего рода энкомий — похвальное слово Юлиану (так, во всяком случае, оценил его выдающийся знаток греческой литературы константинопольский патриарх Фотий, живший в IX веке). Напротив, автор «Церковной истории», столичный юрист и ритор Сократ Схоластик (ок. 380–440) осуждает Юлиана. Правда, это осуждение касается не столько того, что император пытался возродить язычество, сколько того, что он своими действиями ... отлучил христиан от возможности получить классическое, «эллинское», образование, приобщиться к античным, то есть языческим, наукам! Утверждение христианских религиозных ценностей должно, по мысли церковного историка, происходить не в ущерб классическому культурному наследию «эллинства»-язычества, а в связи с ним: не случайно сам Сократ Схоластик неоднократно ссылается на авторитет античных философов — Платона и Сократа, Аристотеля и Пифагора, Плотина и Порфирия, Оригена и др. В сознании константинопольского историка-юриста судьбы древней культуры и утвердившейся религии представляются взаимосвязанными и взаимозависимыми.

Юлиан же, в изображении Сократа, противопоставив древний культ христианству, проявил свое двуличие. Лицемерие оказывается главным пороком Отступника: скрывавший поначалу свое пристрастие к язычеству, он обратился к гонению на инакомыслящих, лишь утвердившись в своей власти. Нравственному двуличию соответствует и внешний портрет императора, построенный Сократом на противоречиях и выдержанный в характеристиках, данных Юлиану Григорием Назианзином.

Прославленный христианский учитель, один из Отцов Церкви, Григорий Назианзин, или святой Григорий Богослов (329/330–390), был также современником Юлиана. Велико его литературное наследие — 45 проникновенных речей, 245 писем, многочисленные стихотворные произведения. Их стиль считался образцовым у окружавших его людей независимо от их религиозных убеждений. Юлиану адресовано два пространных обличительных слова каппадокийского святителя. Он признает Юлиана отступником не только от Бога, но и от здравого смысла. Юлиан достоин осуждения как первый из христианских царей, восставший против Христа. Истребив знамя с изображением Святого Креста, он открыто начинает гонения, лишая христиан покровительства законов,

других же хитростью стремясь склонить к идолопоклонству. Он не только был недоволен избранием Евсевия Кесарийского на епископский престол, но изгнал и святого Афанасия Александрийского, пытался злоумышлять против Василия Великого и самого Григория. Вместе с тем Юлиан вводил подобие христианских институтов среди язычников, а иудеев побуждал к воссозданию иерусалимского храма. К порокам императора Григорий Богослов относил неумение управлять, страсть к суевериям, жестокость, робость, скрытность, нечестие, неблагодарность, умение ловко извращать смысл Священного Писания в ущерб христианам, издевательства над христианскими догматами и обрядами. Под стать непоследовательности в политике и крайностям в поведении императора и его внешний облик, обрисованный Григорием: «...шея нетвердая, плечи движущиеся и выравнивающиеся, глаза бегущие, наглые и свирепые, ноги, не стоящие твердо, но сгибающиеся, нос, выражающий дерзость и презрительность, черты лица смешные и то же выражающие, смех — громкий и неумеренный, голова, наклоняющаяся и откидывающаяся без всякой причины, речь медленная и прерывистая, вопросы беспорядочные и несвязные, ответы ничем не лучше, смешиваемы один с другим, нетвердые, не подчиненные правилам».

Но вот другой современник, бывший участником последнего похода Юлиана на персов, римский историк Евтропий, писавший свой труд по инициативе императора Валента (364–378), то есть уже во времена «восстановленного» христианства, дает в целом героизированный образ Юлиана, не забывая, правда, упомянуть о его гонениях на христиан, но не укоряя его за это: «...возвращаясь обратно (из похода) победителем, ввязался Юлиан необдуманно в сражение и был убит вражеской рукой на шестой день до июльских календ, на седьмой год своего правления, в возрасте 32 лет и был причислен к богам (! — М. Б.). Был он муж великий и управлял бы он государством благоразумно, если была бы на то воля судьбы. В науках он был весьма искусен, греческий язык знал настолько хорошо, что владение латинским ни в какое сравнение с ним не шло. Был искусен и велик в красноречии, обладал прекрасной памятью и в некоторых вещах разбирался лучше философов. К друзьям был благосклонен, но ценил их меньше, чем должно было такому государю. Ибо появились потом некоторые, кто славу его пытался опорочить... Домогался славы, потому во многом поступал неумеренно. Жестоко преследовал христианскую веру, но в то же время не допускал кровопролития».

В том же духе оценивается Юлиан и в заключении трактата Аврелия Виктора (последняя треть IV века) «Извлечения о жизни и нравах римских

императоров», где вообще ничего не говорится о его гонениях на христиан: «Были у него большие познания в науке и вообще в разных делах, поэтому он поддерживал философов и мудрейших среди греков... Но эти преимущества ослаблялись от несоблюдения меры в некоторых вещах. Его жажда славы была безмерна; в религии его было много суеверий, он был отважен более, чем это подобает императору...»

Наиболее подробное описание деяний Юлиана оставил участник его походов Аммиан Марцеллин (330-е — около 390-х годов), военный, занявшийся историописанием, выйдя в отставку в Риме. Грек из сирийской Антиохии, писавший по-латыни, он описал почти три века римской истории — от правления императора Нервы (96 год) до смерти императора Валента (378) в 31 книге. До нас дошли только последние 18 книг его «Деяний» (*Res Gestae*) — о событиях, начиная с 353 года, и большая часть произведения как раз посвящена Юлиану. Отношение к христианству у Аммиана Марцеллина можно считать нейтральным, хотя сам он выступает как убежденный язычник, поклонник неоплатонизма и герметизма.

Подводя итог жизни Юлиана, римский историк воздает должное его достоинствам: «То был человек бесспорно достойный быть причисленным к героям, выделявшийся славой своих дел и прирожденной величественностью. По определению философов есть четыре главные добродетели: умеренность, мудрость, справедливость и мужество, к которым присоединяются и другие, внешние, а именно: знание военного дела, властность, счастье и благоденствие. Все их вместе и каждую в отдельности Юлиан воспитывал в себе самым ревностным образом». Соответственно описывается и внешность Юлиана: «...среднего роста, волосы на голове очень гладкие, тонкие и мягкие, густая, подстриженная клином борода, глаза очень приятные, полные огня и выдававшие тонкий ум, красиво искривленные брови, прямой нос, рот несколько крупноватый, с отвисавшей нижней губой, толстый и крутой затылок, сильные и широкие плечи, от головы до пяток сложение вполне пропорциональное, почему он и был силен и быстр в беге». Читая эти строки, нельзя не вспомнить изящный халцедоновый бюст Юлиана из собрания Государственного Эрмитажа — настолько точно это словесное описание. А ведь сравнивая приведенный текст Аммиана Марцеллина с процитированной выше характеристикой Григория Богослова, можно подумать, что речь идет о совсем разных людях.

И в этом нет ничего удивительного. Человек переходной эпохи, противоречивого времени, император Юлиан и сам был средоточием противоречий. В своих сочинениях он предстает фигурой чрезвычайно

неоднозначной. На его взгляды оказали влияния такие известные философы пергамской школы, как Эдесий Каппадокийский, Максим Эфесский, Хрисанфий из Сард и Евсевий, но поистине обожествлял будущий император неоплатоника Ямвлиха, которого считал равновеликим самому Платону.

Текст важнейшего сочинения Юлиана «Против галилеян» в оригинале до нас не дошел: о нем можно судить лишь по полемическому сочинению «Против Юлиана» святителя Кирилла Александрийского. Юлиан предстает язычником, верящим в мистику и таинства, увлекающимся пророчествами и гаданиями, но при этом признававшим и реальность евангельских чудес, и существование Иеговы Ветхого Завета, которого он считал национальным божеством, низшим по сравнению с другими, но действующим и реальным. По замечанию философа А. Ф. Лосева, Юлиан критиковал христианство, исходя из того же мистического учения о познании божества, что и само христианство. Действительно, многие мысли Юлиана свидетельствуют об этом, как, например, такой фрагмент из его речи к «К царю Солнцу»: «Божий и всепрекрасный миропорядок, от вершин небесного свода до земли пределов нерушимым хранимый Божьим Промыслом, а он от века рожден нерожденно и на все он времена вечен». Учение Юлиана о Солнце очень близко современному ему монотеизму; более того, оно не только овеяно христианскими интуициями, но, можно сказать, глубоко пронизано христианским спиритуализмом.

Тот же Аммиан Марцеллин свидетельствует, что в городе Вьенне в январе 361 года, в праздник Богоявления, Юлиан посетил христианский храм, находился там все время службы и вышел из церкви только по окончании литургии. Это не случайность.

Трагической раздвоенностью, взаимопроникновением идей язычества и христианства веет и от приведенной выше предсмертной исповеди Юлиана, воспроизведенной Аммианом Марцеллином. Этот трагизм не только был обусловлен раздвоенностью личности императора — «отступника». Он был определен амбивалентностью противоречивых тенденций самой эпохи.

Поэтому естественны и крайности в оценках деяний Юлиана и у его современников, и у последующих исследователей. Французский писатель и историк Жак Бенуа-Мешен предлагает свой взгляд на императора Юлиана, причем последний для него — далеко не просто Отступник.

Бенуа-Мешен — не первый из писателей, кого привлек к себе этот образ. Обращение к византийской тематике и, в частности, к личности Юлиана Отступника, в мировой, в том числе и русской литературе нового и новейшего времени — явление знаковое. На рубеже XIX–XX веков — в эпоху кардинальных перемен в истории мировой цивилизации, шедшей навстречу «железному новому веку», — образ византийского императора, вступившего в безумную игру с Историей, стал центральным в произведениях разных авторов — писателей и драматургов, поэтов и прозаиков, как в России, так и за рубежом. Правда, в России византийская тема стала лейтмотивом общественно-литературной полемики еще с 60-х годов XIX века, когда отношение к Византии и ее духовному наследию явилось вектором противостояния славянофилов и западников. Но ближе к рубежу веков византийская проблематика появляется в несколько неожиданном на первый взгляд литературно-историческом контексте.

К ней обращаются уже не столько публицисты, сколько беллетристы, художники слова, причем прежде всего, поэты — лидеры новейших течений лирики Серебряного века, как затем назовут эту эпоху историки русской литературы. На определенном жизненном этапе для многих из них оказывалось важным обратиться к Истории, и эта потребность заставляла их прибегать к необычной для них литературной форме. Дети переходной эпохи, они в древней истории черпали материал для сравнений и аналогий с переживаемым ими временем.

Первым в этом ряду в России был выдающийся поэт, создатель и теоретик символизма в искусстве и литературе, сочинитель первого манифеста символистов Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865–1941). Не менее известен он и как автор исторической прозы: в одной только Франции его роман «Юлиан Отступник» издавался 23 раза!

«Юлиан» стал первым произведением в появившейся в начале XX века серии романов знаменитого поэта, составившей трилогию, каждая часть которой посвящалась какому-нибудь переломному моменту истории. Вся трилогия была озаглавлена «Христос и антихрист», а ее первая часть, посвященная Юлиану Отступнику, получила еще одно заглавие — «Смерть богов». Второй частью — «Воскресшие боги» — стал «Леонардо да Винчи» (1902), наконец, третьей — «Антихрист» — роман «Петр и Алексей» (1905), посвященный уже целиком событиям русской истории. Эта трилогия в литературном наследии Д. С. Мережковского оказалась не единственной: серию «Царство зверя» составили романы «Павел I», «Александр I» и «14 декабря»; позднее будут написаны исторические книги «Рождение богов (Тутанхамон на Крите)» (1925), «Мессия» (1927), «Иисус

неизвестный» (1932) и др.

Дихотомичность мировосприятия поэта-историка воплотилась в отраженной им в романе трагической необходимости выбора между христианством (даже без связи с определенной конфессией) и общечеловеческой культурой, — таковой автору представлялась альтернатива. Каждый из романов трилогии «Христос и антихрист» обращен к тому историческому моменту, когда героям приходилось делать выбор между старым и новым — в религии, государственном устройстве, культуре в целом. Подобно тому, как в душе лирика, обратившегося к истории, оказалось возможным соединение таких устремлений, как христианство и общечеловеческие категории, так и в повествовании «Юлиана» действующие лица клянутся и Моисеем, и Христом, и Гераклом; один и тот же священный источник может прославляться как источник Диоскуров и источник Косьмы и Дамиана. У самого молодого Юлиана — два учителя: язычник Мардоний и христианский монах Евтропий. Членами одной и той же семьи могут являться сестры, исповедующие разные веры.

Противопоставлением христианской и языческой культур пропитана практически каждая сцена романа Д. С. Мережковского. Следующие один за другим эпизоды как бы представляют свои аргументы в споре старой и новой религии. Сам Юлиан воплощает в своих раздумьях колебания и сомнения эпохи. Сухой и мертвой представляется Юлиану метафизика школы неоплатоника Порфирия, а учение Ямвлиха выглядит книжной схоластикой; столь же карикатурны изображения софистов и описание Миланского собора в восприятии героев. Сам Христос в романе имеет два облика — Он грозный повелитель, Он и добрый пастырь. Путь идей Юлиана Отступника Д. С. Мережковского — от резкого неприятия Христа и страха перед Ним к финальным словам романа: «Кончено... Ты победил, Галилеянин!»; к признанию героя: «Как я любил Тебя, Пастырь Добрый, Тебя одного...». Путь от язычества к христианству тем самым становится дорогой от ненависти к любви.

Таким образом, вместо проблемы выбора между традиционной и новой верой автор выдвигает на первый план проблему синтеза культур. В словах, обращенных в романе к Юлиану с призывом соединить истину Титана с истиной Галилеянина с тем, чтобы стать величайшим из всех, рожденных женщиной, словно заключается кредо подобного синтеза. Но этот синтез возможен лишь в душе художника, писателя. В истории же чаще господствуют антиномии.

После публикации романа Д. С. Мережковский подвергся не слишком уничтожительной, но все-таки определенной критике в отношении

погрешностей и несоответствий в области историзма со стороны чуть более младшего современника, тоже выдающегося поэта Серебряного века Валерия Яковлевича Брюсова (1873–1924), который был также не менее известным романистом, публицистом и теоретиком литературы.

В творчестве самого В. Я. Брюсова историческая тема прочно заняла одно из ведущих мест, причем в разных жанрах, начиная с 90-х годов. Он пишет рассказ «Rhea Silvia», начинает книгу новелл «Aurea Roma» («Золотой Рим»), готовит новый перевод «Энеиды» Вергилия, занимается римской лирикой, приступает к истории римской литературы, создает цикл лекций «Рим и мир» («Падение Римской империи»), обращается, наконец, к раннехристианской и античной тематике в своих стихах.

Первый исторический роман В. Я. Брюсова был опубликован в 1911–1912 годах и посвящен византийской истории — «Алтарь Победы». Вторым, так и не законченным романом поэта стал «Юпитер Поверженный». Этот роман, судя по черновикам, был начат в 1914 году, вновь к нему автор приступил в 1918 году, уже после потрясений революционного года, ища в эпохе перехода от язычества к христианству ответы на исторические вопросы современности. Формально сюжеты обоих «византийских» романов В. Я. Брюсова относятся к постюлиановской эпохе: действие «Алтаря Победы» протекает с осени 382-го по лето 383 года, а «Юпитера» — с весны 393-го по лето 394 года, но по существу решаются те же проблемы, что и названными выше авторами применительно к фигуре Юлиана Отступника.

IV век — век перемен — для В. Я. Брюсова представлялся веком наивысшего расцвета римской культуры. Античная языческая цивилизация пала не столько от слабости, сколько потому, что античный мир исчерпал себя, сказав все, что мог, и наступило время раскрытия новой грани человека и человечества, воплощенного в христианстве. Смена цивилизаций происходит не по «правилам» постижимой закономерности, а от неисповедимой судьбы, доступной лишь чувству, — в этом смысл слов одного из героев «Юпитера Поверженного», отца Николая. Так поэт-историк фактически отказывается от теории прогресса, развивая идею самозамкнутых цивилизаций. А итогом романа «Алтарь Победы» становится неминуемое торжество христианства: «Древние боги уходят, уступая свое место на Олимпе более молодым, более деятельным, которые готовы занять золотые дома, построенные Вулканом». Как приговор звучат слова: «Крест брошен на одну чашу весов, и всего золота мира недостаточно, чтобы перевесить его!»

Однако религиозный дуализм как бы снижается образом главного

героя «Юпитера Поверженного». Это бывший язычник Децим Юний, ставший христианином, иноком Варфоломеем, от лица которого ведется повествование. Ему принадлежит и ключевая для понимания В. Я. Брюсовым сути переходной эпохи формула: «Философы же понимают, что Осирис растерзанный, или Бакх страждущий, или Христос распятый — это одно и то же. Потому все религии равны между собой...»

Подобные настроения и увлечения не были на рубеже XIX–XX веков уделом лишь русской литературы и культуры. В 1896 году в Лейпциге было впервые поставлено на сцене самое крупное драматическое произведение Генрика Ибсена «Кесарь и Галилеянин», написанное несколько ранее. Первая часть озаглавлена «Отступничество цезаря», вторая — «Император Юлиан». Эта драматическая эпопея носит «всемирно-исторический», по определению автора, характер. Столкновения в истории, каковым рисуется бунт Юлиана, решившегося на восстановление утраченного, могут нивелироваться, сглаживаться, завершаться примирением. Так в конце «Императора Юлиана» рыдает, бросившись на колени над умирающим Юлианом святой Василий Кесарийский — один из Отцов Церкви, величайший христианский проповедник. Сам же Юлиан уходит из жизни не столько побежденным, как у Д. С. Мережковского, сколько просветленным. «Мне не в чем раскаиваться. Я знаю, что применял по мере разумения наилучшим образом ту силу, которую мне вручили обстоятельства и которая является отражением Божественной силы...» — так подводит итог прожитой жизни герой драматической диалогии в финале. Сам же Василий Великий восклицает: «Христос, Христос, где был народ твой, что не видел явного знамения твоего? Кесарь Юлиан был для нас бичом кары твоей, несшим нам с собой не смерть, но Воскресение». Драматизм противостояния искупается гармонией согласия.

Таков историко-литературный фронт той книги, которая лежит перед читателем. Ее автор — Жак Бенуа-Мешен — известен как беллетрист, обращавшийся к различным историческим темам. Ему принадлежит «История германской армии» — с 1918 по 1939 год, в шести частях, он описал события фашистской оккупации Франции в 1940 году («Шестьдесят дней, которые потрясли мир»); он писал о солдатах французской армии в Первую мировую войну, об Украине, о Мустафе Кемале и Саудах, об Африке и Марселе Прусте. Словом, об очень многом.

Но и «Император Юлиан» — не случайный для автора сюжет. Бенуа-Мешен — автор серии из семи блистательных романов под общей идеей: «Самые долгие грезы истории». Каждый из томов этой серии посвящен биографии той или иной исторической личности, воплощавшей определенную мечту. Так, первым в этом ряду является Александр Великий, или «мечта, обогнавшая время», затем — «Клеопатра»: «мечта, исчезнувшая в забвении». «Император Юлиан» — третья часть серии. Этот герой воплощает в себе «мечту обожженную» (возможны и другие переводы французского подзаголовка книги: «опаленная» или даже «окаменевшая», «кальцинированная» мечта). Образ заимствован из сферы ремесла древних керамистов: для придания прочности гончарному или скульптурному изделию, изготовляемому «на века», его подвергали обжигу. По отношению к Юлиану этот образ метафоричен: император, обратившийся к культу Солнца, был им же как бы и сожжен...

Затем в серии исторических биографий Бенуа-Мешена следуют «Фридрих Гогенштауфен» («Мечта отлученная»), «Бонапарт в Египте» («Мечта неутоленная»).... Последний том посвящен Лоренсу Аравийскому и его «мечте, разбитой вдребезги». Таков контекст предлагаемой книги. Как всякая метафора, идея всей серии, а соответственно «Юлиана», служит одной цели и потому не может удовлетворить чаяниям читателя во всех отношениях. Идея книги Бенуа-Мешена о Юлиане — предпринятая им последняя, по мнению автора, попытка соединить исторические судьбы Востока и Запада. В этом контексте герой предстает не столько Отступником, сколько ревнителем исконных чаяний имперского сознания, ориентированного на философски и религиозно осмысленный геополитический синтез.

Император Юлиан правил всего два года. Но это мгновение в масштабах мироздания было обожжено, словно застывшая скульптура, на века, заставив бесчисленные поколения потомков вновь и вновь обращаться к судьбе мятежного императора-философа, окаменевшего во времени.

М. В. Бибиков

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ЗАРЯ

Soli invicto^[1]

Погожим весенним утром 340 года в стене ограды виллы, находившейся в глубине Астакийского залива, близ Никоидии², отворилась маленькая, скрытая за разросшимся олеандром дверца. Появившийся на пороге подросток настороженно огляделся вокруг. Убедившись, что за ним никто не подглядывает, он тихонько прикрыл дверь и пошел вперед по тропинке, ведущей к морю. Ему было всего девять лет, хотя на вид можно было дать двенадцать-тринадцать. Тело казалось крепким и хорошо сложенным. Художник, воспитанный на канонах классической скульптуры, возможно, счел бы его туловище несколько длинноватым по сравнению с ногами, а шею чересчур мощной по сравнению с плечами. Однако его выразительное лицо, свидетельствовавшее о великой подвижности ума, несомненно, производило сильное впечатление. Это умное выражение лица плохо сочеталось с упрямо насупленным лбом и короткими вьющимися волосами, придававшими ему сходство с молодым бычком. Он был одет в тунику из грубой шерстяной ткани и держал в руке котомку из козьей шкуры, подобную тем, какие бывают у пастухов или бродячих проповедников.

Убедившись, что за ним никто не идет, подросток сошел с дороги и зашагал по узкой тропинке, овеянной ароматом тимьяна и дикой мяты. Пройдя еще около трех четвертей часа, он ступил на заросший травой холм, выступавший в море и возвышавшийся над окрестностями³. Здесь он мог оставаться в полном одиночестве. Вокруг слышалось только жужжание насекомых, пение птиц и — время от времени — шелест ветра в листве старой маслины. Мальчик положил котомку подле корней дерева и огляделся.

Представшая его взору панорама, возможно, была одной из прекраснейших в мире. Эту местность, находящуюся на стыке Европы и Азии, можно, не уставая, созерцать целыми часами. Под его ногами расстился небольшой луг, резко обрывающийся там, где огромный утес вознес свою вершину на высоту двухсот метров над берегом, покрытым золотистым песком. За краем берега блестело на солнце огромное водное пространство Пропонтиды⁴, по которому в разных направлениях сновали сотни рыбацких лодок. Дальше проступали голубоватые очертания Принцевых островов, берег Халкидона, а совсем вдали, поднимаясь из

многоцветного тумана, виднелся город Константинополь, изобилующий церквями, храмами и дворцами⁵.

Подросток долго молча стоял на вершине холма. Хотя этот вид был ему хорошо знаком, каждый раз, когда он смотрел, его охватывала внутренняя дрожь.

— Прекрасная жизнь... Прекрасный мир, — вздохнул он. — Почему же я должен...

По его лицу пробежала быстрая тень, он опустил голову. Потом, как бы желая отвлечься от решения слишком сложной задачи, он пожал плечами и лег на траву. Открыв котомку, он достал из нее пшеничную лепешку, кусок сыра и «Илиаду» Гомера. Спустя несколько минут он уже был погружен в чтение.

Гомер наряду с Гесиодом был его любимым писателем. Год назад раб Мардоний, обучавший мальчика грамоте, дал ему прочесть «Илиаду» и «Одиссею» и сказал:

— Ты мечтаешь о героических битвах, о стремительных колесницах, о воинственных танцах мужей и о сказочных садах? Возьми эти книги и прочти их. В них все прекраснее, чем в жизни. Даже деревья там кажутся более величественными...⁶

Ученик Мардония еще сильнее полюбил героев Гомера, когда услышал о странном сне, который его мать Басилина видела незадолго до его рождения⁷. Ей приснилось, что она родила «нового Ахилла», который завоюет мир и восстановит почитание древних богов. Роды прошли безболезненно. Однако спустя несколько недель Басилина умерла, и заботу о ее сыне доверили дворцовым евнухам. Эта история потрясла воображение мальчика. Мысль о том, чтобы стать «новым Ахиллом» (или «новым Александром, который восстановит единство человеческого рода», как говорили некоторые другие) — эта мысль была ему приятна, хотя он и не вполне ясно понимал, что это значит.

Ему так часто рассказывали о матери, что порой казалось, будто он ее знал. Ему расхваливали ее красоту, нежность, скромность и благочестие. А отец? Почему его образ окутан тайной? Он знал, что отца убили. Но стоило спросить наставников об обстоятельствах его смерти, как они смущались и отворачивались. Однажды в разговоре с Мардонием он стал настаивать на том, чтобы узнать правду, и тот уклончиво ответил:

— Каждый человек — сын человека и Солнца⁸.

Сын человека? Это понятно. Но сын Солнца? Того Гелиоса, который наполняет мир своими огненными лучами? Разве возможно такое родство?

А если это правда, то как могут люди выдержать бремя столь исключительной славы?

В другой раз он спросил, где его отец, у епископа Никомидии Евсевия, занимавшего его духовным воспитанием. Священник ответил:

— Твой отец на небесах, и когда-нибудь ты встретишься с ним.

— Но как я найду его? — возразил ребенок. — Небо такое большое...

На что божий человек был вынужден ответить:

— Это тайна, которую ты сможешь постичь позже...

Это действительно была столь великая тайна, что мальчик не мог в ней разобраться. Ахилл, Александр, Гелиос, Христос — в конце концов эти имена смешались в его голове.

Он закрыл книгу и повернулся на спину. Раскинув руки крестом и повернув лицо в сторону солнца, он впитывал в себя его благотворное тепло. Это тепло слегка притушило постоянно ощущаемое им беспокойство. Вскоре успокоение перешло в восторг. Пытаясь найти слова, чтобы его выразить, мальчик зашептал:

Отче наш, Иже еси на небесех,
Да святится имя Твое,
Да настанет царствие Твое,
Да будет воля Твоя,
Яко на небеси, так и на земли...

Тут он остановился на секунду и задумчиво повторил:

— *Яко на небеси, так и на земли...*

Эту молитву Евсевий заставлял его повторять каждый день.

В ту же минуту вдали раздался голос. Он сурово и настойчиво звал:

— Юлиан! Юлиан!

Мальчик вздрогнул и прервал молитву. Кто-то заметил его отсутствие и разыскивает его. Наверняка это Евсевий. Епископ не простит ему бегства. Но ведь он не сделал ничего дурного! Эти редкие мгновения свободы, когда он наконец оставался наедине с самим собой и мог дать волю врожденной склонности к мечтанию, были для него необычайно благотворны. Они давали возможность вырваться из душной атмосферы, окружавшей его все остальное время, когда вокруг находились наставники и в их присутствии приходилось контролировать каждое действие, каждое слово, потому что казалось, будто поблизости бродит неведомая опасность. Когда же наконец он сможет освободиться от их опеки и жить по собственному разумению?

Мальчик в гневе сжал кулаки и спрятался за стволом маслины.

— Юлиан! Юлиан!

Голос позвал еще несколько раз и начал удаляться. Вскоре его уже не было слышно. Опять наступила тишина, лишь изредка прерываемая криками птиц.

Успокоившись, Юлиан вышел из своего укрытия и вновь принялся за чтение. И тут произошло нечто странное, нечто столь необычайное, что это событие оставило след на всей его последующей жизни. Ему привиделось, что он быстро бежит вдоль берега, подпрыгивая все выше и выше. Потом наступило мгновение, когда его ноги перестали касаться земли и он воспарил над поверхностью моря. Он плыл вверх через пространство и поднимался все выше и выше, как бы притягиваемый солнцем. Вскоре он уже видел с высоты всю Пропонтиду, весь Босфор, Константинополь и все прилегающие к нему земли. Наконец и земля скрылась из глаз, и вокруг осталась только сияющая бездна света. Внезапно он услышал громopodobный голос, который звал его по имени:

— Юлиан! Юлиан!

— Кто зовет меня? — спросил он.

— Я, твой отец, Гелиос.

— Гелиос, я здесь! — не колеблясь, ответил Юлиан.

В то же мгновение яркий блеск ослепил его, и он потерял сознание. Сколько времени оставался он в этом состоянии? Он не смог бы ответить...

Когда он вновь открыл глаза, то понял, что лежит на земле подле маслины, у которой заснул. Солнце уже спускалось со стороны Геллеспонта, наполняя все пространство красноватыми отблесками. На Пропонтиде сотни рыбачьих лодок заходили в порт, завершая свой дневной труд. На востоке, за холмами Халкидона, начинали собираться грозные тучи. Вдали слышались протяжные раскаты грома.

Юлиан встал, уложил «Илиаду» в котомку и бросил последний взгляд на море.

После этого он медленно зашагал обратно в сторону виллы.

II

Хотя воспоминание об этом дне глубоко врезалось в его память, Юлиан никому о нем не рассказывал, разве что намного позже он доверился Максиму Эфесскому и ритору Либанию. Впрочем, в отношении последнего этого даже нельзя с уверенностью утверждать.

Но было и другое воспоминание, столь же мрачное, сколь светоносным было сновидение в Астаккии. Это второе воспоминание Юлиан запрятал в самой глубине своей души, ибо от одной мысли о случившемся его бросало в дрожь.

Это произошло жаркой летней ночью 337 года, когда ему еще не было семи лет. В то время Юлиан жил вместе со своим отцом Юлием Констанцием, с двумя дядями Далмацием и Ганнибалианом, сводным братом Галлом, которому было двенадцать лет, и со всеми остальными членами семьи в одном из флигелей константинопольского дворца, предоставленном в их распоряжение двоюродным братом Юлиана — императором Констанцием.

После утомительного знойного дня мальчик лег спать рано. Но безумная жара не давала ему уснуть.

Внезапно он услышал оглушительный шум, грохот выламываемой двери, звук торопливых шагов. Затем послышались короткие команды, а вслед за ними дикие вопли. Юлиан быстро встал и прислушался. Ему никогда еще не приходилось слышать таких звуков. Он приоткрыл дверь, и то, что он увидел, заставило его остолбенеть на месте. Подчиняясь приказу императора, во флигель ворвались солдаты дворцовой гвардии. Одни из них размахивали горящими факелами, другие — окровавленными мечами. Они только что перебили всю его семью. На полу в лужах крови лежали трупы его отца Юлия Констанция, его дядей Далмация и Ганнибалиана, начальника императорской стражи Альбания и многих других придворных из их свиты. Одним перерезали горло, другим вспороли живот. Широко раскрыв глаза, мальчик зажал себе рот кулаком, чтобы не закричать. Но в эту минуту солдаты заметили пробивавшийся из-под двери луч света. Они грубо толкнули дверь и ворвались в комнату, чтобы удостовериться, что в ней никто не спрятался. В комнате было только двое детей: Галл и Юлиан.

Галл лежал в постели в тяжелом приступе лихорадки. Он обливался потом. Его дыхание было частым и хриплым. Поскольку солдаты получили приказ не щадить никого, один из них подошел к постели, чтобы

прикончить Галла.

— Оставь его в покое, — сказал проходивший мимо командир. — Какой смысл отправлять этого мальчишку на тот свет? Ты же видишь, что он сам вот-вот туда отправится.

Сбитый с толку гвардеец опустил руку и повернулся к Юлиану, который пытался спрятаться за драпировкой. Его заметили. Однако даже самые жестокие злодеи способны почувствовать укоры совести, если им предстоит убить шестилетнего ребенка. Убийцы остановились в нерешительности. Они уже истребили не менее пятнадцати человек, и их смертоносное неистовство начинало угасать.

В эту секунду два христианских священника, привлеченные к месту кровавого события воплями убиваемых жертв, ворвались в комнату и схватили Юлиана. Воспользовавшись всеобщим замешательством, они бросились к потайной двери и быстро закрыли ее за собой⁹.

За дверью начинался подземный ход. Два священника и ребенок шли по коридору настолько быстро, насколько им позволяли темнота и неровности пола. Задыхаясь, они выбежали в маленький садик, расположенный позади дворцовой кухни. Не оглядываясь и не теряя времени, они пошли по дорожке, в конце которой находилась церковь. Придя туда, один из священников достал из кармана ключ, открыл боковую дверь, вошел в неф и дал знак своему товарищу следовать за ним. Ни на минуту не выпуская руку Юлиана, они направились к алтарю и спрятали ребенка за ним.

— Здесь ты в безопасности, — сказали они мальчику. — Мы придем за тобой, когда опасность будет позади. Сиди здесь и жди нас.

Священники вышли из церкви и вновь заперли дверь на ключ.

У Юлиана перехватило дыхание. До этого ему не было страшно. Но теперь его охватил панический ужас. Он был подавлен тишиной, пустотой и мраком. Очень долго он сидел, сжавшись в комок и дрожа всем телом. Наконец, сломленный усталостью, он заснул.

Когда он проснулся, начинало светать. Дневной свет проникал через узкие щели, служившие окнами церкви. Сначала он не понял, где находится. Потом в его памяти всплыли события предыдущей ночи. Он вновь увидел колеблющийся свет факелов, изуродованные трупы, лужи крови на полу. Чтобы избавиться от этого видения, он встал, вышел из своего укрытия и начал обследовать место. Неф церкви был маленьким и низким. Обогнув алтарь, мальчик вскарабкался на его ступени. На жертвенном столе стояла рака из позолоченной бронзы. Юлиан подошел поближе, чтобы рассмотреть ее. О ужас! Сквозь прозрачное стекло, из

которого была сделана одна из стенок, он увидел череп и две побелевшие от времени берцовые кости. Это были мощи святого мученика. Юлиан вскрикнул от страха и сбежал вниз по ступеням. С бьющимся сердцем он вернулся в свое укрытие и опять съежился в нем.

Прошло какое-то время, показавшееся ему бесконечным, и он услышал скрежет поворачиваемого в замке ключа. Боковая дверь отворилась, и вошли те же два священника.

— Теперь можешь выходить, — тихо сказали они ему. — Опасность миновала.

Они взяли его за руку и вывели наружу.

Уже наступил день. Небо было немислимо чистым, и солнечные лучи освещали город. Когда Юлиан увидел солнце, он понял, что спасен. Он посмотрел на золотой диск и почувствовал, как сердце переполняется благодарностью.

Священники отвели Юлиана в императорский дворец. Вчерашние трупы уже унесли, и рабы прилежно отмывали водой мраморные плиты пола, стараясь уничтожить последние следы крови. В эту секунду Юлиана охватило острое чувство одиночества. Он побежал в свою комнату. Галл все еще лежал распростертый в своей постели. Юлиан несколько раз окликнул его по имени. Не получив ответа, он подумал, что Галл тоже умер, и бросился к его ложу. Но Галл был жив. Чуть заметное хриплое дыхание слетало с его губ.

И тогда, вконец измученный переживаниями, Юлиан рухнул у подножия его постели и потерял сознание.

III

Так кто же был этот мальчик?

Юлиан, сын Юлия Констанция и сводный брат Галла¹⁰, родился в Константинополе в ноябре или декабре 331 года и был внуком императора Констанция Хлора и Феодоры. По отцу он являлся прямым потомком Максимиана и Клавдия Готского¹¹. Императоры из этого рода, правившего империей уже более века, происходили из Иллирии, горной провинции, находящейся к северу от Македонии на восточном побережье Адриатического моря. Наделенные геркулесовой силой и неуступчивостью при столкновении с любыми испытаниями, о чем свидетельствовали характерные для них упрямо насупленный лоб и мощная шея, они из поколения в поколение оставались солнцепоклонниками¹². Если бы порядок вещей следовал естественным ходом, по смерти Констанция Хлора власть над империей перешла бы к его сыну Юлию Констанцию, а после смерти Юлия Констанция — к его старшему сыну Галлу. Но непредвиденное обстоятельство изменило ход вещей.

Будучи около 30 лет от роду, Констанций Хлор женился на девушке по имени Елена, с которой уже сожительствовал некоторое время и от которой имел сына по имени Константин^[2]. Елена оказалась интриганкой, она стремилась к власти и не отличалась щепетильностью. Ею владело лишь одно честолюбивое стремление: добиться передачи трона ее сыну Константину. Поскольку большинство знатных языческих семейств относились к ней презрительно из-за ее происхождения, Елена нашла поддержку в лице партии христиан. Целым рядом маневров, рассказывать о которых было бы слишком долго, она добилась того, что Констанций Хлор поселил ее вместе с Юлием Констанцием и всеми членами его семьи в отдельной части дворца.

После смерти Констанция Хлора, произошедшей в 306 году, Константин неожиданно получил власть благодаря интригам матери и помощи британских легионов, провозгласивших его августом. Однако тот, кого греко-римская знать презрительно называла «сыном наложницы», никоим образом не смог бы удержаться на троне, не докажи он всем своих исключительных качеств.

Чтобы укрепить свой престиж в глазах подданных, он начал с того, что стал именовать свою мать августой, — жест беспрецедентный в римской истории и направленный на то, чтобы по возможности истребить память о

ее сомнительном происхождении. Затем он женился на Фаусте, младшей дочери Максимиана, и этот союз придал его владычеству если не законность, то хотя бы некоторый блеск. Фауста родила ему двух дочерей — Констанцию и Елену — и троих сыновей — Константина, Констанция и Константа. Когда сыновья достигли того возраста, в котором можно приступить к управлению делами (337 год), Константин разделил между ними провинции. Константину Младшему он вручил Запад, то есть Галлию, Испанию и Британию; Констанцию — Восток, то есть Азию, Сирию, Египет и Фракию с Константинополем; Константу — центральную часть империи, включая Иллирию, Италию, Африку, Македонию и Грецию. За собой же он оставил только императорскую власть.

Правление Константина ознаменовало собой решительный поворот в судьбах империи. После него Рим уже никогда не смог бы стать тем, чем был раньше. Будучи должником епископов, поддержавших его мать, он открыто способствовал усилению позиций христианства и привлек большое число христиан в армию, в аппарат управления и даже в свое непосредственное окружение. После победы над узурпатором Максенцием, одержанной у Мильвийского моста 28 октября 312 года, он приказал вышить на своем знамени, или *лабаруме*¹³, монограмму Христа и девиз «*In hoc signo vinces*»¹⁴. Миланским эдиктом от 313 года он утвердил равенство христианского культа и культа древних богов. И наконец, в 330 году он перенес столицу империи из Рима в Константинополь, сделав из греческого городка, известного как Византий, подлинно великий город, который украсил церквями, дворцом, форумом, ипподромом и множеством произведений искусства, привезенных из Греции и с Востока¹⁵.

Если начало правления Константина было бурным — ему пришлось бороться с многочисленными соперниками и узурпаторами¹⁶, то конец его царствования протекал в атмосфере обожествления императора. Константин умер 22 мая 337 года в Анкире, неподалеку от Никомидии, незадолго до того приняв крещение из рук Евсевия, епископа этого города¹⁷.

Первым узнал о кончине отца второй сын Константина Констанций. В это время он находился в Восточной Сирии, откуда наблюдал за перемещениями войск персидского царя Шапура. Его братья Константин и Констант пребывали соответственно в Галлии и в Милане. Воспользовавшись своей близостью к столице, Констанций ринулся туда и стал управлять от имени отца. К тому времени как Константин Младший и Констант получили известие об этом, Констанций уже успел конфисковать

значительную часть их наследства.

Удача, сопутствовавшая ему в этом дерзком поступке, побудила Констанция сделать еще один шаг. Его отцу потребовалось семнадцать лет, чтобы победить своих соперников. Констанций решил избавиться от своих одним ударом, действуя решительно и быстро.

Не прошло и трех месяцев после его восшествия на престол, как во дворцовых коридорах стали распространяться странные слухи. В основном их распространял тот самый Евсевий из Никомидии, который поддерживал Константина в последние минуты жизни¹⁸. По его словам выходило, что покойный император оставил завещание, в котором обвинял членов законной ветви семейства — то есть Юлия Констанция, Далмация и Ганнибалиана — в том, что они его отравили, и рекомендовал своим наследникам «принять самые серьезные меры предосторожности в отношении его убийц». Констанций позаботился, чтобы слух об этом обвинении распространился среди солдат гарнизона и в особенности среди дворцовой гвардии, которая по большей части набиралась из числа живших в столице христиан. Опьяненные яростью, гвардейцы ворвались в покои, в которых жил со своей семьей Юлий Констанций, и перебили всех до одного, пощадив только Галла и Юлиана.

Юлиан видел своими глазами эту кровавую бойню и всю жизнь не мог забыть тех отсветов факелов на стенах, пятен крови на плитах пола, криков умирающих, изуродованные трупы. Даже став взрослым, он говорил об этом с ужасом.

«Всем известно, — писал он афинянам спустя 25 лет¹⁹, — что я происхожу по отцовской линии от того же человека, что и Констанций: мой отец и его были единокровными братьями. И вместе с тем, несмотря на связывавшие их родственные узы, вот как отнесся к нам этот столь гуманный властитель: по его приказу без суда и следствия были убиты шестеро моих — и его — двоюродных братьев, мой отец и еще один наш дядя со стороны моего отца²⁰. Он хотел также убить меня и моего брата. Однако, рассудив основательно, предпочел нас отправить в изгнание»²¹.

Действительно, когда преступление было уже совершено, Констанций счел более выгодным сохранить им жизнь, но конфисковать все имущество. Юлиан добавлял в своем рассказе: «Он лишил меня какого бы то ни было наследства со стороны моего отца. Я не получил ничего из того, что могло ранее принадлежать отцу: ни клочка земли, ни одного раба, ни одного дома. Честный Констанций унаследовал после меня все отцовское имущество. В ту ночь родовые владения моих предков были рассечены ударом меча»²².

Юлиану казалось непостижимым, что такое преступление могло быть задумано и приведено в исполнение христианами, то есть людьми, которые утверждали, что проповедуют религию милосердия и любви. Из этого он сделал вывод: «Ни один дикий зверь не бывает столь опасен для человека, сколь могут иногда оказаться опасны христиане для своих собратьев по религии»²³.

Действительно, Констанций был христианином, как и большинство солдат гвардии, выполнявших его приказ. Но христианами были и те два священника, которые спасли Юлиана от верной смерти, уведя его в церковь и спрятав за алтарем. Не должен ли был этот гуманный поступок послужить в его глазах противовесом безумству убийц?

Нет. Потому что Юлиан вовсе не считал, что обязан жизнью именно им. Конечно, он был чудесным образом спасен во время резни, но это можно было объяснить только божественным вмешательством²⁴. И это вмешательство он приписывал отнюдь не двоим христианским священникам, а защитнику всего его рода божественному Гелиосу. Именно он явился, чтобы взять его за руку и вывести из императорского дворца, этого средоточия гибели, кровопролития и смерти.

IV

На следующий день после той трагической ночи Юлиан по приказу Констанция был отправлен в Вифинию. Констанций поручил заботы о воспитании мальчика епископу Никомидии Евсевию и дал ему указание никогда не говорить с ним о трагической гибели его семьи; не допускать никаких контактов между ним и жителями города; и, наконец, воспитывать его в духе строгого соблюдения требований христианской религии.

Осторожности ради Евсевий предпочел удалить ребенка из Никомидии и отвез его в Астакийскую виллу, находившуюся в сельской местности и принадлежавшую бабке Юлиана со стороны матери. Там мальчик должен был жить в полнейшей изоляции.

Юлиан прибыл в Астакую в ужасном состоянии духа. Ему еще не было семи лет, и его моральное равновесие было подорвано только что пережитыми сценами насилия. Он часто плакал и неожиданно просыпался по ночам с душераздирающим криком.

Бабкина вилла, огромная и роскошная, была для Юлиана скорее тюрьмой. Он не разговаривал с рабами, выполнявшими работы по дому, потому что инстинктивно не доверял им. Если он встречался с кем-нибудь из них в саду или в доме, то опускал голову и молчал; и не зря: все они были соглядатаями, которым Констанций приказал внимательно следить за всеми словами и поступками мальчика.

Кроме них, Юлиан видел только епископа Никомидии Евсевия. Но этот человек вызывал в нем смешанное чувство страха и отвращения. Это был светский епископ; он красил ногти киноварью, а волосы хной, как это часто делали восточные священнослужители. Стараясь в первую очередь угодить императору — не он ли сыграл сомнительную роль в распространении слухов о ложном завещании Константина, послужившем предлогом для уничтожения рода Флавиев? — Евсевий был слишком занят устройством собственных дел и своей епархией, чтобы уделять Юлиану много внимания. Он ограничился тем, что вдолбил ему в голову начатки вероучения, заставил выучить наизусть «Отче наш» и несколько других общепринятых молитв; короче, ознакомил его со всем тем, что позволило бы ему участвовать в богослужении.

К счастью для Юлиана, рядом с ним был Мардоний, честный и образованный раб-сириец, за пятнадцать лет до того бывший воспитателем Василины. Его тронула несчастная судьба Юлиана, в котором он очень

быстро почувствовал большие скрытые способности, и он перенес на него всю ту заботу, с которой раньше относился к его матери. Ребенок почувствовал это и ответил на его любовь страстной привязанностью. Он всю жизнь помнил своего старого учителя и в одном из своих сочинений написал, что доброта Мардония была «лучом солнца, по милости небес прорезавшим ту ночь, с которой он отчаянно боролся»²⁵.

Мардоний дал ему прочитать «Илиаду», «Одиссею», «Труды и дни» Гесиода и подвел его таким образом к «пропилеям»^[3] философии. Но он занимался не только тем, чтобы наполнить голову ребенка разнообразными знаниями. Он также учил его формулировать мысли, выстраивать их в правильной последовательности и развил в нем явно выраженную склонность к интеллектуальным рассуждениям.

Да, уроки Мардония стали для Юлиана лучом света. Однако они не могли заставить его забыть о нависшей над его головой смертельной опасности. Солдаты Констанция пощадили его. Но в любую минуту император может пожалеть об этом. А если Констанций нахмурит брови, и стража ворвется в его комнату, чтобы перерезать ему горло, как перерезали горло его отцу? Покуда этого не случилось, о каждом его шаге, о каждом слове императору доносили соглядатаи. Чем взрослее становился Юлиан, тем более несносным казался ему этот полицейский надзор.

Приблизительно в это время он и обнаружил потайную дверь в ограде виллы. Эта находка дала ему возможность время от времени убежать от бдительных очей тюремщиков. Дверца не просто позволяла выйти наружу, она открывала дорогу к свободе. Юлиан воспользовался ею, и позволил себе несколько раз убежать и побродить в окрестностях Астакки. Во время одного из таких побегов он обнаружил узкую тропинку, ведущую к морю. Очень скоро эта дикая местность стала излюбленным местом его прогулок. Именно там однажды он испытал то мистическое состояние, о котором мы уже рассказывали выше... Но какой бы восторг ни приносили такие мгновения, всегда наступал момент, когда ему приходилось возвращаться в свою тюрьму.

Юлиану было уже почти тринадцать лет. Его тело, довольно слабое в детские годы, стало крепким и хорошо сформировалось. Вечно подозрительный Констанций считал, что его пребывание в Астакки чревато некоторым риском, которого было бы предпочтительно избежать. Вилла находилась недалеко от Никомидии. В городе же размещался один из легионов. Что, если его командиры узнают, что один из членов правящей династии — пусть даже тринадцатилетний подросток — содержится там

под стражей? Что, если они вдруг встанут на его сторону и провозгласят его августом?.. Одной этой мысли было достаточно, чтобы заставить императора дрожать от страха, потому что в прошлом такие вещи уже случались, и не раз...

Чтобы предупредить подобную опасность, Констанций решил удалить Юлиана из Никомидии и перевести его в уединенное место, где за ним будет легко присматривать. В качестве нового места пребывания император назначил ему крепость Мацелл, расположенную в сердце Анатолии у подножия горы Аргей.

Когда Юлиан узнал об этом, а также о том, что Мардоний не будет его сопровождать, он разрыдался. Он бросил свой плащ на землю, топтал его ногами и кричал, что скорее умрет, чем расстанется со своим воспитателем.

Однако приказы Констанция не обсуждались, и Юлиану дали понять, что если ему дорога жизнь, то лучше подчиниться.

Спустя несколько дней грустным осенним утром отряд, в который входили Юлиан и его свита, покинул Астакую. Он взял курс на восток и двинулся окольной дорогой, чтобы не ехать через Никомидию.

Горная цепь, застилающая горизонт; непроходимые леса, тянущиеся в бесконечность; низкое и серое небо, в котором друг за другом гонятся облака; возвышающиеся над всем этим пейзажем изрытые оврагами склоны горы Аргей и у самого ее подножия как бы сама собой возникшая в результате внезапного обвала путаная сеть укреплений, зубчатых стен и башен, представлявших собой Мацелл, крепость, которую Констанций назначил новым местопребыванием Юлиана.

Когда сын Василины впервые увидел это место на повороте дороги, он почувствовал, что мужество покидает его. Неужели в этом пустынном уголке, отрезанный от мира, он осужден теперь жить и, может быть, умереть? Он впал в еще большее уныние, и это понятно. Ибо мало на земле других мест, которые были бы способны вызывать столь сильное ощущение одиночества и изгнанности.

Оказавшись в сотне метров от крепости, Юлиан увидел всадника, который, преодолев подъемный мост, скакал ему навстречу. Это был Галл.

Сначала Юлиан не узнал его, потому что его сводный брат сильно изменился с той трагической ночи, когда он в последний раз видел его распростертым на постели. Теперь Галлу было неполных двадцать лет. Горный воздух, верховая езда и долгие часы, проводимые на охоте в соседних лесах, превратили его в крепкого и полного энергии молодого человека. Когда Юлиан опомнился от удивления, он протянул ему руки. «Вот хотя бы какое-то утешение, — сказал он себе. — Как бы тяжело ни было мое пребывание здесь, я буду не одинок».

Второй раз он удивился, когда въехал внутрь крепости. Здесь простиралась огромная площадь, на другом конце которой располагался изящный фасад дворца из розового мрамора. Справа и слева выстроились более скромные здания, предназначенные для размещения охраны и прислуги. Внутренний вид крепости был столь же приятен, сколь отвратителен был ее внешний вид. Мацелл был местом отдыха официальных курьеров, которые постоянно ездили по дорогам, связывавшим Европу и Азию. Случалось даже, что там останавливался сам император, когда ехал из Константинополя в какую-нибудь из восточных провинций империи²⁶.

Поначалу Юлиан обрадовался оттого, что рядом находится Галл. Он думал, что найдет в брате, который был на шесть лет старше его, товарища

для своих занятий, наперсника и, может быть, даже защитника. Но ему пришлось быстро разочароваться. Ежедневное посещение псарни и конюшен не способствовало развитию лучших сторон характера Галла. Постоянно общаясь с их служителями, он стал грубым мужланом, предпочитавшим псовую охоту чтению «Илиады». Приученный к жестоким развлечениям и подверженный внезапным приступам гнева, он пользовался своим физическим превосходством, грубо обращался с младшим братом и с презрительной иронией относился к его любимым философским размышлениям. Несмотря на то, что общая опасность, в которой они оба находились, неизбежно породила между ними некое согласие, их темпераменты были столь различны, что это чувство не смогло перерасти в истинную близость душ. «У Галла сильные руки, но слабая голова», — говорил себе Юлиан. Он считал брата ненадежным человеком и не доверял ему.

Впрочем, он никому не доверял. Если надзор, под которым он находился в Астаккии, был суров, то в Мацелле он еще более ожесточился. Констанций, как все подозрительные люди, благоволил к доносчикам. С годами его подозрительность приняла патологический характер. Он все увеличивал число своих шпионов вокруг двоих юношей и требовал, чтобы ему каждый день докладывали, о чем они разговаривают. Что они замышляют? Составляют ли они заговор против него? Мечтают ли о захвате трона? Что они знают о смерти своего отца? Короче, он стремился узнать их самые потаенные мысли. Галлу, который не очень много размышлял, это было безразлично. Чего нельзя сказать о Юлиане, впавшем в болезненную молчаливость.

Отправляя Юлиана в Мацелл, император распорядился, чтобы из него воспитали священника. Он надеялся таким образом отвратить его от всех мирских амбиций и лишить способностей, необходимых для правителя. Ничто не доставило бы ему большего удовольствия, чем услышать от Юлиана слова: «Мое царство не от мира сего». В надежде сделать из юноши монаха он поручил его религиозное воспитание Георгию Каппадокийцу, арианскому епископу Кесарии.

Георгий Каппадокийский был сектантом, сварливым спорщиком и не стоил бы особого упоминания, но для Юлиана знакомство с ним неожиданно оказалось полезным: у Георгия была обширная библиотека, которой он позволил своему ученику свободно пользоваться. Это был весьма неблагоразумный поступок, если Констанций хотел сделать из Юлиана церковного человека. Помимо Ветхого и Нового Заветов, Юлиан обнаружил в этой библиотеке труды многих христианских авторов: в

частности, Оригена, Лукиана Антиохийского и Диона Хрисостома. Но, кроме того, потихоньку от Георгия, он выискал там огромное количество книг языческих философов. В библиотеке были труды Пифагора, Платона, Аристотеля, Гераклита, а также Плотина, Порфирия и Ямвлиха. Юлиан унес их к себе, чтобы изучить на досуге.

Если «Илиада», которую Мардоний посоветовал ему прочесть во время его пребывания в Астаккии, подарила ему многие часы упоительного восторга, то философские трактаты Порфирия и Ямвлиха поразили его, как удар молнии. «О мистериях», «Письма к Македонию» и «Халдейские оракулы» запечатлелись в его душе огненными знаками²⁷. Будучи скорее философом, чем поэтом, и имея большую склонность к идеям, нежели к образам, Юлиан нашел в этих книгах подтверждение всему тому, что предчувствовал сам. В частности, он нашел в них теологию божественного Солнца, которая сразу же покорила его, ибо подводила научный фундамент под тот культ, приверженцами которого были его предки²⁸.

Юлиан читал и перечитывал, чтобы запомнить наизусть, тот удивительный символ веры, который Халкидский мудрец^[4] поместил в начале своего труда, подобно триумфальной арке:

«Свет един, вездесущ и вечен; он нераздельно присутствует в глубине каждого существа; он наполняет своей безграничной силой всю вселенную... Подражая ему, небо и земля совершают свое обращение по кругу. Он заставляет соединяться начала и завершения и осуществляет непрерывность и гармонию всего со всем...»²⁹ Юлиан закрыл глаза и прервал чтение, потрясенный этой величественной прозой, звучащей, как гимн. Переполненный невыразимой радостью, он чувствовал, как рассеивается туман, скрывавший от него истинный путь. У него было впечатление, что внутри него занимается заря. «Все озаряется светом!» — воскликнул он в приливе вдохновения. Но что есть вдохновение, если не «присутствие бога в человеке»³⁰? Да, в сердце Юлиана был бог. И теперь он точно знал, что этим богом могло быть только Солнце³¹.

«Не я должен идти к богам, а боги должны прийти ко мне», — утверждал Плотин, имея в виду, что присутствие божественного духа в первую очередь зависит от способности человека к восприятию. Юлиан спросил себя, был ли он достаточно внимателен к проявлениям божественного, и вдруг понял, что Гелиос никогда не оставлял его. Именно он помог Юлиану спастись во время избиения его семьи. Именно он послал к нему Мардония, чтобы ознакомить с красотой эллинской мысли. Именно он окликнул его по имени во время того мистического полета на берегу

Пропонтиды. Наконец, именно он позволил ему обнаружить труды Порфирия и Ямвлиха на полках библиотеки, в которой им явно не полагалось находиться. Это было сделано для того, чтобы дать ему возможность сделать еще один шаг в постижении истины.

Юлиан внезапно различил чудесную цепь связанных между собой событий там, где раньше видел всего лишь серию случайностей. Что же уготовано ему в жизни? Пока еще слишком рано говорить об этом. Но какие бы испытания ни ожидали его в будущем, с этого момента ему стало ясно, что он не покинутый всеми сирота, как многие другие, а существо, которому боги посылают невидимую защиту.

Увы! Это было еще одно открытие, которым ни с кем нельзя было поделиться. Если до Констанция дойдут слухи об этом, он, не колеблясь, прикажет его удавить.

Тем не менее однажды Юлиан чуть не выдал свою тайну. Во время урока риторики Георгий Каппадокийский дал Галлу задание произнести восхваление христианства. Юлиан же должен был возражать ему, превознося достоинства языческих богов. Расставлял ли воспитатель ловушку своему ученику? Это вполне возможно. К несчастью, Юлиан понял это слишком поздно. Еще не остыв после чтения Ямвлиха, он защищал языческих богов с такой убежденностью, что Георгий Каппадокийский пришел в негодование, а в глазах Галла мелькнул недобрый огонек. Юлиана охватила паника. Он понял, что по глупости снял маску. Он прекрасно видел, что Галл внутренне склонен к жестокости, и спрашивал себя, не доложит ли он обо всем Констанцию.

Последующие пятнадцать дней он жил в страхе, постоянно спрашивая себя, не ворвутся ли стражники в его комнату и не потащат ли к императору на расправу. Но прошел месяц, и ничего не случилось.

Юлиан смог облегченно вздохнуть. Чтобы рассеять все подозрения, он демонстративно углубился в чтение трудов Отцов Церкви³². За счет этого чтения он столь быстро преуспел в апологетике и патристике, что Георгий Каппадокийский счел его достойным принять крещение. Это было решающее испытание: ведь Юлиан мог отказаться! Но он слишком хорошо знал, какие санкции обрушатся на его голову, если он окажет хотя бы малейшее сопротивление. Поскольку у него не было никакого желания навлекать на себя гнев императора, он согласился на этот обряд. Однако он считал его простой формальностью и позже заявил, что «крещение ни к чему не обязывало, поскольку было навязано обстоятельствами, и, кроме того, его мнения никто не спрашивал»³³.

VI

Так пробегали неделя за неделей, долгие и монотонные. Но однажды утром 347 года Юлиана, которому только что исполнилось шестнадцать лет, поразило необычное оживление, царившее во дворе крепости. Стражники бегали туда и сюда, рабы начищали дворцовые лестницы и обивали стены парадного зала пурпурными тканями. Заинтересованный Юлиан спросил одного из военных, что означают эти приготовления.

— Ожидаем прибытия высоких гостей, — лаконично ответил центурион.

Ожидаемые гости и впрямь должны были быть лицами очень высокого ранга, поскольку Галла и Юлиана попросили освободить занимаемые ими комнаты во дворце и перебраться с вещами в дворцовую пристройку.

«Высокими гостями», прибытие которых вызвало такую суматоху, оказались не кто иной, как сам император и его свита, состоявшая из человек двадцати высших светских и военных чиновников. Направляясь из Анкиры в Иераполь, Констанций решил из любопытства посетить свое владение и ознакомиться с тем, как содержат его двоих узников³⁴.

Когда официальный кортеж прибыл в Мацелл, уже стояла ночь. В дымном свете факелов, наполнивших двор и пробудивших в душе Юлиана мрачные воспоминания, сын Василины увидел, как темные тени спрыгивают с коней и исчезают во дворце. В эту ночь он совсем не спал, потому что к нему явился раб, чтобы научить придворному этикету и заставить вызубрить наизусть хвалебную речь, с которой он должен был обратиться к императору в случае — впрочем, весьма маловероятном — если кузен пожелает его увидеть.

На следующее утро евнух объявил Юлиану, что император решил принять его, и велел приготовиться к тому, чтобы предстать перед ним. Около полудня за ним пришли четыре стражника. Маленький отряд пересек двор, прошел под колоннадой и наконец оказался в вестибюле, дальний конец которого был закрыт тяжелым занавесом, обшитым золотой бахромой. Два охранника распахнули перед ним занавес, вновь запахнувшийся за его спиной, и Юлиан предстал перед владыкой мира.

Констанций сидел на возвышенном троне, в окружении евнухов и высших сановников, одетых в придворное облачение. На нем были котурны^[5] с высокими каблуками, увеличивавшими его рост. Он был одет в широкий пурпурный плащ, закрепленный на плече застежкой из оникса.

Его пухлые руки были унизаны кольцами. У него были крашенные волосы, а щеки покрывал тонкий слой румян, скрывавший их бледность. Констанций пытался придать своему лицу выражение божественности, хотя в действительности оно ровным счетом ничего не выражало. И все же выглядел он внушительно.

Юлиан на секунду растерялся при виде этого идола с застывшей улыбкой на лице, столь мало похожего на образ, который создало его собственное воображение. Так это и есть убийца его отца? Поскольку юноша застыл в неподвижности, прикованный к месту страхом, который присутствующие, по счастью, приняли за почтительное восхищение, один из придворных дал ему знак приблизиться к императору. Тогда он вспомнил все, чему его научил вчерашний раб. Он медленными шагами подошел к возвышению, преклонил колени и поцеловал сначала один, а затем другой котурн Августа. Затем он распрямылся, произнес на едином дыхании приветственную речь, которую его заставили выучить, и остановился, не зная, что делать дальше. В зале воцарилось тяжелое молчание.

Император все еще улыбался, и эта улыбка была отвратительна. Он, несомненно, хотел изобразить благосклонность ко всем, но именно поэтому его улыбка не выражала ничего. Глаза его были устремлены на Юлиана и буквально сверлили его. Усталым движением руки он позволил юноше сесть на табурет. Потом сказал несколько ничего не значащих слов, похвалил за благочестие и усердие в труде.

— Епископ Каппадокийский, этот святой человек, уверял меня, что ты хочешь стать монахом. С моей стороны возражений не будет, — мягко сказал Констанций. — Но я считаю, что лучше не торопиться. Преждевременный выбор часто бывает ошибочным.

Все это время, говоря с Юлианом и украдкой разглядывая его, Констанций думал: «Бедный мальчик неопасен и глуп. Любовь к учебе лишила его всякого мужества. Те, кому я поручил его воспитание, хорошо поняли, что я хотел из него сделать».

Когда Констанций решил, что сказал достаточно, он остановился на середине фразы, в последний раз испытующе взглянул в лицо своему двоюродному брату и небрежным жестом позволил ему удалиться. Юлиан поднялся, преклонил колени и вышел с поклонами. Аудиенция закончилась.

На следующий день император приказал устроить охоту, на которую были приглашены Галл и Юлиан. Им выпала честь наблюдать, как владыка мира истребляет бесчисленное множество медведей, львов и пантер, запертых в загоне, примыкающем к дворцовому парку³⁵. Из двоих братьев

удовольствие от этого зрелища получил один Галл.

После этого, считая, что он уже достаточно осведомлен о состоянии духа юношей, Констанций решил сократить время своего пребывания в Мацелле. Двор крепости вновь наполнился шумом и криками.

Рабы убирали золотую посуду и украшения в сундуки. Конюхи грузили их на мулов в то время, как другие слуги снимали со стен пурпур. Когда наконец все было готово, император и его свита отправились в Иераполь, а в залах и вестибюлях дворца вновь воцарилась тишина³⁶.

На следующее же утро жизнь вошла в привычную колею. День шел за днем, и все они были длинными и однообразными. Галл разгонял скуку, отправляясь в долгие верховые прогулки, а Юлиан вновь погрузился в чтение Ямвлиха.

VII

С годами характер Констанция несколько изменился. Конечно, он не перестал быть вспыльчивым и подозрительным. Однако если раньше его мнение всегда было авторитарным и он не выносил ни малейшего несогласия, то теперь он становился все более малодушным и нерешительным. Его неспособность самостоятельно принимать решения, а затем, приняв, исполнять их, все больше отдавала его во власть тех, кто его окружал.

Императорская канцелярия в основном состояла из христиан. Среди них были люди благочестивые и бескорыстные, пытавшиеся противостоять новым преступлениям императора и не дать ему окончательно погубить свою душу. Другие же были просто интриганам. Их основная забота заключалась в том, чтобы вытянуть из него пребенды и бенефиции^[6]. И те и другие, хотя и исходили из разных побуждений, подталкивали его к пути благочестия и набожности. Констанций следовал их советам. Однако, не принеся мира его душе, усердное участие в церковных службах породило в нем панический страх смерти.

Справедливости ради следует сказать, что годы, последовавшие за вступлением Констанция на престол, представляли собой бесконечную вереницу забот и трудов.

На Востоке огромными силами обладал персидский царь Шапур II³⁷, и его нападения держали римские легионы в постоянном напряжении³⁸. Парфяне не ограничивались короткими набегами в Верхнюю Месопотамию. Они трижды осаждали Нисибис³⁹ и периодически угрожали Тапсаку, Иераполю и Самосате. Несмотря на кажущуюся несвязанность этих операций между собой, все они соответствовали весьма далеко идущему плану, состоявшему в том, чтобы вбить клин между Арменией и Сирией.

Этот клин, если ничто не помешало бы его движению, затем достиг бы берега моря. Тогда власть парфян, не встречая никакого сопротивления, укрепилась бы на всем побережье Средиземного моря.

За двенадцать лет войн с персами Констанций дал Шапуру не менее четырнадцати сражений. Некоторые из них закончились частичным успехом; другие — мучительным поражением. Констанций надеялся наконец взять реванш при Сингаре. Но дело обернулось иначе. Обманный маневр персов привел к тому, что римским легионам пришлось в основном

отступить⁴⁰. После этого состоялось множество других сражений, но ни в одном не удалось добиться решительной победы, которая могла бы положить конец непрекращавшимся вторжениям.

Не лучше обстояли дела на Западе.

Константин Младший, получивший при разделе Испанию, Британию и Галлию, умер в 337 году, спустя несколько месяцев после своего отца. Его смерть избавила Констанция от опасного соперника. Однако его брат Констант, владевший уже Африкой и Италией, вторгся во владения Константина и провозгласил себя императором Запада. Царствование Константа в Милане, а Констанция в Константинополе означало, что римский мир раскололся надвое.

Впрочем, власть Константа оказалась непрочной. 18 января 350 года, во время званого обеда, организованного в Отене по случаю его дня рождения, командир императорской гвардии — язычник по имени Магненций⁴¹ — провозгласил себя августом. После этого по его приказу тайные агенты гнались за Константом вплоть до Эльны, где и отрубили ему голову. Так Магненций неожиданно стал властителем всего Запада, кроме Иллирии. Он поспешил наложить руку и на эту провинцию, чтобы при первой возможности оттуда двинуться на Константинополь.

Магненций был не первым, кто оспаривал трон у Констанция. До него такие же попытки предприняли Непотиан и Ветранион. Но за этим соперничеством стояла другая опасность. Пока новоявленные цезари пытались разорвать друг друга на части, положение дел в Галлии день ото дня ухудшалось. Города и дороги не поддерживались в надлежащем состоянии, поля зарастали травой, вся страна впадала в анархию и разруху. Узнав, что римские легионы воюют в другом месте, многочисленные германские племена перешли Рейн и принялись опустошать земли секванов и бельгов. Их авангард появился уже в районе Суассона. Казалось, завоевание Галлии предстоит начинать заново.

Когда Констанций осознал всю сложность своего положения, он чуть было не потерял рассудок. Вдобавок ко всем несчастьям у него не было наследника, и это обстоятельство разрывало ему сердце.

Чего ради воевать, поднимать армии и сохранять империю, если он не может передать ее своему отпрыску? Чего ради строить гавани, украшать города и давать им свое имя или имя отца, если это служит прославлению династии, находящейся на пороге угасания? Он пытался добиться милости Христа, увеличивая число благотворительных заведений и строя базилики с нефами, украшенными роскошными позолоченными мозаиками. Но все его

усилия оказывались напрасными. Почему Дух Господень безразличен к столь явным проявлениям его благочестия? Иногда по ночам Констанций бродил по галереям дворца, призывая небо в свидетели своего несчастья. Чем измерить тяжесть груза этой империи, которую он держит на своих плечах, не имея того, кто сможет его заменить? Чего ради надо было истреблять род Флавиев, если в результате пришлось оказаться наедине с непосильным трудом? О, как он раскаивался теперь в этой ошибке! Зачем он столь доверчиво прислушивался к дурным советчикам, подталкивавшим его к этому поступку?

В непосредственном окружении Констанция было два священника, отличавшихся редкостной добродетелью: Леонтий, епископ Антиохийский⁴², и Феофил Индиец⁴³. О последнем ходили слухи, что он мог воскрешать мертвых, и это возвышало его в глазах императора. Леонтий и Феофил решили использовать свое влияние на императора и заставить его понять, что гнетущее его проклятье будет снято лишь когда он исправит зло, причиненное Флавиям. Раз у него нет наследников, а он хочет сохранить власть за своим родом, то почему бы не примириться со своими двоюродными братьями вместо того, чтобы держать их взаперти в Мацелле? Почему бы за неимением лучшего не призвать к себе Галла? Ведь Георгий Каппадокиец неустанно превозносит его достоинства. Леонтий и Феофил советовали императору поскорее освободить братьев из заключения, забыв о своем злополучном приказе. Они добавляли, что, если сам Констанций будет добр и милосерден, Бог не откажет ему в милосердии⁴⁴.

Сначала Констанций отказывался их слушать. Потом, после мрачного раздумья, он рассудил, что такое решение может принести ему пользу. Чтобы подготовить почву, он отправил в Мацелл одного из своих тайных агентов. Тот должен был внушить Галлу: «Император ни в коей мере не ответствен за гибель его отца, его осаждали вероломные советники и избиение семейства было делом рук пьяной солдатни, которую он своей волей был не в состоянии остановить». Агенту было поручено внимательно проследить за реакцией молодого человека и сразу же обо всем доложить.

Поверил ли Галл в искренность этого сообщения? Этого мы не знаем. Однако нам известно, что Юлиана обмануть не удалось, потому что, возвращаясь позже к этим событиям, он напишет в «Письме к Афинянам»: «Таким образом Констанций хотел убаюкать нас своими песнями»⁴⁵.

Конечно, Констанцию было тяжело принести публичное покаяние. Но страх смерти был в нем еще сильнее, чем самолюбие. Его бросало в дрожь

при мысли о том, какой опасности подвергнется его душа, если он предстанет пред своим Судией, не искупив вины.

После долгих внутренних колебаний он решил наконец последовать советам Феофила и предпринял ряд мер, имевших огромные исторические последствия.

Холодным и ярким декабрьским утром в Мацелле появился императорский курьер. Он привез ошеломляющую новость: приказ отпустить Галла и Юлиана на волю. К этому приказу были присовокуплены специальные инструкции в отношении Галла: старший сын Юлия Констанция должен был немедленно явиться в Антиохию, где император намеревался доверить ему некую важную должность. Что до Юлиана, то Констанций велел ему вернуться в Константинополь, где он имел все возможности продолжать свою учебу.

После этого Констанций посчитал, что сделал достаточно, чтобы уладить свои дела с Богом, и вернулся в Галлию для продолжения войны с Магненцием.

VIII

Прибыв в Константинополь, Юлиан был поражен размерами города. Что он знал о нем в детстве? Ничего или почти ничего, потому что жил в замкнутом пространстве гинекея — женской половины императорского дворца. Теперь же, когда ему было двадцать лет, все неожиданно переменилось! Оживленные улицы, бурлящие рынки, деятельная жизнь в порту, — все это показалось ему небывалым зрелищем. Констанций возвратил ему наследство матери, так что он мог ездить по городу в колеснице, достойной его ранга. Однако он не пользовался этим правом, потому что его вкусы были просты. Он предпочитал пешие прогулки, а одевался в простую, лишенную украшений тунику и в серые сандалии. Добровольно выбрав для себя такую скромную одежду, он мог смешиваться с толпой и обмениваться впечатлениями с прохожими.

Более всего его восхищало огромное количество великолепных произведений искусств, которыми Константин украсил свою столицу. На каждом шагу попадались скульптуры, барельефы, своды, фронтоны, свидетельствовавшие о великолепии эллинского искусства. Здесь — витая колонна, некогда служившая подножием треножника дельфийской Пифии; там — резные капители, привезенные из храма Зевса Олимпийского; еще дальше — множество статуй из Александрии, Коринфа, Афин. Но все эти чудесные вещи затмевала гигантская конная статуя из позолоченной бронзы, которую Константин велел установить перед императорским дворцом. На ней он был изображен с нимбом из солнечных лучей и рукою, протянутой в сторону Азии⁴⁶. О, как понятен был Юлиану восторг, охватывавший приезжих, которые, впервые увидев Константинополь, показывали на него пальцем и восклицали: «Istam Polis!» — «Вот этот город!»⁴⁷ Они хотели сказать: «Вот чудесный город, место, где решаются судьбы мира!»

Но как бы Юлиану ни было приятно бродить среди этих шедевров, одна мысль «уязвляла его сердце». Это была мысль о том, что все-все изображения героев и богов, которые по приказу Константина привезены из Греции или Малой Азии, перестали быть объектами живого поклонения; они стали музейными экспонатами, осколками разбитого мира. В них не чувствовалось брызжущей энергии юности, свежей крепости, свойственной тому, что рождено недавно. И поскольку люди уже не окружали эти предметы былым почитанием, жизнь постепенно из них

уходила.

Почему произошло охлаждение к ним народа и какую связь это имело с постепенным распадом империи? Поразмыслив, Юлиан пришел к убеждению, что эти два явления связаны между собой. Ему захотелось посвятить этой теме философский трактат. Ему захотелось напомнить, что «душа народа есть его религия и народ, отрицающий своих богов, мертв». Ему захотелось показать...

Но нет! Было еще рано затевать такие вещи. Пока Констанций правит в окружении своих лицемерных и услужливых священников, пока он ходит со свечой в руке в базилику Святых Апостолов, чтобы исповедоваться в грехах, в которых ничуть не раскаивается, и совершает поклонение Распятому, лучше было молчать. Юлиан был обязан сопровождать императора во время этих церемоний, потому что тот часто поручал ему читать Послания Апостолов и Евангелие, и делал это не для того, чтобы возвысить юношу до себя, а для того, чтобы проверить, сколь далеко продвинулось его изучение Священного Писания. В ожидании того дня, когда он сможет наконец говорить открыто, Юлиан совершенствовал свои знания греческого, обучаясь у грамматика Никокла и ритора Гекебола, малопримечательных личностей, которые, судя по всему, не сыграли значительной роли в его жизни.

Естественно, Констанций велел следить за ним. Соглядатаем был дан приказ ни на минуту не терять его из виду. Ничто так не раздражало императора, как их доклады о «небрежно скромном внешнем виде и отсутствии аристократических отличий, которые Юлиан демонстрирует во время своих прогулок»⁴⁸. Эта простота слишком явно противоречила настойчивой пышности, с которой сам Констанций появлялся на публике, и было трудно поверить, что Юлиан делает это без умысла. Какую цель он преследует, поступая подобным образом? Может, ищет популярности у толпы? Или хочет отделить себя от императора, показывая, насколько различны они по характеру? Можно ли считать Юлиана безобидным мечтателем, абсолютно неспособным предвидеть последствия своих поступков, или же он — изощренный заговорщик, невероятно способный к притворству?

По правде говоря, Юлиан не был ни тем, ни другим. Его основной задачей было совершенствование в философии. Приобщение к мудрости⁴⁹ интересовало его куда больше, чем захват власти. И поскольку его судьба висела на тонкой нити, грозившей в любой момент оборваться, он мог только ждать — ждать и молчать.

Однажды, проходя мимо базилики Святых Апостолов⁵⁰, он увидел перед входом в церковь, как около двадцати каких-то людей отчаянно дрались между собой. Доносились проклятия и сдавленные крики. Он подошел поближе, чтобы рассмотреть, и увидел, что это две группы христианских монахов, принадлежащих к соперничающим сектам. Они дубасили друг друга, как бешеные, ибо не могли поделить горсть серебряных монет, брошенных проходившим мимо придворным. Можно было подумать, что грызуны дерутся за горсть зерна. Это было весьма поучительное зрелище, представленное ему людьми, проповедовавшими полное презрение к благам этого мира! Юлиану внушали омерзение их всклокоченные шевелюры, завшивевшие бороды, исходивший от них тошнотворный запах. (Дело в том, что для христиан, строго соблюдавших правила, мыться означало совершать грех.) Но еще большее отвращение вызвала у него алчность, искажавшая их черты. Сравнивая их заскорузлые одежды с надушенными и расшитыми золотом далматиками придворных епископов, он спрашивал себя, как могла одна и та же религия породить два столь разных типа людей. И все это во имя Христа, который побуждал своих учеников раздавать имущество бедным и отказываться от всего, чтобы следовать за ним?

Юлиан отвернулся и пошел дальше. Жизнь уже научила его тому, что люди не рождаются добрыми сами по себе. Но ему казалось, что христианство тоже не делает их лучше, а только добавляет самоуверенность и фанатизм к тем недостаткам, которые у них уже и так есть. Только что увиденная им сцена еще больше укрепила его антипатию к приверженцам Галилеянина, будь они фанатиками, подобными этим нищим монахам, или такими приспособленцами, как Георгий Каппадокиец или Евсевий Никомидийский.

Больше всего Юлиан упрекал галилеян (так он называл приверженцев Христа) за их решимость отринуть все радости и красоты жизни ради того, чтобы обратиться к потустороннему миру. Земная жизнь была для них лишь юдолью слез, в которой царят несправедливость, разврат и смерть. Для них все вращалось вокруг молодого человека из Назарета, который появился на свет в темной конюшне и умер на кресте ночью, озаренной молниями. В их религии было что-то болезненное и полное теней, что делало ее несовместимой с тем солнечным миром, к которому стремился Юлиан. Это был культ страдания и отречения от мира, это была религия поражения. Разве сам апостол Павел не назвал ее «безумием»⁵¹? Для Юлиана, чтобы оценить глубину пропасти, отделявшей язычество от

христианства, достаточно было сравнить великолепные храмы, посвященные Афине или Аполлону, наполненные светом, жертвенный дым в которых весело поднимался к небу, с христианскими церквями, имевшими узкие и темные проходы и зачастую построенными там, где были найдены разложившиеся останки какого-нибудь святого. Из-за этого Юлиан называл их «склепами».

Он также ставил им в упрек механический характер ритуалов, к которым они прибегали, дабы обеспечить себе благополучие. Послушать их — так, выходит, достаточно, чтобы грешник перекрестился, или рассеянно повторил двадцать раз одну и ту же молитву, или чтобы его лоб окропили святой водой, — и все его грехи будут сняты, а благоденствие души обеспечено навеки. Идея искупления и исполнение таинств нарушили хрупкое равновесие, позволявшее соизмерять возмездие с виной и вознаграждение с достоинствами. Большинство христиан, казалось, были убеждены, что достаточно веры, чтобы, не прилагая усилий, попасть на небеса... Юлиан же считал, что любая религия, не воплощенная в способе жизни, — всего лишь обман.

Несомненно, он во многом был прав. Однако тогда, в первой половине IV века, когда ни догматика, ни литургия не были еще как следует разработаны, богословские вопросы приобретали большую значимость, нежели вопросы нравственные. Различия во мнениях относительно Божественности Христа или близости Страшного суда порождали более серьезные и страстные разногласия, нежели злоупотребления епископов или невежество низшего духовенства⁵². Огромное множество сект — циркумцеллионы, энкратиты, монтанисты, донатисты, аномеи⁵³ и многие другие проклинали друг друга и претендовали на единственно верное толкование Евангелия.

Еще более серьезными — настолько серьезными, что из-за них едва не погибла сама Церковь, — были разногласия между вселенской и арианской церквями по поводу сущности Святой Троицы и особенно по поводу «единосущности Отца и Сына». Доктрина единосущности, поддерживаемая римским духовенством, вызывала бурную полемику на Востоке империи. Никто не отрицал, что Иисус был «посланцем Божиим», вдохновленным Святым Духом. Пустыня порождала и до него великое множество пророков. Не менее очевидным было и то, что Иисус «происходил» от Отца. Однако то, что он был «единосущен» Отцу и Святому Духу, то есть сам был Богом, как это утверждал епископ Римский, — это уже казалось ересью. «Если Бог состоит из трех различных

личностей, это значит, что мы возвращаемся к многобожию», — говорили ариане. На это им отвечали: «Если Иисус не Бог, то поклонение ему равносильно идолопоклонству».

И без того оживленный спор удвоил свою силу, когда священник Арий стал глашатаем противников «единосущности» и собрал вокруг себя чуть ли не все восточное духовенство (319 год). Назревал ли новый раскол? Все заставляло поверить, что это так. Ведь даже Никейский собор, собравшийся в 325 году, не смог восстановить единство мнений.

По правде говоря, эти споры мало трогали Юлиана. То, что христиане поносят друг друга по поводу тонкостей своей веры, не волновало его. Больше его возмущало то, что они упорно и вопреки всему отрицают столь очевидную истину, как всемогущество Солнца, в котором каждый может убедиться своими собственными глазами, ведь Солнце заливает всех людей потоком своего золотистого света и его великолепие блистает «яко на небесех, так и на земли». Вместо этого христиане почитают Иисуса, которого мало кто знал при жизни и который даже не смог навязать свою волю какому-то прокуратору Иудеи. К тому же любой христианин IV века знал обо всем этом только понаслышке. Эта слепота казалась тем более необъяснимой, что все живое на земле — цветы ли, растения или животные — неосознанно поклоняется дневному светилу, поворачиваясь в его сторону и следуя за его движением⁵⁴. Разве не свет Солнца создал органы зрения, приспособленные к свету его лучей? Разве не присущая Гелиосу невидимая, бестелесная, божественная сущность позволяет добродетельным душам воспарять к нему? Разве не воздействует он на различные существа всеми своими ипостасями? Ведь у христиан тоже есть глаза! Почему же они отказываются признать очевидное?

Но более всего Юлиана раздражало отрицательное — если не сказать враждебное — отношение христиан к Государству.

В течение многих веков расцвет Рима, взлеты могущества времен республики были связаны с почитанием богов-покровителей отечества. Но с приходом к власти Константина и с изданием Миланского эдикта все изменилось. С этих пор все большее число христиан стало проникать в органы управления, глубоко изменяя их дух и функции. Им было неизвестно чувство патриотизма, и они отказывались считать себя слугами государства. Они и не могли бы вести себя по-другому, ведь они отрицали земную родину и возлагали все свои надежды на потустороннее. Будущее империи не только им безразлично, но они постоянно стремятся ускорить ее разрушение, подрывая основу ее величия и мощи, а именно — верность подданных и дисциплину солдат. Ничто не противостоит их

разрушительному влиянию. Неудивительно, что империя распадается. Это уже не государство Цезаря и Августа, и даже не государство Нерона и Калигулы. Теперь империя скорее напоминает человека, пораженного проказой, по телу которого распространяются черные пятна смерти.

Как могло дойти до этого? Для Юлиана ответ на этот вопрос был однозначным: упадок Рима — результат распространения христианства, а распространение христианства — результат незаконного захвата власти.

Все началось тогда, когда Елена нашла опору в лице христианского духовенства для того, чтобы возвести на трон своего сына Константина. Константин был постоянно благосклонен к галилеянам и кончил тем, что сам принял их веру. Унаследовавший ему Констанций пошел по тому же пути и в конце концов просто оказался игрушкой в их руках. Запуганный мыслью о смерти, он выполняет все их желания в надежде, что их Бог в конце концов даст ему наследника. Но кто такие Елена, Константин и Констанций, если не узурпаторы? Если отвлечься от религиозных вопросов, то чем они отличаются от Непотиана или Магненция? Не им была уготована власть, они захватили ее насилием и хитростью. Чтобы оставить за собой не принадлежавший им трон, они истребили законную ветвь рода Флавиев, все члены которой были почитателями Солнца. О, это не бог галилеян оставляет Констанция бесплодным! Это божественное Солнце искореняет его род в наказание за то, что он его отрицает! Империя не сможет вернуть себе величие и процветание, пока императорская власть не будет возвращена законным правителям. До тех пор, пока этого не случится, Констанций, привлечший на свою голову проклятие небес, будет метаться между кровопролитиями и катастрофами, между поражениями и унижением, и империя сойдет в могилу вместе со своим властелином.

Есть лишь один способ исправить положение: надо покончить с властью узурпатора, изгнать христиан со всех общественных должностей и вести политику, противоположную той, которую вели Констанций и Константин. Но где человек, способный взвалить на себя столь тяжкое бремя? Сам Юлиан не чувствовал в себе ни достаточных сил, ни призвания. Его не тянуло к власти. Кроме того, он не был старшим сыном Юлия Констанция. Его восхождение на трон просто заменило бы одного узурпатора другим...

Значит, Галл? Этот ненадежный Галл, жестокий и диковатый, который кажется счастливым, только когда сидит верхом на коне? И у него хватит сил? Зная его характер, в этом можно было усомниться...

Юлиан постоянно мучился этими вопросами, не в силах найти какой-либо ответ, когда вдруг получил известие, от которого у него буквально

перехватило дыхание. Приняв столь же внезапное, сколь невероятное решение, Констанций провозгласил Галла цезарем Востока (15 марта 351 года). Не означает ли этот поступок, что он предназначил Галла в наследники престола в случае, если сам умрет без наследника?

Юлиан спрашивал себя, что могло заставить Констанция принять столь невероятное решение вопреки своему характеру и привычкам, вопреки элементарному благоразумию. Такой поворот событий, казалось, невозможно было объяснить только человеческими намерениями. И Юлиан увидел в этом поступке бóльшее, нежели просто политический шаг: он счел его первым проявлением воли богов.

IX

Констанций начинал терять терпение. Юлиан с его невинным видом и стоптанными сандалиями становился ему ненавистен. Император уже жалел, что велел выпустить его из Мацелла. Тем более что сообщения соглядатаев, число которых все время увеличивалось, постоянно указывали на то, что сын Юлия Констанция пользуется у населения столицы все возрастающей популярностью. Когда он появлялся в городе, его даже иногда с оглядкой приветствовали осторожными рукоплесканиями. Удалось подслушать разговор двух солдат гвардии, всю его расхваливавших. Такое развитие событий надо было срочно пресечь, потому что именно так начинаются дворцовые перевороты...

Недоверие Констанция усиливалось еще и тем, что, вынужденный воевать с Магненцием, он месяцами отсутствовал в Константинополе. Он чаще находился в Милане и в Галлии, нежели на берегах Босфора, и не мог наблюдать за своим двоюродным братом столь пристально, как ему бы этого хотелось.

Поэтому, когда ненавидевший Юлиана главный постельничий, евнух Евсевий, предложил сослать юношу в Никомидию и поставить под непосредственный надзор родного брата, Констанций счел эту идею превосходной и даже удивился, почему она не пришла в голову ему самому. Такое решение давало тройное преимущество: можно было избавиться от присутствия несносного Юлиана; можно было заручиться предложением для осуждения Галла в случае, если тот проявит слишком большую терпимость по отношению к младшему брату; можно было, наконец, восстановить братьев друг против друга.

Так что в конце 351 года Констанций отдал Юлиану приказ покинуть Константинополь, не оставляя ему надежды на возвращение. Он велел юноше поселиться в Никомидии, где он мог продолжать обучение, обходиться без свиты и жить по собственному разумению. Ему запрещалось только одно: учиться у ритора Либания⁵⁵, чье языческое учение могло поколебать его религиозные убеждения.

Юлиану уже исполнилось двадцать лет. Он не отличался высоким ростом, но был мускулистым и сильным. Он носил бороду, как это делали ученики-философы. «Блеск глаз освещал его лицо, — пишет Аммиан Марцеллин. — У него были изящные брови, очень прямой нос, чуть великоватый рот, широкие и мощные плечи»⁵⁶. Он говорил низким

голосом, точно выбирая слова, и, хотя его манеры оставались весьма простыми, в его походке проскальзывало нечто величественное⁵⁷. Достаточно было немного пообщаться с ним, чтобы понять, что он не такой, как остальные молодые люди.

В те времена Никомидия была крупным центром образования. Ученики съезжались туда из всех областей Малой Азии⁵⁸. Юлиан быстро обзавелся почитателями, которым льстила мысль о том, что они учатся вместе с членом императорской семьи. Однако он по-прежнему противился малейшим проявлениям почитания, потому что предпочитал ничем не отличаться от своих товарищей⁵⁹.

Его не устраивала только одна вещь: запрет учиться у Либания, чья репутация намного превосходила репутацию всех других учителей Никомидии. Поскольку Юлиан не осмеливался открыто нарушать приказы Констанция, он нашел выход из положения, поручив одному из своих товарищей потихоньку достать для него список лекций Либания, и с удовольствием погрузился в чтение. Это тайное занятие напомнило ему былое чтение украдкой в Мацелле.

Вскоре после его прибытия в Никомидию Галл вызвал брата во дворец правителя для конфиденциальной беседы. Юлиана сразу поразил повелительный тон, усвоенный Галлом с тех пор, как он сделался цезарем. Он отметил также, что выражение жестокости на лице брата стало заметней, чем раньше.

Для начала Галл напомнил о том, что по приказу Констанция Юлиан находится под его опекой, и сказал, что не желает иметь из-за него неприятностей. Поэтому он потребовал, чтобы Юлиан воздерживался от неосторожных высказываний и необдуманных поступков, ибо в противном случае он примет надлежащие меры.

Несмотря на холодный прием, Юлиан попытался намекнуть брату, сколь великая роль уготована ему судьбой, если он унаследует Констанцию: ведь он сможет восстановить законное престолонаследие, прерванное воцарением Константина; он сможет положить конец политике, проводимой узурпаторами; он сможет прекратить разрушение империи, вызванное предпочтением, оказываемым с недавних пор христианам; он, наконец, сможет вернуть империи блеск и величие времен Траяна и Марка Аврелия.

Еще на злосчастном уроке-диспуте в Мацелле, когда Юлиан подозрительно пылко защищал языческих богов, Галл заподозрил, что его брат — приверженец язычества⁶⁰. Нынешний разговор подтвердил его

подозрения. Галл усмехнулся, подумав, что теперь Юлиан в его руках. Однако из аргументов, приводимых Юлианом, многие были выше его понимания. Типичный сангвиник по темпераменту и реалист, он знал, что если когда-нибудь взойдет на трон, то сможет держаться не благородством идей, а числом легионов. Тем не менее это была опасная тема, которую он предпочитал вообще не обсуждать, поскольку у Констанция повсюду были глаза и уши. Поэтому он ответил Юлиану только одно:

— Я обязан Констанцию своим возвышением, и я — христианин. Я никому не позволю ставить под сомнение искренность моей веры и мою преданность императору.

Еще раз посоветовав брату придерживаться здравого смысла, а не гоняться за химерами, он сухим жестом отпустил его, посчитав, что предупредил в достаточной мере.

Юлиан вернулся к себе глубоко разочарованным. Решительно, на Галла рассчитывать было нельзя. Он ничего не смыслил в вопросах философии и морали, раздиравших эпоху, и был способен пройти мимо того возвышенного долга, который мог бы исполнить. Любые попытки просветить его оказались бы безрезультатными: для него были важны лишь оружие и деньги.

Что до Галла, то он вернулся в Антиохию охваченный глубоким беспокойством. Хотя он не понял и четверти того, что говорил ему Юлиан, некоторые высказывания всерьез его обеспокоили. Он отвечал перед Констанцием за поступки брата. Малейшее безрассудство со стороны Юлиана могло положить конец его собственной карьере, а может быть, и стоить ему жизни. Ведь он был и хотел оставаться цезарем. Раздираемый желанием не потерять свою должность и дружеским чувством, которое, вопреки всему, он испытывал к младшему брату, Галл решил послать к нему священника Аэция, чтобы уяснить его намерения и в случае необходимости вернуть на истинный путь.

Аэций был главой аномеев⁶¹. Так называлось наиболее непримиримое течение в арианстве. Ярый противник единосущности, он утверждал, что «Слово, ставшее человеком, субстанциально отнюдь не тождественно Богу Отцу и подчинено ему, как слуга хозяину». Аэций был опасным противником в диспутах и заслужил всеобщее уважение своими энциклопедическими знаниями и мужеством, которое не раз проявлял в разных жизненных обстоятельствах. Он предпочел бы скорее умереть, чем отказаться от своих убеждений. Неудивительно, что Галл видел в нем наиболее подходящего человека, способного укрепить веру брата и изгнать мучившего его демона сомнения.

Юлиан принял Аэция с приветливой любезностью и много раз с ним встречался. Их разговоры касались самых разных вопросов: истории, богословия, морали, политики. Впервые Юлиан встретился лицом к лицу с убежденным христианином, потому что ни Георгий Каппадокиец, ни Евсевий Никомидийский не заслуживали такого названия. На Юлиана произвели огромное впечатление обширные познания Аэция и строгость, с которой он исповедовал свою веру. Ему также импонировало его отвращение к культу мучеников, который он презрительно называл «поклонением трупам». Юлиану казалось, что Аэций, как и Полиевкт, принадлежит к тем проникнутым духом стоицизма галилеянам, с которыми сторонник язычества может прийти к взаимопониманию.

Но Юлиан знал, что Аэций силен в диспутах и приехал к нему облеченный властью следователя. Поэтому он не стал открывать ему свои потаенные мысли. Вместо того чтобы вступать в дискуссию, он постоянно соглашался. Аэций же, видя, что Юлиан согласен с его мнением, пришел в восторг: никогда еще ему не удавалось убедить кого-либо, затратив столь мало усилий. Он направил Галлу полный энтузиазма отчет, в котором ручался за чистоту нравов и искренность веры Юлиана. Теперь настал черед Юлиана прийти в восторг, потому что отчет Аэция обеспечил ему несколько месяцев спокойной жизни.

Как бы ни была коротка встреча с Аэцием, она ознаменовала решительный поворот в жизни Юлиана. Он усмотрел в ней попытку влезть к нему в душу и поклялся себе никогда больше не давать повода для расследований подобного рода. С этого дня он провел четкую линию разграничения между своими внутренними убеждениями и поведением на

людях, и эту границу больше никому не позволялось переступать.

Во время второго изгнания в Малую Азию Юлиан не был ограничен пребыванием в Никомидии. Он воспользовался предоставленной ему братом полусвободой и посетил Понт, Каппадокию, Мизию, Лидию, некоторое время пожил в Эфесе и Пергаме. В этих путешествиях он познакомился с большим числом риториков, философов, чудотворцев и ученых. Юлиан с удовольствием приглашал их к себе и вступал с ними в долгие дискуссии о литературе и философии, осушая при этом кубки восхитительного вина из Астакки, достоинства которого он изящным слогом превозносит в одном из своих писем⁶². Эти беседы зачастую продолжались до глубокой ночи. По случайности — впрочем, была ли это случайность? — его окружали почти исключительно язычники, так что он по крайней мере не должен был в их присутствии соблюдать такую же осмотрительность, как в присутствии Аэция или Галла⁶³. В пылу спора не раз случалось, что Юлиан проговаривался о своих надеждах и мечтах. Естественно, его речи, произнесенные во время таких встреч, в конце концов получили огласку. По всей Вифинии поползли слухи о том, что двоюродный брат императора благосклонно относится к древним богам и обещает восстановить их культ. По счастью для Юлиана, эти слухи не достигли ушей соглядатаев. Зато они обеспечили ему сочувствие огромного числа незнакомых людей, которые с беспокойством наблюдали за возрастанием влияния галилеян.

«Слухи о нем распространились весьма далеко, — писал позже Либаний, — так что все друзья муз и иных богов съезжались к нему по суше и морю, сгорая от нетерпения увидеть его, встретиться с ним, говорить с ним и слушать его. Оказавшись подле него, они уже не могли уехать, потому что Юлиан притягивал их, как сирена, не только полными искусства речами, но и природным даром вызывать в людях симпатию. Он сам умел любить и научал других любить так же. Поэтому его друзья привязывались к нему слишком искренне и не могли покинуть его без сожаления. Все добрые люди единодушно мечтали, чтобы он пришел к власти и остановил разрушение цивилизованного мира; чтобы во главе страдающего человечества встал человек, способный его излечить. Было бы преувеличением утверждать, что он не одобрял подобного рода мечты. Он мечтал о том же. Только его мечты порождались не любовью к пышности, к власти или роскоши. Он стремился только к тому, чтобы

вернуть людям утраченное благополучие и, в первую очередь, почитание богов. Более всего его приводил в отчаяние вид разрушающихся храмов, запрет на исполнение ритуалов, опрокинутые алтари, отсутствие жертвоприношений, изгнание жрецов, раздача храмовых сокровищ нищим»⁶⁴.

Эта картина весьма точно соответствует действительности. За исключением одной немаловажной детали: на протяжении всего этого периода своей жизни Юлиан был бесконечно далек от мысли о том, что когда-нибудь достигнет верховной власти. Конечно, он больше всего на свете хотел, чтобы эллинистической культуре было возвращено то место, которого она заслуживала, — то есть главенствующее место. Но он думал, что выполнение этой задачи уготовано другому, а сам он ограничится тем, что станет провозвестником этих свершений.

Подобная задача сама по себе была столь велика, что ей стоило посвятить всю жизнь. Ведь чем больше Юлиан общался с риториками и философами, тем более очевидным становилось ему, в каком плачевном состоянии находится эллинская мысль. Раздираемая внутренними противоречиями и избытком интеллектуальности, она была не просто больна, — можно было сказать, что она умирает. Чего будет стоить восстановление указом ее изначального первенства, если не будут восстановлены ее сила и единство? В этой области, как и во многих других, необходимо было провести огромную обновительную и восстановительную работу.

Дело в том, что каждый мыслитель, каждый философ основал к этому времени свою школу, и ее ученики относились с презрением к представителям соперничающих течений. В эллинской философии можно было насчитать больше школ и течений, чем сект у галилеян, и это отнюдь не преувеличение. Ученики Гераклита, Платона, Аристотеля, Демокрита, киника Диогена и Зенона Элейского, раздираемые завистью, претендовали на то, что только их школа сохранила истину.

Среди различных категорий философов, с которыми имел дело Юлиан, было две, которые он ценил очень низко: это были риторики и киники.

Нам известно, что он считал риторику «искусством лишать значимости то, что важно, придавать значение тому, что его не имеет, и заменять реальность вещей искусственностью слов». Как презирал он софистов, которые часами говорили и не могли ничего сказать, с безразличием отстаивали и истинное и ложное! Серьезный склад его ума не позволял мириться с этим витийством, лишенным какого-либо убеждения или идеала.

Юлиан презирал риторов. Но он оказывал им покровительство, потому что, несмотря ни на что, они сохраняли чистоту языка. Совсем другим было его отношение к киникам. Они вызывали у него отвращение. Во-первых, потому что их способ мышления и жизни уже ничем не напоминал мышление и жизнь Диогена, которому они подражали чисто внешне. Во-вторых, потому что для них не существовало ничего святого: ни государства, ни общества, ни добра, ни зла, а значит, ни морали, ни порядочности, ни самосовершенствования, ни спасения. С неопрятностью, тем более отвратительной, что она поддерживалась сознательно, они прожигали жизнь вместо того, чтобы работать, и бродили по дорогам, кичась своими лохмотьями. Говорили, что они зубоскалят даже на папертях храмов. Юлиан не видел никакой разницы между ними и нищими монахами, которых он застал дерущимися перед церковью Святых Апостолов. И это философы? Нет, это — анархисты. В восстановленной империи, о которой он мечтал, им не было места.

К счастью, имелся луч света, на котором можно было задержать взгляд, чтобы не потеряться в водовороте противоречивых теорий и доктрин: это была философия неоплатоников, система идей, которую Плотин, Порфирий и Ямвлих, следуя друг за другом, вознесли на неизмеримую высоту. Позже Юлиан скажет о Ямвлихе: «Он достиг полноты человеческой мудрости. Никто никогда не скажет ничего более совершенного, чем он, даже если будет очень стараться и долго работать».

Следует признать, что объяснение мира, предложенное александрийскими неоплатониками, действительно поражало совершенством. Никогда ранее античная мысль не породила ничего более величественного и всеобъемлющего.

Плотин⁶⁵, первый по времени из философов этого направления, поставил во главе Космоса *Единого*, негасимое пламя, низвергающее на мир непрерывный поток искр. Каждая из этих искр является душой, которая, побывав на земле, возвращается в изначально породившее ее горнило. Это восхождение происходит в несколько этапов и зависит от наработки добродетелей. Это движение души к своей естественной родине обозначалось понятием «соединение с Богом». Достичь такого соединения может только полностью освободившийся человек.

Таким образом, Плотин не только подчеркивал, что вся Вселенная находится в движении, но и обосновывал непрерывный обмен между множественным и Единым, между чувством и пониманием, между человеческим и божественным. Однако эта доктрина была столь абстрактной и эфемерной, что понять ее мог только узкий круг элиты.

Более того, она сознательно отвергала любые материальные проявления: богов, храмы, культы, в которых нуждались массы для поддержания религиозности. Поэтому Порфирий⁶⁶ решил очеловечить эту философскую систему, вернув ей некоторые элементы, непосредственно доступные чувствам толпы.

По его мнению, все боги действительно существуют, равно как и полубоги и легендарные герои. Их не следует ни лишать права на существование, считая чистыми аллегориями, ни ставить на место верховного Бога, поскольку каждый из них отражает лишь какой-то из его основных аспектов. Они являются различными гранями Самосущего, и Бог посылает их к человеку, чтобы напомнить о присутствии частиц его божественности в любом проявлении жизни. И поскольку человек сложен, а природа многообразна, то и богов бесчисленное множество, и их вид постоянно меняется. Они относятся к Единому Богу так, как свет относится к солнцу: ведь его бесчисленные лучи наводняют землю и порождают на ней жизнь, не являясь при этом сами по себе ни Жизнью, ни Солнцем. В какой-то мере предвосхищая идеи современных физиков, которые утверждают, что свет *одновременно* является волновым излучением и потоком частиц, Порфирий видел в каждом боге *одновременно* и образ, и путь: образ, способный вести человека через превращения его существования, и нематериальный путь, проложенный сквозь пространство наподобие шелковой лестницы, которая позволяет человеку подняться до его Создателя.

Эта концепция подразумевала строгую упорядоченность иерархии богов. Конечно, все они существуют и заслуживают почитания. Но те, кто стоит ближе к своим небесным истокам, самым этим фактом облакаются большей властью. Почитание богов-покровителей похвально. Почитание богов, олицетворяющих солнце, таких, как Зевс или Аполлон, еще более похвально. Но наивысшей похвалы заслуживает тот, кто почитает само Солнце, ведь оно породило всех богов, к нему сходится все и вся в мире и в слиянии с ним в конечном счете переплавляется все сущее⁶⁷.

Однако в этом здании не хватало еще одного элемента. И завершение его строительства было результатом трудов ученика Порфирия по имени Ямвлих⁶⁸. Он пришел к этому, совершив своего рода переворот в философии. Применив неслыханно дерзкий интеллектуальный прием, он буквально расщепил солнце на три составные части. Или, точнее, он наложил друг на друга три различных солнца, конечно, не в физическом пространстве, а в человеческом сознании.

Ямвлих пришел к этой концепции, размышляя над следующим утверждением Платона: «Ты согласишься, что солнце придает видимым объектам не только способность быть видимыми, но также способность к рождению, росту и жизни, *хотя само по себе оно не является их Создателем*». Из этого следовало, что солнце, свет которого воспринимают наши глаза, подвержено, как и весь наш мир, действию времени и законов становления. Значит, солнце не может быть Создателем мира. За ним должно существовать другое, вневременное и трансцендентное Солнце, отражением которого и является видимое нашим глазам светило. Вместе с тем такое понимание вещей порождало больше вопросов, чем объяснений: создав два параллельных мира, отличных друг от друга и не соединенных между собой, эта концепция про-лагала непроходимую пропасть между случайным и трансцендентным, она разрывала единство Бытия.

Именно преодолев эту пропасть, Ямвлих достроил в несовершенном ранее здании величественный свод, которого ему недоставало. Он представил третий — промежуточный — мир, в котором случайное переходит в трансцендентное под действием Посредника. Затем он дал каждому из таким образом наложенных друг на друга миров свое имя, свое определение и свое отдельное солнце.

В этой языческой троице в первую очередь существовал *действительный* мир (мир случайности), освещаемый тем солнцем, которое воспринимают наши чувства. Затем существовал *прокосмический* (или промежуточный) мир, управляемый Посредником, «порожденным плодоносной сущностью Блага». И наконец — *гиперкосмический* (или трансцендентный) мир, над которым властвует вечное в своем блеске Солнце, Творец всех сил Вселенной, обеспечивающий ее порядок. Благодаря введению промежуточного мира между *действительным* и *гиперкосмическим* было восстановлено единство Бытия⁶⁹.

Для Юлиана эта система стала «совершенным выражением истины, самой реальностью»⁷⁰. Именно поэтому у него вырвалось следующее восторженное заявление: «Этот божественный мир, чудо красоты, который простирается от вершин небесного свода до пределов земли и поддерживается нерушимым божественным Провидением, существовал от вечности без всякого акта творения и будет существовать вечно»⁷¹.

И все же в системе Ямвлиха имелось одно уязвимое место. Оно касалось промежуточного мира⁷². Каким образом действует Посредник? Как себе его представить? Каким образом он осуществляет скрытую связь между созданием и его Создателем? Все эти вопросы имели для Юлиана

первостепенное значение, поскольку, несмотря ни на что, на него оказало сильное влияние христианское воспитание и он прекрасно понимал, что притягательная сила христианства проистекает в основном из того, что это религия «Воплощения».

Юлиану, несомненно, был свойствен философский склад ума. Но он был также мистиком, для которого любая философия имеет ценность лишь тогда, когда основывается на жизненном опыте. Он искал не идею, объясняющую мир, а способ жизни, созвучный сердцу человека. С этой точки зрения, Ямвлих проник мыслью так далеко, как только позволяет человеческий ум. Он привел Юлиана к сердцевине тайны. Но эту сердцевину при окончательном анализе оказывалось невозможно разгрызть...

Чувствительный, эмоциональный, обуянный потребностью в вере как сублимации любви, которой он был лишен с детства, Юлиан был подвержен сильным приступам экзальтации. В такие мгновения он чувствовал, что поднимается над самим собой, и его сердце переполнялось надеждой. Но эти исключительные мгновения сменялись долгими периодами подавленности, во время которых его обуревала несказанная печаль. Это была не тоска в прямом смысле слова, это было ощущение бесплодности усилий, внутренней иссушенности. В эти периоды он ни с кем не общался, чувствовал себя как бы замурованным в самом себе, и только чтение любимых философов приносило ему некоторое утешение.

Он ворочался с боку на бок на своем ложе не в силах заснуть, и его мучили призраки прошлого. Когда он наконец засыпал, то погружался в тяжелый сон, отягченный кошмарами. Он просыпался весь в поту, с бьющимся сердцем и чувствовал, что соскальзывает на дно черной ямы, а небо колышется над его головой. Тогда он вытягивал перед собою руки, криком призывая друга, посредника, способного привести его к тому Богу, познания которого он столь отчаянно жаждал. Однако его руки встречали пустоту. Он умолял небеса. Но небеса молчали...

Тогда он впадал в то состояние томления духа, которое в какой-то момент жизни довелось испытать всем мистикам и о котором современный поэт написал такими словами:

Господь, мне страшно. Дух спасенья ждет,
Взирая, как трепещет небосвод.
В смятении сердце призывает смерть,
И под ногами топью стала твердь.
Я думаю: как Бог меня найдет?

В окружении Юлиана, который теперь находился в Пергаме, появилась небольшая группа молодых людей, отличавшихся от других скромностью и серьезностью. Они вели себя сдержанно и старались избегать философских дискуссий. Среди них Юлиан выделил некоего Максима из Эфеса, к которому быстро почувствовал необъяснимую симпатию. Можно сказать, им не нужно было разговаривать, чтобы понимать друг друга. Как только Максим Эфесский замечал тень боли в глазах Юлиана, он подходил к нему и тихо говорил несколько слов, легко рассеивавших его печаль. Молодые люди быстро привязались друг к другу. Их встречи становились все более частыми, что позволило Максиму приобрести огромное влияние на Юлиана и даже — как мы вскоре увидим — сыграть решающую роль во второй половине его жизни.

Хотя Максим Эфесский и восхищался Ямвлихом, он ни в коей мере не считал себя философом. Он был «теургом», то есть человеком, направившим все свои способности на «познание Бога». Он утверждал, что общается с небесными духами и они наделяют его сверхъестественной силой, которой он пользуется во время тайных собраний, куда имеют доступ лишь немногие избранные. Юлиан не раз спрашивал его об этих собраниях и выражал желание присутствовать на них. Но эфесец отвечал столь уклончиво, что Юлиан, из скромности, не смел настаивать.

Тем не менее однажды, когда они прогуливались вдвоем за городом, Юлиан рассказал Максиму о странном ощущении полета, которое испытал в девятилетнем возрасте во время своего вынужденного пребывания в Астаккии.

— Я заснул на холме над Пропонтидой, — сказал он Максиму. — И вдруг почувствовал, что поднимаюсь в воздух. Потом, когда я парил в океане света, я услышал, как Гелиос позвал меня по имени.

Максим долго пристально всматривался в его лицо, затем ответил с улыбкой:

— С нашей первой встречи я знал, что между богами и тобой существует особая связь.

Юлиан заверил его, что и сам многократно убеждался в благосклонности к нему богов. Особенно ярко он почувствовал это на следующий день после того, как избежал смерти при избиении его семьи. Потом он усмотрел вмешательство Гелиоса в том, что рядом с ним был

Мардоний, посвятивший его в основы эллинистической философии. И наконец, это ощущение усилилось, когда он открыл для себя труды Порфирия и Ямвлиха. Он продолжал:

— Ямвлих явил мне метафизическую систему Вселенной, которую я считаю истинной. По моему мнению, никто и никогда не сможет создать что-либо более совершенное. Но я уже не нахожу в его философии былого успокоения. Я дошел до той ступени, когда уже нельзя удовлетвориться абстрактным рассуждением о проявлениях божественного. Мне нужен бог, присутствие которого я чувствовал бы в глубине своей собственной души. Когда я спрашиваю галилеян, как научиться верить в их Бога, они советуют мне читать Евангелие. Когда я обращаюсь к язычникам, они отсылают меня к Аристотелю или Платону. Все время один и тот же ответ! Книги, только книги!

Помолчав немного, Юлиан продолжал дрожащим от волнения голосом:

— Что мне делать со всеми этими книгами? Я жажду жизни, причащения, встречи лицом к лицу с моим Создателем! Разве книги открыли глаза Савлу, когда он шел по дороге в Дамаск? Нет, это был поток света, видение, Голос!⁷³ Тот голос, который я слышал однажды еще ребенком. Но это была слишком короткая встреча. С тех пор голос молчит, и я напрасно ищу его. Сейчас я чувствую, что в моей душе растет не ощущение присутствия Бога, а жуткое отчаяние...

Юлиан опустил голову и замолчал. Затем он тихо прошептал:

— Я делал невозможное, чтобы вновь его услышать. Я призывал его. Я умолял его ответить мне. И все напрасно. Но ведь я просил об этом не для того, чтобы обеспечить собственное спасение, а для того, чтобы помочь спасти красоту мира...

Когда Юлиан поднял голову, в его глазах стояли слезы. Это свидетельство горячей искренности рассеяло последние сомнения Максима и заставило повести с Юлианом откровенный разговор.

— Ты ищешь Бога таким способом, каким его еще никто не находил, — сказал он. — Ты хочешь заставить его тебе ответить, но ведь ты не хозяин ему! Ты хотел понять, чтобы поверить, в то время как следует поверить, чтобы понять⁷⁴. А теперь ты даже не понимаешь, почему не веришь...

— Ты слишком суров! — ответил Юлиан.

— Я суров, потому что люблю тебя.

— Тогда не говори, что я не верю. Я верю всеми моими силами. А

вместо ответа, которого я жду, я слышу только эхо своего собственного голоса. Но я ведь хочу не этого! Я хочу услышать голос *Другого*. Я хотел бы, чтобы он пришел ко мне, просветил меня, поразил раскатом грома...

— В таком случае отдайся в руки Посредника...

— А он существует? Я так давно ищу его...

— Он существует! — подтвердил Максим тоном, выражавшим абсолютную уверенность.

— Кто он?

— Сын Солнца.

— Как все люди? Как я?

— Ты — один из сыновей Солнца. А я сказал: Сын Солнца.

— Он указывает путь?

— Он сам есть Путь.

— Можно ли назвать его по имени?

— Его зовут Митра.

— Есть ли какое-то родство между ним и мной?

— Больше, чем ты думаешь...

Юлиан помолчал минуту. Потом сказал:

— Я уже слышал имя Митры от офицеров гвардии. Но в этой области я двигаюсь вслепую, на ощупь... Можешь ли ты рассказать мне о нем?

— Его появление относится к началу времен. Он родился от девы в глубоком гроте в день возрождения солнца, который его почитатели отмечают 25 декабря и называют *natalis invicti*⁷⁵. После его рождения пастухи пришли поклониться ему, лежащему в колыбели. Прожив 33 года на земле, он вернулся на небо в то время года, когда природа расцветает. Его память почитают общей трапезой, во время которой все сидят за одним столом и причащаются телом и кровью Митры в виде хлеба и вина...

— Кровью Митры? — воскликнул Юлиан.

— Да! Ведь Митра задолго до Христа сказал: «Тот, кто вкушает мою плоть и пьет мою кровь, становится един со мной, а я — с ним». Как видишь, галилеяне не придумали ничего нового⁷⁶...

— Правда... Можно даже сказать, что они многое позаимствовали у нас. Но прошу тебя, продолжай.

— Поклонение Митре основано не на отречении, а на полноте жизни, и это дает ощущение исполненного долга. Наш культ превозносит не страдания и смерть, а радость и жизнь. В этом поклонении обращаются не к бедному сыну плотника, у которого даже не хватило сил помешать палачам пригвоздить его к кресту, а к Непобедимому Солнцу. Это

мужественная религия, религия победителей. Потому-то она так распространена среди наших легионеров: здесь, в Греции, в Паннонии, в Италии и даже в Галлии, куда ее принесли центурионы, воевавшие вместе с Помпеем на Востоке...

— Почему никто не говорил мне об этом раньше?

— Потому что ты не был готов услышать. Все думали, что ты христианин...

— Правда, я много сделал для того, чтобы всем так казалось, — проговорил Юлиан, опуская голову. — К тому же, если бы узнали...

Он махнул рукой, как бы отгоняя мучительные воспоминания.

— Есть еще одна причина, — продолжал Максим. — Религия Митры требовательна, она хранит свои тайны. К ней присоединяется не всякий, кто хочет. Она требует посвящения, и немногие оказываются достойны его. Тех, кто выдает тайны ее мистерий, постигает безжалостное возмездие.

— И ты говоришь, что эта религия распространена в Греции, в Италии и даже в Галлии? — спросил Юлиан, все более заинтересовываясь.

— Все народы мира инстинктивно поклоняются Солнцу, — ответил Максим. — Зороастр, родившийся в Бактрии, был его пророком в Персии и Мидии. Греки, а все мы — греки, поклоняются ему под именем Зевса или Аполлона. Египтяне чтут Гора и Сераписа. У римлян Квирин, царящий на семи холмах и являющийся, как известно, обожествленным духом Ромула, — тоже солнечное божество. В Галлии и в Британии жрецы воздвигают ему алтари, на которые в дни солнцестояния падают первые лучи. Даже в Индии его всемогущество прославляется священными гимнами⁷⁷...

— То есть вся земля поет ему хвалу?

— Да, вся земля.

— И ты говоришь, что Митра и есть Посредник?

— Без всякого сомнения.

— Отведи меня к нему, — попросил Юлиан. — Я сгораю от нетерпения познать его!

— Это труднее, чем ты думаешь, — ответил Максим, явно сомневаясь.

— Я — кузен императора! — сказал Юлиан, расправляя плечи.

— Тем более для кузена императора! Если ты выдашь нас, нас всех казнят...

Юлиан горько улыбнулся.

— К тому же нужно время. Твоя душа должна пройти долгую и трудную подготовку. Потому что если ты думаешь, что речь идет о получении новых знаний, то это не так. Речь идет о том, чтобы вступить в солнечное царство Озарения.

— Можно ли описать это?

— Не знаю... Вновь обретенное единение с Изначальным... Слияние изменчивого с Несотворенным... Растворение всего в экстазе... Лучше не спрашивай. Если бы это можно было описать, это не было бы Озарением...

— И все-таки я очень хочу обрести его, — сказал Юлиан умоляющим тоном. — Помоги мне! Я охотно подвергнусь любым испытаниям. Я чувствую, что именно здесь лежит Путь...

— Я не могу ничего обещать тебе, не посоветовавшись с моими братьями, — ответил Максим.

Юлиан и Максим закончили прогулку, больше не сказав друг другу ни одного слова. И в последующие дни они не разговаривали. Но каждый раз, когда Максим встречал Юлиана, он читал в его взгляде немую мольбу.

Спустя пятнадцать дней Максим Эфесский пришел к Юлиану и тихо сказал ему:

— Мои братья согласны принять тебя. О дне и месте, где ты будешь принят в наше сообщество, я скажу тебе позже.

Услышав эти слова, Юлиан почувствовал, как его сердце забилося от радости.

— С этого момента и впредь, — добавил Максим, — мои братья просят тебя только об одном: хранить все в строжайшей тайне.

— Я молчу уже почти двадцать лет, — ответил Юлиан, стараясь, чтобы его голос прозвучал как можно спокойнее и не выдал его чувств.

XIII

Через несколько дней после этого разговора за Юлианом зашел друг Максима Эдесий и отвел его в небольшую пустынную долину. С западной стороны она была ограничена высокой каменной скалой. Подойдя к подножию скалы, Эдесий раздвинул заросли кустарника, и в скальной стене обнаружилась извилистая трещина.

На пороге этой пещеры Юлиана ждал Максим. Рядом с ним стоял довольно странный человек. Он был весь белый — белыми были сандалии, туника, волосы и длинная борода; его можно было принять за статую, изваянную из снега. Он был выше среднего роста и держался очень прямо, несмотря на явно почтенный возраст. Цвет его лица напоминал прозрачность алебаstra, а взгляд поражал детской искренностью.

— Это Хрисанф, жрец Гекаты, — сказал Максим.

Старик слегка поклонился Юлиану и пригласил его войти. Сделав несколько шагов, Юлиан оказался в гроте. Здесь тень дышала такой свежестью, что казалось, рядом находится источник. Спустя несколько мгновений Максим и Эдесий вышли, оставив Юлиана наедине с Хрисанфом. В углублении скальной стены Юлиан увидел чашу, вырезанную из того же камня. В нее сбегала тонкая струйка воды. Старик попросил его раздеться и показал, как следует совершить ритуальное омовение. Потом он принес ему тунику из белой шерсти и предложил надеть.

Когда Юлиан сделал все, что требовалось, Хрисанф взял его за руку и повел по узкому коридору, уходившему в глубь горы. Так они пришли в другую пещеру, намного более тесную, чем первая. Она была слабо освещена единственной масляной лампой, подвешенной к своду. Юлиан почувствовал, как холод пробежал по его спине, потому что эта пещера странным образом напомнила ему гробницу.

— Здесь начинается твой путь, сын мой, — суровым голосом сказал ему жрец Гекаты, и эхо этих слов, казалось, затерялось в глубинах земли. — Он начинается с забвения мира. Сейчас ты еще слаб. Поэтому тебе нужно хоть немного света. Через несколько дней, когда ты окрепнешь, свет погаснет. Тогда ты будешь погружен в абсолютную тьму. Она олицетворяет полное отречение от себя и означает, что все живое должно умереть прежде, чем воскреснуть. Если ты почувствуешь жажду, то можешь пить из этого кувшина: он освящен. Но есть тебе нельзя. Время от времени я буду

приходить, чтобы поддержать тебя молитвой. А теперь: наберись мужества, сын мой! Приготовься к смерти...

Юлиан почувствовал, что его наполняет смутная тревога, и хотел задать старику вопрос. Но тот уже исчез.

Последние слова Хрисанфа и его неожиданное исчезновение породили в Юлиане беспокойство. Не было ли неосторожностью столь слепо доверять Максиму? А если он — человек Констанция? Если император избрал такое средство, чтобы заставить Юлиана бесследно исчезнуть? Кому придет в голову искать его в глубине этой скалы, в которую его замуровали? Он начал кричать, буйствовать, стучать кулаками в каменные стены. Но ответа не было: его ушей не достигали ни голоса, ни эхо звуков внешнего мира. Юлиан задыхался и думал, что сходит с ума.

Через какое-то время, показавшееся ему слишком долгим, вновь появился Хрисанф. Едва увидев старика, Юлиан бросился к нему и потребовал, чтобы его выпустили.

— Никто не мешает тебе уйти, — спокойно ответил старик. — Разве не по своей воле ты пришел сюда? Но если ты хочешь уйти, я тебя выведу. Раз тебе не под силу выдержать испытание, возвращайся в мир праха...

Независимое спокойствие, с которым говорил жрец, разом рассеяло страхи Юлиана. Вновь обретя контроль над своими нервами, он вдруг устыдился своего поведения и попросил у Хрисанфа прощения за свой бунт. Старик ласково улыбнулся и ответил:

— Успокойся, сын мой! Ты не первый, с кем происходит такое. Посвящение — это ужасное испытание. Оно раздирает душу вплоть до ее самых потаенных глубин.

Три дня и три ночи Юлиан оставался наедине с собой, постился, молился, размышлял. В какой-то момент он вдруг полностью утратил ощущение времени. Жрец регулярно навещал его и заставлял делать различные физические и духовные упражнения, помогавшие сконцентрировать мысли. В конце каждого такого занятия старик благословлял его, отстраненно нараспев произнося следующие слова:

— Да снизойдет на тебя Бог!.. Да расширит его невидимый меч твой путь!.. Да внидут его добродетели в твою субстанцию, да питают они твое солнце!..

Поначалу Юлиана охватывала такая сильная нервная дрожь, что он не мог с ней справиться. Постепенно это возбуждение уступило место умиротворению. Поскольку он не ел много дней, то чувствовал удивительную легкость и ему казалось, что его тело становится прозрачным. Огонь в масляной лампе постепенно угасал. Наступил момент,

когда он дрогнул и окончательно погас. Но Юлиан не испугался, потому что в ту же секунду ему показалось, что внутри него загорается нематериальный свет. Это был весьма бледный и неуверенный огонек, но его было достаточно, чтобы Юлиан почувствовал соприкосновение с присутствием Невидимого. Поскольку, когда он стоял, у него кружилась голова, Юлиан улегся вдоль стены и уставился в непроглядную тьму.

Наконец наступил день самого посвящения. Хрисанф разбудил его. Старик принес ему другую тунику — из белого льна и без швов, — помог переодеться и долго смотрел на юношу, не говоря ни слова. Потом сказал:

— Сейчас ты чист. Пусть никто не дотрагивается до тебя; пусть никто не говорит с тобой; пусть никто не смотрит на тебя, ибо ты сам по себе — Взгляд...

Взяв Юлиана за руку, он медленно отвел его в глубину грота, велел молча повернуть тяжелую каменную плиту в одной из стен и ввел в более просторный, ярко освещенный зал. В глубине комнаты на возвышении находился алтарь, на котором стояла статуя Афины. Ее руки держали два мраморных светильника. Справа и слева выстроились члены общины.

Подойдя к подножию алтаря, жрец произнес молитву. Затем, повернувшись к Юлиану, сделал ему знак лечь на землю лицом вверх. Полубессознательно Юлиан повиновался и в экстазе запрокинул голову. В ту же минуту члены общины запели тихий гимн, который больше напоминал жужжание пчел, чем пение.

Некоторые из древних авторов утверждают, что в это мгновение Юлиану было явлено несметное число знамений: раскаты грома, молнии и ужасающий рев; что лицо Афины осветилось и снопы пламени вырвались из двух мраморных светильников, которые она держала в руках. Но эти образы являются в лучшем случае литургическими символами; или хуже того: возможно, это намеренная ложь врагов Юлиана, привнесенная позже с тем, чтобы очернить его. Важно же лишь то, что происходило в нем самом. А в нем происходило нечто совсем другое: он вновь, и с бесконечно большей силой, переживал то, что уже однажды пережил в Астаккии.

Он чувствовал, как в глубине его самого рождаются и движутся пузырьки света, туманные огоньки, описывающие все более широкие круги. Они поднимались вверх, как бы подталкиваемые ровными взмахами мощных крыльев, и увлекали его вслед за собой в головокружительный полет. Юлиан потерял связь с землей и вдруг почувствовал, что парит в океане света.

И тогда громовой голос позвал его по имени:

— *Юлиан! Юлиан!*

— Кто зовет меня? — спросил Юлиан.

— *Я, твой отец Гелиос!*

— Я узнаю тебя! — воскликнул Юлиан.

— *Тогда слушай меня! Верни бессмертным Богам поклонение, которого они заслуживают!*

— Обещаю! — вскричал Юлиан, охваченный лихорадочным возбуждением.

— *Охраняй Веру!*

— Обещаю! — повторил Юлиан.

— *Чти память Героев-благодетелей и Духов полубогов, которые служат посредниками между людьми и мной!*

— Обещаю! — в третий раз повторил Юлиан.

— *Теперь, когда твое внутреннее солнце воссоединилось с высшим Солнцем, следи, чтобы Путь был открыт!*

Голос стал менее четким и начал удаляться.

— *Следи, чтобы Путь был открыт!* — повторил он еще раз перед тем, как замолкнуть. Но Юлиан долго ощущал его эхо в глубине своего сердца.

Когда он вновь открыл глаза, то понял, что все еще лежит на земле. Храм был по-прежнему ярко освещен, но Юлиану он показался погруженным в сумерки по сравнению с блистающей ясностью света, который он только что созерцал. Максим и Эдесий помогли ему подняться, потому что он покачивался и, казалось, с трудом приходил в себя. Их лица сияли. Все члены общины по очереди подходили к нему и заключали его в объятия. После этого Хрисанф запечатлел поцелуй на его лбу и сказал ему тихо, как бы по секрету:

— *Следи, чтобы Путь был открыт.*

Юлиан чуть не лишился чувств, когда услышал повторение божественного повеления из уст человека. Он хотел спросить жреца, откуда тот узнал об этих словах, но, предупреждая его вопрос, Хрисанф коснулся пальцем губ, побуждая к молчанию. Потом он вновь медленно повел Юлиана к выходу из пещеры. Когда тяжелая каменная плита, скрывавшая вход, опять повернулась на своих блоках, храм исчез из их глаз и все приняло свой обычный вид.

Юлиан нашел свои сандалии и платье из грубой шерсти там, где их оставил. Он переоделся, положил белую тунику подле чаши с водой и вышел из грота в сопровождении одного Максима. Стояла ночь. Мерцали звезды. Юноши прикрыли лица краем плаща, чтобы никто не узнал их, и молча направились по дороге в Пергам.

Однако длительное отсутствие Юлиана не прошло незамеченным. Двое христиан, спрятавшись за кустами, видели, как он входил в пещеру Гекаты. Они распространили слух о том, что двоюродный брат Констанция безвозвратно попал под влияние Максима, что теург заставил его заключить договор с дьяволом и что оба они участвовали в разного рода нечестивых ритуалах...

XIV

С наступлением осени 354 года Юлиан решил осуществить замысел, который лелеял с самого детства, и посетить руины Илиона, прежде чем они окончательно исчезнут с лица земли. Эта поездка представлялась ему одновременно паломничеством и инспекцией. Он хотел воззвать к теням героев Гомера и вместе с тем осмотреть состояние древних памятников.

Еще в Пергаме ему случалось созерцать знаменитый алтарь, вокруг которого был расположен фриз, изображающий борьбу Афины с титанами⁷⁸. Каждый раз он видел, что алтарь все более разрушается по сравнению с тем, каким он был в предыдущее посещение, и это прискорбное зрелище вызывало слезы на его глазах. За святилищем никто не ухаживал. Вход в храм зарос терновником. Обрушились огромные куски барельефа, на котором художник, воплотив в камне дыхание бури, сумел передать мощь битвы. Теперь титаны распростерлись на земле, расколотые на части, с разбитыми крыльями, и казалось, что из их огромных раскрытых ртов вырывается вопль отчаяния. Жалкое состояние, в котором находился этот памятник, соответствовало состоянию эллинства вообще.

Но сколь бы большое впечатление ни производило это здание даже во времена своего бывшего благополучия, в глазах Юлиана Илион имел совсем другое значение. Разве не там находилась колыбель греческой поэзии? Разве не там человек впервые осознал, что мир во многом держится благодаря героям? Там были погребены Ахилл и Гектор, эти воины, «о которых нельзя было сказать, прекраснее ли они в победе или в поражении, величественнее ли они в жизни или в смерти». К тому же в этом благословенном месте в сжатом виде воплотилась вся история античного мира. Там сражался не только Ахилл, но и Александр и Цезарь, которые приходили молиться на гробницу Ахилла. Сколько же дорог пересеклось на этих нескольких акрах земли...

Что сохранилось от этих величественных памятников? Несколько разбитых камней, несколько покрытых пылью холмов? Можно сказать, ничего, как с удовольствием утверждали некоторые... Но Юлиан отказывался этому верить, по крайней мере до тех пор, пока не убедится в этом собственными глазами. Поэтому он ехал в Трою, страстно ожидая встречи с этой землей, но в то же время втайне предчувствуя, что найдет там лишь пустынную местность и неопознаваемые развалины.

За несколько дней до того, как отправиться в путь, Юлиан получил

послание от Констанция. Император приглашал его к себе в Милан и добавлял, что, учитывая его принадлежность к императорской семье, он оставляет ему свободу в выборе маршрута и состава эскорта. Он уверял также, что нет особой нужды торопиться. На первый взгляд намерения императора казались вполне дружескими. Однако зная его склонность к тайным козням, следовало быть готовым ко всему. Предложенное Констанцием путешествие могло закончиться в камере подземной тюрьмы. Поэтому стоило увидеть Илион, прежде чем отправляться в Италию.

Итак, не позволяя себе отвлекаться от задуманного, Юлиан взошел в Элее, в устье Каика, на борт небольшого корабля, груженного смоквами, и поплыл под парусами в Александрию-Трою. Там он сошел на берег и провел ночь на постоялом дворе, где остановилась группа возчиков. Одет он был очень просто, и никто не обратил на него внимания. На следующее утро, встав пораньше, он двинулся вперед по пыльной дороге, которая вела от Александрии-Трои в долину Илиона. День был солнечным. Ветерок с моря гнал облака, более легкие, нежели клочки морской пены. Он переправился вброд через желтоватые воды Скамандра и был разочарован, увидев лишь широкий ручей там, где ожидал встретить мощную реку. Он прибыл в Илион незадолго до полудня после того, как некоторое время безуспешно разыскивал валы, построенные Приамом. Был базарный день. На большой городской площади шумела оживленная толпа — зрелище живописное, но не имевшее ничего общего с гомеровской эпопеей.

Неожиданно Юлиан увидел, что навстречу ему идет епископ города, некто Пегасий, которого он счел за благо уведомить о своем приезде, хотя чувствовал к нему «такое же отвращение, какое можно чувствовать к последнему извращенцу». Он слышал, что этот человек был инициатором бесчисленных расхищений и осквернений памятников. Юлиан принял его подчеркнуто холодно и, стараясь держать его подальше от себя, объявил, что приехал только затем, чтобы увидеть местные достопримечательности, и не нуждается в помощи.

Невзирая на холодность приема, епископ дружески предложил себя в качестве проводника, заверив, что ему доставит удовольствие собственноручно открыть перед гостем двери всех памятников, которые тот пожелает увидеть.

Позднее Юлиан описал в письме к другу⁷⁹ свою прогулку по храмам Илиона в сопровождении епископа, чье имя заставляло его вспоминать о крылатом коне Персея. Он начал с того, что спросил своего провожатого, сохранились ли еще где-нибудь гробницы героев «Илиады».

— Конечно, — с радостной улыбкой ответил епископ и сразу же повел

его к мавзолею Гектора. Но предоставим слово самому Юлиану, описывающему нам эту сцену живым и шутливым стилем, к которому он часто прибегал в письмах к друзьям. Итак, он пишет:

«Здесь есть героон Гектора⁸⁰ с его бронзовой статуей, установленной в маленькой часовне. Напротив поставили под открытым небом огромного Ахилла. Пусть местные проводники объяснят тебе — когда ты сюда приедешь, — почему их поставили напротив друг друга и оставили великого Ахилла под открытым небом. Я обнаружил по-прежнему курящиеся алтари, я бы сказал, они почти что пылали огнем, а статуя Гектора блестела, с ног до головы умащенная маслом. Глядя в упор на Пегасия, я сказал ему:

— Смотрите-ка! Разве жители Илиона до сих пор поклоняются Гектору?

(Я хотел, не выдавая себя, прощупать его мнение по этому вопросу.)

— А что в этом странного? — ответил он. — Разве можно винить их за то, что они поклоняются хорошему человеку, который к тому же был их соотечественником, так же как мы почитаем наших святых мучеников?

Такое сравнение абсолютно неоправданно. Но, учитывая обстоятельства, я усмотрел в этом уважение и деликатность».

Во всяком случае, этот Пегасий не был похож на того неистового «иконоборца», каким его описывали Юлиану, и юноша почувствовал, что его предубеждение против епископа начало уменьшаться. Юлиан сказал себе, что епископ, хоть и христианин, но по крайней мере признает правомерным долг язычников по отношению к их богам.

«Затем я предложил ему пройтись до святилища Афины Илионской, — продолжает Юлиан. — Пегасий с большим воодушевлением повел меня туда. Он собственноручно открыл передо мной двери храма и, как бы призывая меня в свидетели, продемонстрировал всё статуи, абсолютно нетронутые. При этом он не делал ничего, что в таких обстоятельствах обычно проделывают христиане: не чертил на своем лбу знака защиты от нечистой силы и не шипел сквозь зубы, как они имеют обыкновение делать. У них ведь на деле самая высокая теология сводится к этим двум формам экзорцизма: к шипению ради изгнания демонов и к вычерчиванию у себя на лбу крестного знамения»⁸¹.

Постепенно Пегасий становился все более симпатичен Юлиану. Если он и не был язычником, то по крайней мере отличался терпимостью. Но Юлиана ожидал еще больший сюрприз.

«Вот две черты, — пишет он, — которые я хотел тебе описать. Но мне

приходит на ум и третья, которую я не считаю нужным обходить молчанием. Пегасий отвел меня также в Ахиллеон, расположенный в двух или трех стадиях от города, и показал мне эту гробницу. Меня уверяли, что он ее уничтожил. Но я увидел, что она не только в полной сохранности, но что епископ приближается к ней с большим почтением. Можешь поверить мне на слово, ибо я видел это собственными глазами»⁸².

По правде говоря, Юлиан не мог опомниться от удивления: илионский епископ оказался почитателем Ахилла и с благочестивой заботливостью оберегал его гробницу! Этого человека ему описывали как фанатика, «иконоборца», неистового христианина, а он оказался одним из тех людей, с которыми было легко достичь взаимопонимания! И наконец, еще одна черта, о которой сообщает Юлиан, окончательно завоевала его расположение. «Те, кто настроен враждебно по отношению к нему, — добавляет Юлиан, — говорили, что он втайне взывает к Солнцу и поклоняется ему».

Против такого аргумента Юлиан не мог устоять. Полностью расположившись к Пегасию, он начал все больше ценить его и стал расспрашивать о его жизни. Пегасий открыл ему, что стал христианином лишь для того, чтобы иметь возможность спасти жилища богов, и что никогда не совершал ни малейшего святотатства в храмах за исключением изъятия некоторого числа камней, которые он вывез на постройку постоянного двора, чтобы сохранить остальное.

Решительно этот образованный священник-археолог был исключительным человеком. И к тому же весьма смелым. Другие тайно приносили жертвы богам; он же пожертвовал богам самого себя. Юлиан возблагодарил Гелиоса за возможность встретиться с этим человеком. То, что Пегасий рассказал ему за эти несколько минут, было неизмеримо более ценным, нежели все, что он мог бы узнать, тщательно изучая построенные Приамом валы. Благодаря Пегасию он открыл, что огромное число преданных душ, число намного большее, чем он мог предположить, искренне надеются на возрождение язычества.

На следующий день Юлиан вновь пришел в Ахиллеон и вознес молитву на холме, под которым, согласно преданию, был погребен пепел Патрокла. Он вспомнил, что именно в этих местах Александр и Гефестион некогда принесли жертву духу Ахилла, прежде чем отправиться завоевывать Азию, и что все македонское воинство, воздев к небесам руки, просило богов даровать им победу. Он вспомнил также, что неподалеку отсюда Цезарь сделал себе импровизированный алтарь и, стоя перед ним, просил богов-покровителей Энея и Палладу «даровать счастливые

продолжение его победам»⁸³. Юлиан не знал латинского языка. Он научился говорить на нем значительно позже и не достиг в этом совершенства, потому что считал латинский язык «грубым и шероховатым, не обладающим ни тонкостью, ни мелодической гибкостью греческого». Потому он скорее всего не читал «Фарсалий» Лукана и не знал молитвы, которую их автор вложил в уста победителя Помпея. Какова бы была его радость, если бы он узнал, что Цезарь, поставив Илион под защиту римских легионов, пообещал Афине восстановить его укрепления!⁸⁴

Всмотримся в серый силуэт невысокого человека, медленными шагами прогуливающегося по берегам Скамандра: это Юлиан. Он держится скромно и сурово. К тому же в нем есть нечто трогательное: он кажется таким маленьким по сравнению с необъятной мечтой, которой он живет. Создается впечатление, что в этом человеке сошлись все надежды античного мира, надежды древнего мира, который угасает, но не хочет умирать.

Когда-то его матери предсказали, что она родит нового Ахилла, нового Александра, способного восстановить единство человеческого рода. Какое бессмысленное предсказание! Многие другие до него бросались в это безумное предприятие, увлеченные радостными кликами толпы и топотом ног легионеров. И они потерпели поражение. Как же это сделать ему, не имеющему ни друга, ни защитника, живущему в молчании и одиночестве? Это кажется ему недостижимым.

Но боги, владыки событий, прозорливее людей. Они — его «провидение», то есть существа, провидящие его будущее. Если на то будет их воля, они откроют ему путь, покуда неразличимый для его глаз. Они дадут ему и необходимые силы для того, чтобы должным образом свершить этот страшный труд, это триумфальное восхождение к красоте и радости. Борьба будет ужасающей, безжалостной, изнурительной. Но если боги потребуют от него борьбы, он не станет уваливать.

Наступил вечер. Долина опустела. Юлиан остался один, погруженный в свои думы. Неожиданно он расправил плечи. Его лицо просветлело. Он воздел руки к небу и изо всех сил крикнул:

— Гелиос победит!

В то же мгновение послышался цокот копыт коня, скачущего по дороге. Появился всадник. Это был гонец от Констанция. Он привез Юлиану две ошеломляющие вести. Галл погиб, обезглавленный по приказу императора. Констанций, подтверждая свое предыдущее послание, предписывает Юлиану — на этот раз в форме приказа — как можно скорее

явиться в Милан.

Юлиан не придавал особого значения первому письму Констанция, полученному накануне поездки в Илион. Но в этот раз все было иначе. Приказной тон второго послания и сообщение о казни Галла не оставляли места для сомнений: они казались предвестниками смертного приговора. Что же произошло?

За те два года, которые Юлиан прожил в Малой Азии, Констанций усилил свою борьбу против Магненция. Перенеся свою резиденцию в Милан, он двинулся вместе со своими легионами в норикские Альпы. После упорного преследования он нагнал Магненция в Мурсе, на берегах Дравы, где 28 сентября 351 года разбил его наголову. Чудом избежав смерти, Магненций укрылся в Галлии. Переждав 18 месяцев, Констанций вновь перешел в наступление. Быстрым маршем преодолев ущелье Мон-Женевр, он прибыл в Монсалеон, где два раза подряд нанес Магнентию поражение. Узурпатор отошел к Лиону, и Констанций преследовал его по пятам. Видя, что его дворец окружен, и понимая, что погиб, Магненций перерезал себе горло, предварительно умертвив своих близких (август 353 года).

Но едва был побежден Магненций, как объявился новый узурпатор, Сильван. Только удалось подавить этот заговор, как поступило сообщение еще об одном, в районе Сирмия, зачинщиками которого были Африкан и Марин, командовавшие паннонскими легионами.

Именно в этот момент, когда Констанций боролся с очередными превратностями судьбы и не знал, за что хвататься в первую очередь, из Антиохии пришли ужасающие известия, касавшиеся скандального поведения Галла. За четыре года до этого, возведя Галла в цезари, Констанций заставил его жениться на своей сестре Констанции, о которой Аммиан, обычно весьма сдержанный в суждениях, пишет, что она была «жестоккой мегерой, столь же кровожадной, как и ее муж»⁸⁵. Констанция дурно влияла на своего супруга, и Галл, всецело послушный ее воле, позволил ей терроризировать Антиохию, устроив серию расправ без суда и следствия.

Боясь, как бы эти действия не привели к восстанию, префект Востока Талассий счел необходимым сообщить о происходящем Констанцию. Император начал с того, что отнял у Галла самый большой отряд его войска и послал ему приторно любезное письмо с приглашением на совещание в

Милан. Спустя несколько дней Талассий был убит. Тогда Констанций назначил на его место некоего Дометия, который пытался умерить кровожадность Галла и Констанции, но в конечном счете только распалил их. Карьера Дометия оказалась столь же короткой, как карьера Талассия. По прибытии в Антиохию он был отдан на растерзание разъяренным солдатам, которые связали ему ноги веревкой, проволокли его тело по улицам города и сбросили в воды Оронта. Его квестора Монтия постигла та же судьба. За этими двумя убийствами последовали другие.

Тогда Констанций понял, что скоро вся Сирия будет сожжена огнем и залита кровью, если он не положит конец этим диким выходкам. Он послал Галлу второе письмо, еще более коварное, чем первое, прося его не откладывать долее свой приезд и привезти с собой супругу, «восхитительную Констанцию, встречи с которой он ждет, сгорая от нетерпения».

Галл слишком хорошо знал коварство Констанция, чтобы дать обмануть себя этими медовыми речами. Однако он сказал себе, что, будучи сестрой императора, Констанция лучше, чем кто-либо, сможет заступиться за него. Царственная пара отправилась в Константинополь. К несчастью, едва прибыв в Вифинию, Констанция умерла от приступа лихорадки. Галл не просто потерял в ее лице своего лучшего защитника, — теперь, после ее смерти, у Констанция уже не оставалось повода щадить его. Галл в одиночестве продолжал путешествие и вскоре прибыл в Константинополь. Похоже, потеря супруги окончательно лишила его рассудка, потому что вопреки благоразумию он воспользовался своим временным пребыванием в столице для того, чтобы устроить состязание колесниц, и под бешеный рев множества зрителей, заполнивших ипподром, собственноручно возложил венок на голову победителя (а это являлось привилегией императора). Евнух Евсевий сразу же сообщил об этом Констанцию.

— Только посмотрите, как ведет себя Галл! — сказал он императору. — Вместо того чтобы каяться в грехах или оплакивать супругу, он стремится расположить к себе толпу, нанять сторонников, захватить власть! Если вы не растопчете эту змею, пока еще не поздно, я не поручусь за вашу жизнь!

Начиная с этого момента к Галлу был приставлен военный эскорт, которому было поручено не столько воздавать ему почести, сколько не упускать из виду. Аммиан Марцеллин пишет, что в таком сопровождении он покорно приехал в Италию, «подобно человеку, который кидается в огонь, спасаясь от дыма».

Когда они прибыли в Петовий в Западном Норике, Евсевий приказал

окружить дворец, в котором остановился Галл. Затем в его покои явился комит Барбацион, сорвал с него царские одежды и заставил переодеться в простую тунику и плащ. После этого он приказал Галлу взойти на повозку и велел отвезти его во Фланону в Истрии, где его бросили в тюрьму.

Теперь Галл наконец понял всю трагичность своего положения. Это стало окончательно ясно, когда в его камеру пришли евнух Евсевий и военный трибун Маллобад, чтобы подвергнуть цезаря суровому допросу по поводу всех совершенных или допущенных им в Антиохии убийств. Загнанный в угол вопросами, Галл посинел от ужаса, и у него хватило сил лишь для того, чтобы свалить ответственность за все на свою супругу.

Констанций пришел в дикую ярость, узнав, какое оскорбление Галл нанес памяти его сестры. Не откладывая больше решения, он послал во Фланону префекта Серениана, нотарию Пентадия и интенданта Аподаема с приказом немедля казнить виновного. Ранним декабрьским утром 354 года цезарю связали руки веревкой и отрубили голову.

Но едва Констанций подписал приказ о казни Галла, как тотчас же пожалел об этом. Он послал во Фланону срочного гонца с противоположным приказом, аннулировавшим приговор Галлу и предписывавшим отсрочку казни.

Но Евсевий не дремал. Добыча была в его руках, и он не собирался упускать ее. Он перехватил императорского гонца и не дал ему встретиться с палачами до тех пор, пока казнь не была совершена. Аподем, даже не дождавшись смерти Галла, сорвал с него цезарские сапожки, вскочил на коня и помчался в Милан, много раз меняя коней, чтобы прибыть как можно быстрее. Прискакав, он вошел в тронный зал и победным жестом бросил обувь Галла к ногам императора.

Констанций застыл на своем золотом троне, его челюсть отвисла, а глаза расширились от ужаса. Он долго, не говоря ни слова, созерцал брошенные перед ним сапожки.

Вот в такую зловещую атмосферу и попал Юлиан, когда прибыл в Италию.

XVI

Получив второе письмо Констанция, Юлиан сразу же взошел на борт парусника, отправлявшегося в сторону Равенны. Попутный ветер промчал его через архипелаг, и корабль причалил в Ариминии, неподалеку от устья Рубикона. Оттуда Юлиан поскакал в Милан по Эмилиевой дороге мимо нынешних Чезены, Болоньи, Пармы и Пьяченцы. Когда он прибыл в столицу, императора там уже не было. Он воевал в это время с алеманнами в Реции. В отсутствие императора его замещал евнух Евсевий. В то время он был на вершине могущества, и некоторые придворные насмешливо говорили, что Констанция можно поздравить с тем, что «хранитель его опочивальни сохраняет к нему некоторое уважение».

Юлиана поселили в дворцовой пристройке, чтобы он постоянно был на виду, и установили за ним надзор. Но поскольку ему оказывали знаки внимания — ведь намерения Констанция в отношении него еще не были известны, — он не мог точно оценить свое положение.

Смерть Галла глубоко поразила его, хотя он все еще не знал ни причин его опалы, ни обстоятельств казни. Зато он хорошо понимал, что смерть старшего брата делает его законным наследником императорского трона в случае, если Констанций умрет бездетным. Эта перспектива вызывала в нем скорее озабоченность, чем радость. Во-первых, потому, что она делала его положение как никогда более опасным. Во-вторых, потому, что все виденное и слышанное им по дороге в Милан еще более укрепило в нем отвращение к политике. Если бы он и так не был уверен, что ему осталось недолго жить, он бы попросил Гелиоса позволить ему умереть быстрой смертью.

Когда спустя восемь дней евнух Евсевий вошел в его комнату, неизбежность смерти показалась Юлиану очевидной. Великий хранитель священной опочивальни произнес составленный по всем правилам обвинительный акт, двумя основными пунктами которого были, во-первых, отъезд Юлиана из Мацелла без разрешения императора и, во-вторых, участие в заговоре Галла с целью убийства Констанция.

Внимательно вдумавшись в обвинительный акт, Юлиан понял, что он исходит не от Констанция, а от самого Евсевия. Констанций никогда не вменил бы ему в вину первый пункт, потому что Юлиан покинул Мацелл по его приказу.

Тогда у Юлиана опять появилась надежда. Он сказал себе, что если

ему удастся поговорить с самим Констанцием, то он, возможно, сумеет убедить его в своей невиновности. Между тем в Милан прибывали в оковах все новые приближенные Галла. Констанций был безжалостен к ним. Приговоры к изгнанию чередовались с приговорами к смерти. Император свирепствовал даже в отношении некоторых священников, которых обвинили в измене. Вместе с многими другими был изгнан и Феофил Индиец, посветовавший некогда Констанцию примириться с Флавиями. Поговорив с одним из этих несчастных, Юлиан узнал о жестоких обстоятельствах, которые привели к гибели его брата⁸⁶.

После этого он потерял всякую надежду. Собрав остатки мужества, он попросил личной аудиенции у императора. Кроме того, он написал Фемистию, ритору, с которым познакомился в Вифинии и который в настоящий момент пользовался благосклонностью Констанция. Он просил ритора заступиться за него. Прошли долгие недели. Его охрану усилили. Любое сообщение с внешним миром стало невозможно.

Однажды утром, очень рано, в его комнату вошли двое солдат и велели ему одеваться. Юлиан решил, что пришел его последний час. Он спросил солдат, не на казнь ли они поведут его. Вместо ответа они усадили его в повозку и отвезли в Комо.

Прибыв туда, Юлиан увидел, что в городе царит оживление. Повсюду раздавались трубные звуки. Во все концы мчались вестники с приказами императора для всех провинций империи. По всей видимости, Констанций находился здесь.

Юлиана поместили на маленькой вилле, заперли на все засовы, — и вновь началось бесконечное, изнуряющее ожидание. Каждое утро стражник приносил ему миску каши. Много раз Юлиан спрашивал его, дадут ли ему возможность встретиться с императором. И каждый раз солдат неизменно отвечал, что у Божественного Констанция слишком много более важных дел.

Однажды утром двери виллы распахнулись настежь и пропустили десяток офицеров императорской гвардии в пышных парадных одеяниях. Они вошли в комнату, поклонились Юлиану и спросили, не нуждается ли он в чем-нибудь. Растерявшись, Юлиан не знал, что ответить. Тогда один из пришедших объявил ему, что он свободен, что император разрешает ему ехать на жительство в Афины и что уже приняты все надлежащие меры для того, чтобы незамедлительно препроводить его туда.

— В Афины? — пробормотал Юлиан, думая, что бредит.

— Да, — подтвердил офицер.

Из всех спектаклей, которые ему довелось видеть в жизни, этот

показался самым невероятным. У Юлиана закружилась голова, и он был вынужден опереться о стену своей тюрьмы, чтобы устоять на ногах. Невероятно! Афины! Город, о котором он давно мечтал, храм Мудрости, место, «которое он и сам предпочел бы, если бы за ним оставили право выбора»! Он вспомнил, как некогда Либаний заявил, что «охотно откажется даже разделить ложе с богиней за единственное счастье созерцать дым Афин». Решение Констанция невероятным образом совпадало с собственным желанием Юлиана. Позже он написал: «Это выглядело так, как если бы Алкиной, желая покарать заслуживающего смерти феака, приговорил его к жизни в своем волшебном саду»⁸⁷[\[7\]](#).

Юлиан поторопился уехать, ничего не выясняя. В тот же вечер он уже скакал по дороге к Брундизию, где ждал корабль, чтобы отплыть в Пирей (лето 355 года).

XVII

Юлиан лишь много позже узнал, что привело к столь неожиданному повороту в его судьбе.

После смерти первой жены Констанции⁸⁸ Констанций женился на девице из знатного македонского рода по имени Евсевия. «Красивая, юная, умная и весьма образованная, — пишет о ней Аммиан, — при необходимости смелая и любящая производить на окружающих впечатление, она умела, когда ей было нужно, управлять умом Констанция, а это ей было нужно часто, судя по рассказам тех, кто был в курсе придворных интриг»⁸⁹. Император, безумно в нее влюбленный, соглашался почти со всеми ее желаниями. Страдая от болезни, природу которой никто не мог установить, она упросила вернуть в Милан Феофила Индийца, старого чудотворца-целителя, который был сослан в Верю за то, что заступался за Галла. Констанций дал согласие. Как только Феофил возложил руки на живот больной, она тотчас почувствовала облегчение. (В это время Юлиан еще сидел взаперти в дворцовой пристройке.) Между тем Феофил Индиец покровительствовал Аэцию, а Аэций сохранил прекрасные воспоминания о Юлиане. Не обратился ли глава аномеев к Феофилу с просьбой заступиться за Юлиана перед императрицей? Или, может быть, Фемистий, до которого дошел зов Юлиана о помощи, не имея возможности ответить ему, присовокупил свое красноречие к просьбам старого священника? Все это возможно. Но были и другие причины более личного свойства, заставлявшие императрицу интересоваться судьбой Юлиана.

Неудивительно, что эта женщина, прекрасная, пылкая и образованная, почувствовала симпатию к несчастному молодому человеку. Она пока что не знала его лично, но знала, что по браку он стал ей двоюродным братом, и много слышала о его любви к философии. Возможно, она также считала полезным, чтобы предполагаемый наследник императора, остающийся таковым до того времени, пока она не родит Констанцию сына, был перед ней в долгу. Но была и еще одна причина, куда более важная, чем все предыдущие: она ненавидела главного постельничего Евсевия, чьи планы постоянно срывала, возможно, затем, чтобы доказать самой себе, что ее влияние на императора сильнее его влияния. Достаточно было, чтобы Евсевий принял какое-нибудь решение, чтобы она сразу же начинала добиваться противоположного.

Поэтому однажды она явилась к Констанцию, полная решимости

сделать все, чтобы добиться помилования Юлиана. Она напомнила супругу о высказываниях достойных доверия священников о том, что Господь не избавит его от бесплодия, пока он не возместит зло, причиненное роду Флавиев. А он вместо того, чтобы загладить вину, усугубил ее, приказав обезглавить Галла. Если он добавит к этому еще и убийство Юлиана, то свершится непоправимое. Как только погибнет последний сын Юлия Констанция, возможность искупить преступление исчезнет навсегда. Одним ударом Констанций уничтожит и последнюю возможность иметь наследника, потому что тогда божественное проклятие будет преследовать его вплоть до самой смерти.

— И я, — добавила она, заливаясь слезами, — я тоже буду поражена этим проклятием и никогда не познаю счастья материнства. Мне будет трудно продолжать жить с супругом, который предпочел обречь меня на бесплодие, нежели помиловать одного из своих ближайших родственников.

Констанций был поражен этими словами и в особенности угрозой разрыва, которую они подразумевали.

— Но что же мне делать с Юлианом? — со стоном спросил он Евсевию.

— отошли его назад в Астакую. Там он ничем не сможет тебе досадить.

Констанций возразил, что Астакия расположена слишком близко от Никомидии, а Никомидия — слишком близко к Антиохии. Юлиан же очень популярен среди молодежи Малой Азии и может легко сплотить вокруг себя прежних сторонников Галла, каковые еще имелись. Наконец, во всех крупных городах региона в связи с войной против Парфии расквартированы войсковые соединения, и там легко разжечь военный мятеж.

— Этих затруднений не будет в Константинополе, — подсказала Евсевия.

Константинополь был также отклонен под предлогом того, что население Византия слишком любило Юлиана.

— Тогда Афины? — предложила Евсевия. Констанций надолго задумался, а потом ответил:

— Афины — это, пожалуй, хороший выход. Юлиан там еще ни разу не был. Его там никто не знает. И там нет гарнизона. Это мирный город, приверженный лишь служению Музам. В конце концов, пусть он едет туда! Для меня главное — это избавиться от него.

Императрица выиграла еще одну партию и не без тайного торжества передала постельничему приказ освободить Юлиана.

Так и случилось, что последний представитель законной ветви Флавиев отправился в Брундизий. Хотя его и приговорили к очередной ссылке, душа его ликовала. Он сам писал, что у него было ощущение, будто он «обменял девять быков на стадо в десять тысяч и десять талантов меди на десять талантов золота»⁹⁰.

XVIII

Когда Юлиан высадился в Пирее, на якоре уже стояли два других корабля. На их борту находилось множество молодых людей, приехавших в город Перикла для завершения образования. На набережной царило такое оживление, что Юлиан испугался, не начался ли в городе мятеж. Однако это были всего лишь вербовщики различных учителей, с дикими воплями оспаривавшие друг у друга вновь прибывших юношей. Дело в том, что в Афинах обучение стало местным промыслом. У каждого учителя были свои зазывалы, которые с жаром расхваливали его достоинства и при этом поносили достоинства других учителей.

Для Юлиана вся эта суматоха не представляла никакого интереса. Устремив взор поверх толпы, он пытался различить силуэт Акрополя. К сожалению, его не было видно с палубы корабля. Тогда он сошел на берег, пробрался сквозь шумную толпу и остановился на постоялом дворе, решив провести там ночь.

На следующее утро он встал с рассветом и пошел по дороге в Афины. Наемные возчики предлагали ему свои услуги, но ради торжественности момента он предпочел проделать весь путь пешком.

Так он шел некоторое время с бьющимся сердцем, исполненный той же надежды, которая владела им, когда он шел по дороге в Илион. Неожиданно, на повороте, у него перехватило дыхание: перед ним под легким утренним небом раскинулся самый знаменитый из всех построенных людьми городов. Вознесенный над городом, во всей своей чистой белизне сиял Парфенон, «видимая душа мира»⁹¹.

Юлиан остановился, отстегнул сандалии и простерся ниц у края дороги. Воздев руки к небесам, он возблагодарил Гелиоса за то, что тот позволил его глазам созерцать это чудо. Потом он воззвал к Афине, дочери Света, и попросил ее снисхождения к его юным годам. Завершив молитву, он пошел дальше, чуть не пританцовывая от переполнявшей его радости.

Юлиан прибыл в Афины вскоре после полудня и, не тратя времени на обед, отправился на священный холм. Он не останавливаясь миновал арку Адриана, бросил восхищенный взгляд на храм Зевса Олимпийского и стал подниматься по извилистой дороге, ведущей к Акрополю. «Арки входа парили перед ним на вершине серой скалы. Он вновь, с еще большей силой, ощутил то головокружение, которое охватило его еще утром. Он ступил на лестницу, не отрывая взгляда от грандиозного портика, который

древние предпочитали даже самому Парфенону. Он хотел бы украсить эти совершенные колонны гирляндами цветов и листьев. Чем дольше он смотрел, тем глубже постигал их красоту. Казалось, что округлые выемки колонн трепещут, а под желтоватым налетом времени сияет белизна. Но поднявшись на платформу, он забыл все, чем только что восхищался. Храм не ограничивался портиком: одно совершенство сменяло другое»⁹².

Весь день Юлиан бродил между рядов колонн, каждая линия которых была незаметно изогнута таким образом, чтобы явить взгляду ощущение строгой прямизны. На этой площади, неизвестно почему удостоенной такой чести, воцарилась Мудрость, воплощенная в соединении природы с геометрией, дабы придать чистоту мыслям и радость жизни.

Только перед самым наступлением ночи Юлиан спустился обратно в город. Так началась для него новая захватывающая жизнь, которую он хотел бы продлить до бесконечности.

В то время наиболее уважаемыми философами в Афинах считались Прозерсий, христианин родом из Армении, и Гимерий, язычник, женатый на дочери элевсинского диадоха^[8]. Несмотря на то, что они соперничали между собой, Юлиан стал посещать занятия у обоих. Однако он делал это весьма нерегулярно, потому что его собственные познания в философии были уже столь обширны, что во многих вопросах он чувствовал себя сильнее своих учителей.

Вместо того чтобы заточить себя в тесном и душливом учебном зале, Юлиан предпочитал бродить по садам Академа, чьи посаженные дикими смоковницами аллеи вели к Колону; либо гулять с друзьями по берегам Иллисса там, где Сократ некогда беседовал с Критием и Федоном. Много раз, сидя на скамье амфитеатра Диониса, он смотрел постановки «Трахинянок» Софокла и «Электры» Еврипида. Вновь стало повторяться то, что уже происходило в Константинополе и Никомидии: яркость личности Юлиана сама по себе быстро привлекла к нему группы учащихся и зрелых людей, которые окружали его и восхищались им. Либаний рассказывает нам следующее: «Вокруг него вечно вращались толпы молодых людей, старцев, философов, риториков. Сами боги заставляли все взгляды обращаться к нему, ибо желали, чтобы он восстановил традиции предков, созданные в их честь. Но если все были в состоянии оценить его доброту, то лишь лучшие умели заслужить его доверие»⁹³.

Юлиан был прав, не открываясь навстречу каждому из вновь приходящих, потому что среди молодежи, с которой он общался в Афинах,

было и некоторое число христиан, весьма далеких от того, чтобы симпатизировать ему. В частности, там был знаменитый Григорий Назианзин, который продолжал изучение философии и испытывал явную антипатию к своему товарищу по учебе. Внешне интеллигентный, но склонный к ненависти и раздорам, он следил за малейшими действиями Юлиана, заносил их в свои записи и готовил втайне оружие против него. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть строки, которые хотя и написаны им спустя несколько лет, но относятся как раз ко времени пребывания Юлиана в Греции:

«Его нечестие не было заметно другим до тех пор, пока он не пришел к власти и не получил таким образом возможность делать все, что хотел. Что до меня, то я увидел его без маски в то мгновение, когда мы встретились в Афинах... Я смог увидеть его суть, как если бы обладал божественным прозрением, из-за явной неровности его характера и избытка восторженности. Я предчувствовал недоброе, видя, как он постоянно двигал шеей; как покачивал плечами наподобие того, как движутся две чаши весов; как он в экзальтации закатывал глаза, ходил неуверенным шагом, высокомерно задирает нос, смехотворными гримасами изображая презрение; как он неумеренно и судорожно смеялся. Он бессмысленно кивал или качал головой невпопад, говорил неуверенными и оборванными фразами, как если бы ему не хватало дыхания, задавал вопросы беспорядочно и неразумно, а отвечал туманно, и его ответы наталкивались друг на друга, как речи человека, начисто лишённого воспитания»⁹⁴.

Если верить Григорию Назианзину, то Юлиан был всего лишь гримасничающим шутом, неуравновешенность которого могла свидетельствовать о душевной болезни. Однако этот портрет настолько изобилует черными красками, что трудно не почувствовать за ним желание очернить того, о ком идет речь. В лице Григория поднимала голову вся христианская оппозиция, и эта оппозиция преуспела в том, чтобы покрыть Юлиана таким потоком грязи, что память о нем оставалась осквернена в течение многих последующих столетий.

Впрочем, несмотря на всю несправедливость, портрет, написанный Григорием, не совсем ложен. В нем можно угадать некоторые черты характера Юлиана, о которых мы никогда не узнали бы, если бы могли судить лишь по описаниям тех, кто восхвалял его. Похоже, как справедливо отмечает Бидэ, что «некая нервная застенчивость делала его поведение неловким и натянутым, а временами приводила к тому, что казалось проявлением претенциозной аффектации». Слишком глубоко

травмировавшие его трагические события юности не могли не оставить следа. Эти обстоятельства способствовали развитию в нем чрезмерной эмоциональности и чувствительности человека с обнаженными нервами. Либаний, который везде пишет о нем только хорошее, замечает, что «среди многочисленных друзей, окружавших его в Афинах, он не мог произнести слова без того, чтобы на его лице не проступил стыдливый румянец». Он упоминает также «экстравагантные поступки, которыми принцепс порой демонстрировал свою любовь к друзьям»⁹⁵. Полному неуверенности в себе, склонному к неожиданным выплескам эмоций и преувеличенному проявлению чувствительности Юлиану потребовалось еще немало времени для того, чтобы приобрести способность владеть собой, которой у него не было.

Впрочем, он сумел обрести ее, как только ему пришлось командовать армией. Пока же самообладания ему явно не хватало. И этот недостаток, степень которого он вполне осознавал, еще более усугублял его застенчивость.

Конечно, жизнь не щадила его. Она то возносила его к облакам, то низвергала в пучину отчаяния. Даже экстатическое состояние, испытанное им в Астакции, и откровение, полученное в Пергаме, остались всего лишь ослепительными, но быстро погасшими вспышками света. Как перевести эти исключительные мгновения в длительное состояние? Каким образом уравновесить свои эмоции и избавить душу от колебаний, размах которых столь широк, что грозит разорвать его на части?

После отъезда из Пергама Максим Эфесский советовал Юлиану не ограничиваться первым посвящением, а «продвигаться далее в познании Бога». Для обогащения опыта он рекомендовал ему обратиться к просвещенному элевсинскому иерофанту^[9]. Теперь судьбоносный случай привел Юлиана в Афины. Элевсин находился совсем рядом с этим городом. Ничто не мешало ему отправиться в тайное святилище, одно из наиболее почитаемых в Греции наряду с Дельфами и Олимпией.

Однажды вечером Юлиан покинул Афины, выйдя через Дипилонские ворота. Он прошел по Священной дороге и достиг оливковой рощи, воспетой Софоклом. Там он остановился, чтобы передохнуть и дождаться рассвета. Когда первые лучи солнца позолотили вершины холмов, он вновь отправился в путь, вышел на берег Саламинского залива и вступил в священный храм Кибелы и Деметры, двух богинь плодородия. Этот храм, как и святилище Гекаты, представлял собой большую пещеру в скальном склоне⁹⁶. Иерофант встретил его у входа в грот.

— Я ожидал тебя, сын мой, — сказал он Юлиану. Поскольку на лице Юлиана отразилось удивление, иерофант добавил:

— Чему ты удивляешься? Я знал о твоих заботах. Максим предупредил меня, что ты в Афинах. Я понял, что рано или поздно ты придешь сюда.

Юлиан внимательно взгляделся в лицо иерофанта и обнаружил в нем странное сходство со жрецом Гекаты. Это был тот же тип человека, исполненного спокойствия и величия.

Иерофант пригласил его принять участие в трапезе посвященных. Затем он отвел его в сторону, чтобы побеседовать наедине. Юлиан, называющий его в своих записках «Его Благодать», смиренно поверил ему мучившие его проблемы.

— Гелиос велел мне следить, чтобы Путь был открыт, — сказал он. — Но как достичь этого?

— Боги оказывают тебе благодеяния, — ответил оракул. — Много раз они приходили, чтобы вырвать тебя из пропасти, в которой ты находился. И все же порой ты сомневаешься, что они с тобой. Почему ты не чувствуешь, что они поддерживают тебя в каждом твоём жизненном шаге? Они спасли тебя от смерти, они открыли тебе Истину, они снизошли на тебя, чтобы оживить твоё внутреннее солнце, они позволили тебе приехать в Афины.

Чего же еще ты от них хочешь? Ничто не происходит здесь на земле без вмешательства их воли. Но тебе, о Отмеченный Богами, следует позаботиться обо всем остальном.

— Я стремлюсь к этому всей душой, — отвечал Юлиан. — Но с чего мне начать?

— Следовать добродетелям.

— Каким?

— Благоразумию, воздержанию, силе и справедливости. Развивай в себе скромность и умеренность. Обуздывай свои порывы и не растрачивай себя понапрасну. В каком бы обличье боги ни являли свое присутствие, в виде ли голоса или дуновения, в виде огня или луча света, говори себе, что их появление просвещает умы и очищает сердца. В силу их присутствия посвященный становится восприимчивым их воли. В Пергаме Гелиос сказал тебе: «Следи, чтобы Путь был открыт». А я повторяю тебе: «Поддерживай пламя». И это — одно и то же...

— Какое пламя?

— То, которое ты носишь в себе и через посредство которого я предвижу твою судьбу. Вооружись мужеством и приготовься к борьбе, ибо Бог уготовил тебе великое бремя...

Юлиан несколько раз возвращался в Элевсин, и каждый раз иерофант говорил с ним тем же языком. Желая заранее узнать о своей таинственной миссии, на которую тот намекал, Юлиан засыпал его вопросами. Наконец жрец впал в подобие транса. Выражение его лица изменилось, зрачки расширились, и он заговорил замогильным голосом, который, казалось, исходит из потустороннего мира:

— Узри все опасности, угрожающие империи! Посмотри, сколь слабы и нерешительны те, кто ею управляет! Это происходит оттого, что они презирают истинного Бога, Непобедимое Солнце. Его алтари заброшены, жрецы унижены...

Голос иерофанта стал более хриплым, дыхание участилось.

— Разве же ты, — продолжал он, — разве ты не последний отпрыск самой божественной из династий, которой было суждено держать в руках скипетр славы? Твоя душа спустилась в этот мир; она — искра божественного огня. Гелиос, от которого она ведет свое происхождение, пристально следит за тобой. В час, когда он решит осуществить спасение эллинского духа и империи, он несомненно призовет тебя!

И затем, почти взревев в экстазе, он закричал:

— Этот день станет апофеозом огня! Огонь низвергнется на землю. Он сожжет все, он поглотит все, он уничтожит все, что нечистое, вплоть до

малейших проявлений нечистоты. А ты — ты предстанешь перед лицом Отца! Какая слава!

Юлиан онемел от внезапного ужаса. Это предсказание произвело на него еще большее впечатление, чем откровение в Пергаме. Когда прошли первые мгновения оцепенения, он хотел задать иерофанту новые вопросы. Но тот уже вышел из экстаза и вернулся на землю. Он ничего не помнил: даже тех слов, которые только что произнес.

Юлиан понял, что настаивать бесполезно. Он простился с иерофантом, намереваясь вернуться на следующей неделе. Он не знал, что они встретятся вновь лишь спустя много лет и не в Афинах...

Вернувшись к себе, Юлиан заснул глубоким сном. На следующее утро он проснулся свежим и бодрым, с душой, полной уверенности в своих силах. Однако спустя всего несколько дней он вдруг услышал цокот копыт на дороге и похолодел от ужаса. Он не мог спокойно слышать, как скачет конь по римской дороге, его сердце сразу же замирало, ибо этот размеренный звук, периодически вторгавшийся в его жизнь, был прочно связан в его душе с мыслью о несчастье.

Цокот копыт приблизился. Юлиану не померещилось. Это был посланец императора. Даже не сходя с коня, всадник довел до сведения юноши, что Его Августейшее Величество передает ему приказ немедленно вернуться в Милан и что специальная галера уже готова поднять якорь, чтобы отвезти его в Италию.

Юлиан побледнел. Опасность, которой он чудом избежал во время своего заключения в Комо, вернулась, и на этот раз у него был один шанс из тысячи остаться в живых. Постоянно увещиваемый своим постельничим, Констанций пожалел о своем жесте милосердия. «Теперь конец близок», — сказал себе Юлиан.

Стараясь не показывать беспокойности, он быстро простился с товарищами, собрал свои немногочисленные вещи и взошел на корабль, ожидавший его в Пирее. Он надеялся, что его пребывание в Афинах продлится много лет, а оно закончилось уже через три месяца⁹⁷.

Прежде чем покинуть берег Греции, Юлиан встал на колени и поцеловал священную землю. Затем он в последний раз воздел руки к Акрополю и попросил Афину не оставлять его.

Ему было около двадцати четырех лет, и это была всего лишь заря его жизни. Но сколь бурной и тяжелой была эта заря! С каким трудом его солнце пробивалось сквозь тучи, чтобы соединиться с ним! Временами один из солнечных лучей пробивался и поражал его в самое сердце. Но в другое время ему не удавалось рассеять тучи, скрывавшие путь. Его жизнь

была чередованием взлетов и падений, столь же противоположных друг другу, как тьма и свет. И казалось, теперь эта борьба подходит к концу...

Юлиан спросил себя, какой проступок он мог совершить, чтобы заслужить столь жестокую участь. Может быть, ему не хватало ревностности, благочестия, усердия? Ему так не казалось. Каких только усилий не прилагал он для того, чтобы открыть истину! Какие только ограничения не предписывал он себе, чтобы «Путь был открыт»! И вместе с тем все труды, все стремления, все усилия оказались напрасными. А он-то думал, что ведет такую же жизнь, как и другие! Какое заблуждение! После избиения его семьи в Константинополе его смерть была лишь отсрочена. Заря едва взошла, и вот уже наступают сумерки...

Стоя на корме корабля, который увозил его в Италию, Юлиан смотрел, как удаляется берег Аттики, чей темный силуэт выступал на фоне аметистового неба. Парфенон блистал в центре амфитеатра, образуемого холмами, как если бы все остатки дневного света сосредоточились на нем одном. Потом он превратился в кучку угольков, потом — в красноватую точку. Тьма ночи, сгустившаяся у подножия холма, становилась все темнее, поднималась к нему и в конце концов поглотила его. В ту же секунду весь пейзаж из темно-синего стал черным.

Тогда Юлиан закрыл глаза, и отрешенная улыбка появилась на его лице.

Он знал, что ему предстоит умереть.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ВОСХОД

Сразу же по прибытии в Милан в первых числах октября 355 года Юлиан был заключен под стражу в укрепленном здании в пригороде. Ему было запрещено выходить из комнаты и разговаривать с кем бы то ни было — даже со стражниками у двери.

И вновь началась пытка ожиданием и неопределенностью. Что с ним сделают? Какие новые обвинения изобретут для того, чтобы его погубить? Если хотят его смерти, то почему бы сразу не убить его? Дни следовали один за другим, монотонно и бесконечно. Раньше он стал бы призывать на помощь, биться о стены, метаться, как птица в силке. Теперь же он сказал себе (не без определенного удовлетворения), что будет держать нервы под контролем. Он полностью покорился судьбе.

Спустя неделю в его комнату пришли два евнуха из ближайшего окружения императрицы.

— Вооружись терпением, — тихо сказали они ему, бросая вокруг пугливые взгляды. — Наша госпожа августа печется о тебе. Она желает тебе только добра. В настоящее время она старается рассеять предубеждение Констанция и добиться, чтобы он доверил тебе высокую должность. Это весьма видное положение, которое превзойдет все твои ожидания.

Другой на месте Юлиана запрыгал бы от радости. Но только не он. Он не хотел ни за какие блага примириться с Констанцием. Он не хотел ничего принимать из рук человека, истребившего его семью. Едва евнухи ушли, он написал императрице письмо с просьбой прекратить заступничество. Он желал одного из двух: либо скорой смерти, либо изгнания навечно в Афины или в Астакую. «Да родятся у вас наследники, — написал он ей. — Да осыплет вас Бог благодеяниями, но сделайте так, чтобы меня отослали восвояси чем скорее, тем лучше!»¹

Внезапно он подумал, что за императрицей, возможно, тоже наблюдают и что его письмо может быть перехвачено и передано Констанцию, а это серьезно скомпрометирует ее. Не зная, как быть, он умолял богов просветить его.

Той же ночью боги явились ему во сне. Они пригрозили ему позорной смертью, если он отправит свое послание Евсевии.

— Ты разгневался бы, — сказали они, — если бы кто-то из твоих слуг отказался прийти, когда ты его зовешь. А сам, называя себя человеком,

принадлежащим не к простонародью и не к неграмотному сброду, а к числу Мудрых и Справедливых, ты не хочешь подчиниться воле богов? Ты отказываешь им в праве располагать тобой по своему усмотрению? Куда девалось твое мужество? Во что превратилась твоя вера? Твое поведение можно было бы счесть смешным, если бы оно не было прискорбным!²

Проснувшись, Юлиан устыдился того, что позволил отчаянию овладеть собой. Он вспомнил слова элевсинского иерофанта: «Ничто не происходит в этом нижнем мире, если этого не желают боги. Мудр тот, кто покоряется их воле». Юлиан решил, что эти слова подсказывают, как ему быть с письмом императрице...

Спустя несколько дней по приказу Констанция за ним явились стражники. Он понял, что предстанет перед верховным владыкой. Юношу привезли во дворец и отвели в небольшую комнату, где его ожидали полдюжины рабов. Как только стражники удалились, рабы сняли с Юлиана плащ философа, сбрили ему бороду, причесали, вымыли его тело, удалили волосы с рук и ног, натерли все тело маслом и благовониями. Затем они надели ему на ноги котурны с позолотой, подали шелковую тунику и набросили на плечи плащ, украшенный изящной вышивкой. Когда ему протянули зеркало, Юлиан не узнал себя. Ему показалось, что его хотят унижить этим смехотворным переодеванием. И поскольку он грустно смотрел перед собой, рабы сказали ему, что следует поднять голову, улыбаться и всем своим видом изображать радость. Разве ему неизвестно, что его готовят для участия в празднике? Но Юлиан помрачнел еще больше. Праздник? Лучше было сразу сказать правду: его поведут на казнь и украшают как искупительную жертву. Ему становилось дурно от прикосновения рук рабов. Ему казалось, что над ним насмеются, осквернят и унижают его достоинство. К удивлению суетившихся вокруг слуг он заплакал, моля Провидение прийти к нему на помощь. «И тотчас, — пишет он сам, — я почувствовал рядом с собой присутствие ангелов-ранителей, помощь которых мне обещала Афина, когда я молился ей в Греции»³. Хранители словно оградили его сердце защитным облаком, сделав его неуязвимым для всех.

Переодетого в придворное парадное платье Юлиана отвели в тронный зал. Этот зал представлял собой огромное продолговатое помещение, потолок которого поддерживали два ряда колонн, а между ними были расположены пурпурные драпировки. В глубине зала возвышался императорский трон, а на троне восседал Властелин Мира. В одной его руке был скипетр, в другой — золотой шар. Справа и слева, объединившись

в небольшие группы, стояли множество высших чинов государства; они казались некой единой массой, сплошь состоящей из драгоценных камней и богатого шитья.

Исполненным благодати жестом Констанций положил символы власти на бархатную подушку, протянул свои украшенные множеством колец руки к Юлиану и дал ему знак подойти. Так по прошествии семи лет повторилась сцена в Мацелле, однако с таким размахом и пышностью, каких Юлиан не мог вообразить даже в самых смелых фантазиях. Внезапно, сам не понимая почему, он почувствовал, что Констанций больше не производит на него былого впечатления. Он увидел уже не всемогущего правителя, а несчастного человека, нерешительного, измученного неурядицами. Пышность обстановки, священный сан этого человека, — все это показалось Юлиану искусственным и нереальным. Его робость исчезла, и он твердыми шагами подошел к трону.

Одобрительный гул послышался в рядах присутствующих. Движением руки Констанций восстановил тишину. Затем нараспев, с интонацией, каждый оттенок которой, казалось, был разучен заранее, он сказал:

— Юлиан! В признание добрых чувств, которые ты ко мне питаешь, и сыновней преданности, которую ты мне неоднократно доказывал, я решил, по моему благорасположению, назначить тебя цезарем и поручить тебе управление Галлией. Кроме того, дабы упрочить связующие нас узы, я даю тебе в жены мою сестру Елену, дочь великого Константина.

Произнося всю эту речь, Констанций яростным взглядом впивался в лицо кузена. Нет, не по благорасположению к Юлиану проявлял он эту милость! Чувствовалось, что император действует против собственного желания, что это решение вырвано у него чужой волей, более сильной, нежели его собственная. Юлиан прекрасно понял это и не мог подавить лукавой улыбки. Придворные, не почувствовавшие сути происходящего, разразились аплодисментами. Констанций повернулся к ним, нахмурил брови, и призвал их к порядку, как если бы они совершили нечто неподобающее.

— Тихо! — крикнул он, ударив правой рукой по подлокотнику своего кресла. — Я еще не закончил речь!

Затем, повернувшись к Юлиану, он сказал:

— Надеюсь, ты способен оценить всю широту моей щедрости.

О, да! Юлиан вполне мог ее оценить! Он столь хорошо осознавал ее, что испытывал сострадание к Констанцию. Император сразу же почувствовал, что красивые слова не обманули его двоюродного брата. Совершенно сбитый с толку, он хотел было продолжать речь, но, не находя

больше слов, поднялся и вышел из зала, заявив, что откладывает все разъяснения до официальной церемонии введения Юлиана в должность цезаря.

II

Церемония состоялась утром 6 ноября, не во дворце, а на Марсовом поле. Оно представляло собой огромную площадь, на которой еще на рассвете собрались все миланские легионы. Несмотря на то, что стояла осень, день выдался ясный. Констанций прибыл на Марсово поле в золоченой бронзовой колеснице бок о бок с Юлианом. Юлиан внутренне забавлялся, замечая, что его двоюродный брат еще более, чем обыкновенно, старается превзойти его величавым видом. Однако на свежем воздухе и перед строем войск Констанций действительно казался более воинственным, чем на троне. Он сошел с колесницы, велел Юлиану следовать за ним, и они вместе двинулись вперед между двух рядов легионеров по направлению к стоящей в глубине площади на возвышении трибуне. Трибуна была украшена множеством орлов и штандартов, багряные четырехугольники которых трепетали под дуновением ветра.

Констанций и Юлиан медленно поднялись по ступеням на возвышение. Взойдя наверх, они обернулись, и Юлиан впервые увидел зрелище, которое никогда раньше не представлялось ему столь впечатляющим: у его ног стояла целая армия, построенная рядами, и к нему было обращено множество испытующих взглядов. Он почувствовал своего рода потрясение. Перед ним стояло более двадцати тысяч человек, чьи шлемы и доспехи сверкали на солнце.

Констанций приветствовал войска и обратился к ним с речью. Он описал солдатам, в каком плачевном состоянии находится империя. В течение года франки, алеманны и саксы захватили сорок укрепленных городов, отмечавших границу вдоль Рейна; они разрушили города и увели жителей в плен. Квады и сарматы опустошают Паннонию. На востоке Коммагена и Армения подвергаются вторжениям парфян. Противостоять всем этим опасностям — слишком тяжелое бремя для одного человека.

— Вот перед вами мой двоюродный брат Юлиан, — продолжал Констанций. — Он сын брата моего отца. Он дорог мне не только из-за связывающих нас кровных уз (услышав эти слова, Юлиан не мог внутренне не содрогнуться), но и благодаря его скромности. Уже в юности, усидчивый в учебе, он ярко показал свою склонность к упорному труду. Я хочу приблизить его к себе, возвысив до ранга цезаря. Если вы считаете мой выбор достойным, прошу подтвердить его своим согласием...

В это мгновение голос Констанция пресекся, как если бы его охватили

слишком сильные чувства. На деле же его охватила паника, потому что он спросил себя, как отреагирует армия на решение, которое ему самому кажется абсурдным и необоснованным. Ведь он был о Юлиане весьма невысокого мнения, он знал лишь, что у того нет никакого политического и военного опыта. (Впрочем, не делал ли он сам все возможное для того, чтобы это было так?) Констанций хотел сказать еще пару слов, чтобы скрыть свое замешательство, однако ему не пришлось этого делать, потому что в толпе поднялся гул одобрения. «Как бы благодаря предчувствию, — пишет Аммиан, — все собравшиеся усмотрели в намерении императора не человеческий замысел, а решение Всевышнего». Этот одобрительный гул успокоил Констанция. Стоя неподвижно на трибуне, он подождал, пока вновь не установилась тишина. Тогда он снова заговорил, уже более твердым голосом:

— Возгласы радости, которые я только что слышал, свидетельствуют о вашем согласии. Так да будет он утвержден в этом почетном назначении, этот молодой человек, хладнокровие которого соседствует с твердостью духа. Выбирая его, я отдавал должное этим его качествам. Итак, с благословения Бога небесного, я передаю ему знаки власти.

Сопровождая свои слова действием, Констанций накиннул на плечи Юлиана пурпурный плащ. В то же мгновение мощный крик радости поднялся среди легионеров. Аммиан рассказывает нам следующее: «Чтобы засвидетельствовать свой восторг относительно только что сделанного императором выбора, войско, за исключением очень немногих солдат⁴, ответило громким звоном щитов, о которые солдаты ударяли коленом, что означало у них выражение высшей радости. Молодой цезарь вызывал истинное восхищение, сияя великолепием под императорским пурпуром. Было невозможно спокойно смотреть в его глаза, одновременно грозные и полные очарования, в его лицо, чертам которого возбуждение придало вдохновенность. По его виду солдаты прочитали его судьбу не хуже, чем если бы они изучали древние книги, в которых объясняется, как распознавать предрасположенность души по формам тела»⁵.

Когда Констанций возложил пурпур на его плечи, Юлиан не сказал ни слова. Его лицо выражало скорее усталость, чем благодарность. Как тяжела была эта мантия, к получению которой он был совсем не готов! Он внезапно почувствовал весь груз ответственности, который ему придется взять на себя в крайне тяжелых обстоятельствах, где его воля будет значить очень мало. Он не предвидел этого назначения и не желал его! Более того, он знал, что, прежде чем уничтожить свои жертвы, Констанций охотно дает

им задохнуться под тяжестью почестей. Он подумал о Галле и спросил себя, не ждет ли его такая же судьба...

Но когда он услышал крик войск и подобный раскатам грома бронзовый звон двадцати тысяч щитов, он почувствовал себя преображенным. До этого времени он жил только идеями. Теперь же внезапно он оказался лицом к лицу с людьми из плоти и крови, которые клялись подчиняться ему, даже не успев его узнать. В их спонтанном доверии было что-то потрясающее. Для Юлиана это вступление в мир действия было совершенно новым ощущением, похожим на опьянение, от которого ему вовсе не хотелось избавиться: напротив, он принимал его с неожиданной радостью.

Когда церемония закончилась, Констанций и Юлиан медленно спустились по ступеням с возвышения под всеобщие восклицания и звуки труб. Они взошли на колесницу и вернулись во дворец. Юлиан сиял. Он с жаром пожимал сотни протянутых к нему рук и приветствовал жестом тех, кто стоял слишком далеко и не мог подойти. А со всех сторон раздавались и тысячи раз повторялись крики:

— Да здравствует Август Констанций! Да здравствует Цезарь Юлиан!
Юлиану было 24 года. Начиналось его восхождение.

III

Во время церемонии вступления в должность цезаря у Юлиана несколько раз возникало чувство, что Констанций подчиняется чьей-то более сильной воле. Он не ошибся. Узнав, что Юлиан вновь брошен в тюрьму, императрица Евсевия опять вмешалась в его судьбу. Если четыре месяца назад она действовала под влиянием чувств, то на этот раз причина была более важной: позволить осудить Юлиана означало ударить в грязь лицом не только перед Евсевием, но и перед всем двором. Поэтому она стала еще более настойчивой и изобретательной. Он напрямую шантажировала своего мужа, угрожая бросить его, если он откажет ей в просьбе. И все же ей удалось вырвать у Констанция назначение для Юлиана только после отчаянного спора, в разгаре которого она заявила:

— Либо Юлиан справится с новым делом и ты будешь прославлен, поскольку это ты его избрал, либо он потерпит неудачу. В этом случае тебе будет легко от него избавиться, потому что он потеряет доверие армии.

Разумеется, Констанций надеялся, что Юлиан потерпит неудачу. Причем он не ограничился надеждой: он предпринял все возможное, чтобы сделать эту неудачу неизбежной. Еще до того, как Юлиан отправился в путь, император назначил префектом Галлии Флоренция, а квестором Саллюстия, оговорив, что Юлиан не вправе контролировать их действия. После чего он послал срочных курьеров к высшим чиновникам Галлии с сообщением о том, что назначение его двоюродного брата носит сугубо почетный характер, что ему ни в коем случае нельзя доверять руководство военными операциями, что власть остается полностью в руках императора и все, что касается важных дел, следует по-прежнему сообщать непосредственно ему. Наконец, он до мельчайших подробностей уточнил, на какие расходы имеет право Юлиан, боясь, что тот будет изымать из собираемых податей суммы для традиционных выплат солдатам, что позволит ему расположить их в свою пользу⁶. Короче, «он хотел, чтобы к нему относились, как к ребенку и как к ученику»⁷. Это было унижительное положение, все неудобство которого новоиспеченный цезарь смог оценить очень скоро...

Юлиан отправился в путь 1 декабря 355 года в сопровождении Елены и эскорта из 360 солдат, которые все были христианами, специально отобранными Констанцием. Юлиан пишет: «Это было единственное войско, которым я имел право командовать. К тому же оно состояло из

людей, которые только и умели что бормотать молитвы»⁸. Констанций сопровождал его вплоть до отмеченного двумя колоннами места между Павией и Лоумелло. Там он попрощался с Юлианом и пожелал ему удачи.

Прибыв в Турин, Юлиан узнал новость, которая уже была известна двору, но которую от него тщательно скрывали из боязни, что он воспользуется ею как поводом для отсрочки отъезда. Речь шла о том, что после жестокой осады варварами был взят приступом и разграблен город Кёльн, столица Нижней Германии. Это было неслыханное несчастье! Жители внутренних земель от Мааса до Арденна дрожали от страха. Рейнская граница опрокинута: вся Галлия стала открыта для завоевателей.

Юлиан увидел в этом сообщении предзнаменование ожидающих его несчастий. Новость произвела на него такое сильное впечатление, что окружающие не раз слышали, как он с горечью шепчет:

— Все, что я получил в результате моего возвышения, — это возможность умереть наиболее беспокойной смертью!

Вскоре на горизонте показались Альпы. Их вершины были скрыты угрожающими тучами. Казалось, стоило двинуться в обход. Но Юлиан уперся. Поднимаясь по склону, ведущему к ущелью Монт-Женевр, маленькое войско попало в снежную бурю. Может быть, надо было все-таки остановиться или вернуться? Юлиан, не колеблясь ни минуты, решил идти вперед.

И когда они поднялись на вершину, облака вдруг рассеялись, и все вокруг озарилось солнечным сиянием. У ног Юлиана простирались благодатные равнины Галлии, на которых уже появились первые признаки весны. Ему показалось, что свершилось чудо, благодаря которому «вместо кошмаров зимы на его пути возникло очарование весны». Вслед за этим неожиданным изменением погоды, которое, похоже, показалось чудесным всем, кто был ему свидетелем, произошли и другие события, еще более удивительные...

Ближе к вечеру Юлиан и его эскорт прибыли в Бриансон. Фасады домов были украшены зеленью. С веревок, натянутых между пилонами по обеим сторонам главной улицы, свешивались венки из листьев и цветов. Когда Юлиан проезжал через город, один венок из листьев оторвался от веревки и опустился прямо ему на голову. Люди, столпившиеся у места, где проезжал кортеж, разразились аплодисментами. Юлиан продолжал путь, как будто ничего не произошло. Видя проезжающего молодого цезаря с высоко поднятой головой, увенчанной венком из листьев, присутствующие устроили овацию. Разве венок не символизирует победу, а победа разве не означает конец их страданиям?

Новость об этом происшествии, которое сразу же приписали действию сверхъестественных сил, распространилась по селениям и предшествовала появлению в них самого Юлиана. Жители всех мест, через которые он проезжал, сбегались ему навстречу. Во Вьенне, которая была целью его путешествия, население устроило ему восторженный прием. Люди выбегали навстречу с криками: «Да здравствует милосердный Император! Да здравствует осененный удачей Цезарь!»

Все были счастливы при мысли о том, что наконец править будет не очередной узурпатор, а представитель законной династии. Население видело в Юлиане освободителя, появившегося в тот момент, когда все уже казалось потерянным. С его прибытием будущее стало казаться менее мрачным, а его юный возраст обещал обновление. Со всех сторон сбегались толпы, чтобы его увидеть. Какая-то слепая старуха спросила, что за человека так приветствуют. Когда ей ответили, что это цезарь Юлиан, она воскликнула:

— Так это он? Я так и знала! Он пришел, чтобы восстановить храмы богов!

IV

Как нетрудно догадаться, префект Флоренции встретил Юлиана совсем с другими чувствами: такой гость, как кузен императора, всегда стесняет хозяина. Однако он уже получил от Констанция инструкции и знал, что молодой цезарь не обладает почти никакой властью. Поэтому он сразу же отнесся к нему с явным пренебрежением.

Юлиан провел во Вьенне всю первую половину 356 года. В этом городе находилась в то время вся гражданская администрация провинции. Это был великолепный город, в котором некогда процветало язычество. Там можно было найти храмы, посвященные всем богам римского пантеона, а также храмы Исиды, Кибелы и Митры⁹. Языческое жречество переживало упадок. Почти повсеместно жрецов заменили христианские священники. «Однако, — пишет Аммиан, — было немало тех, кто не утратил надежду вернуть былое первенство униженным богам».

Чтобы помочь Юлиану занять свободное время, Флоренции предложил ему поучиться военному искусству. Он был уверен, что тот откажется. К его великому изумлению Юлиан принял предложение, и не только принял, а с большим удовольствием взялся за дело. Зная, что в этой области ему нужно учиться абсолютно всему, он скрупулезно выполнял все физические упражнения, которые были обязательны для солдат, включая даже строевые марши с общим скандированием под звуки флейты. Юлиан принимал участие в этих занятиях наравне с обычными солдатами. Однажды, выделявая очередной пируэт, он не удержался от восклицания:

— О Платон, Платон! Что бы ты сказал о своем ученике, если бы сейчас увидел его!¹⁰

Полный решимости добиться совершенства на этом новом для себя поприще, Юлиан следовал примеру Марка Аврелия, который был способен неустанно работать над своим моральным совершенствованием, одновременно управляя империей и воюя против варваров. Однако у Юлиана было одно качество, которого не было даже у Марка Аврелия: военный гений. Почти удушенная полумонастырским воспитанием, его внутренняя склонность к занятию военным делом долгое время не имела возможности проявиться. «Суровая лагерная жизнь развила его душевную доблесть и заставила мечтать о шуме битв», — пишет Аммиан. «Однако, — добавляет он, — его политические идеи простирались намного дальше: намечая план правления, он заранее изыскивал средства восстановить

процветание Галлии и — если судьба будет к нему благосклонна — воссоединить все земли этой расколотой на части провинции»¹¹.

Такая жизнь, абсолютно непохожая на ту, которую он вел раньше, позволила ему развить незаурядную физическую силу и выносливость. Раньше всех поражал глубокий взгляд его глаз. Теперь же стали в первую очередь замечать, какие у него крепкие плечи и мощная шея. Кроме того, участие в маневрах и упражнениях завоевало ему огромную популярность среди легионеров, которые были счастливы видеть правителя, общающегося с ними на равных.

Когда об этом рассказали Констанцию, он расхохотался. Ему показалось более чем комичным, что его двоюродному брату вздумалось «поиграть в войну». Однако его обеспокоило то, что Юлиан таким образом добился популярности в самых разных слоях общества. Что за таинственная сила исходит от этого молодого человека? Не для того он послал его в Галлию, чтобы его там полюбили! После нескольких дней размышления Констанций нашел хитроумный способ положить конец этому безобразию. Юлиан стал цезарем! Значит, следовало запретить ему посещать простых солдат. Такое поведение несовместимо с достоинством его сана. Далее, следовало подорвать его репутацию в глазах общественного мнения, связав его имя с какими-нибудь непопулярными административными мерами.

Через несколько дней (в апреле 356 года) Констанций послал префекту Галлии указ, повторно запрещающий отправление языческих культов и предусматривающий вынесение смертного приговора любому, кто сохраняет приверженность язычеству. К этому законопроекту прилагалось конфиденциальное сообщение: император велел Флоренцию заставить Юлиана также подписать этот указ, поскольку решение подобных вопросов было прерогативой цезаря. Это должно было настроить против Юлиана языческие круги, в особенности крестьян, среди которых в основном и набирали солдат. С яростью в сердце Юлиан был вынужден подчиниться. После этого Констанций решил посорить его с христианами.

Вся высшая прослойка общества, в первую очередь горожане, купцы и должностные лица, обеспечивавшие повседневную работу римской администрации, были приверженцами вселенской Церкви. Констанций же принадлежал к арианами. Поэтому в глазах своих подданных-галлов он был еретиком, и многие из них выказывали по отношению к нему неприкрытую враждебность. Вождями оппозиции были епископ Пуатье Иларий и епископ Тулузы Роданий. Выведенный из себя критикой, которую эти два прелата нескончаемым потоком обрушивали на него с высоты своих

кафедр, Констанций отдал приказ изгнать их из диоцезов. И в этом случае опять же Юлиан был обязан скрепить своей подписью декреты об изгнании. Юлиан согласился на это достаточно легко и показал тем самым, что отказывается принимать чью-либо сторону в теологических спорах. Однако он понял, что если так пойдет и дальше, то скоро все возненавидят его. Наиболее разумным выходом из положения было как можно скорее покинуть Венну.

Вскоре произошло событие, давшее ему повод выполнить это намерение. Варвары, притихшие было с начала года, возобновили свои набеги. Вторгшись глубоко на территорию кельтской Галлии, они осадили Отен (июнь 356 года). Потеря этого города означала бы новую катастрофу, столь же — если не более — тяжелой, как потеря Кёльна.

Дело в том, что если Вьенна, «прославленная своими красотами и доблестью», была местом проживания гражданской администрации, то Отен служил центром военного управления. Это был великолепный город с улицами, обрамленными широкими портиками и ведущими к Капитолию и храму Аполлона. Но этот город служил также арсеналом. Здесь было сконцентрировано множество мастерских по производству оружия и складов сырья; здесь же находились огромные казармы, служившие легионам зимними квартирами. Развращенный легкой жизнью, которую он вел последние несколько лет, небольшой гарнизон города утратил какой бы то ни было воинский дух. К счастью, поблизости проживало множество старых солдат, которых в случае необходимости можно было вновь призвать на военную службу¹². Эти люди бросились на помощь гарнизону и помогли ему сделать вылазку, которая слегка ослабила натиск варваров.

Озабоченный той опасностью, которой подвергался этот город, некогда считавшийся одним из самых укрепленных и расположенный в самом центре Галлии, Юлиан решил прийти ему на помощь. Не слушая увещевания людей из своего окружения, которые опасались его неопытности и пытались помешать ему броситься в столь рискованную операцию, Юлиан собрал вокруг себя все войска, которые смог найти, и двинулся на Отен «с храбростью истинного военачальника»¹³.

Он прибыл туда 24 июня. Варвары, предупрежденные о его приходе, уже сняли осаду. Пребывание в этом богатом и культурном городе, в котором находилось множество школ и знаменитый университет, могло бы показаться Юлиану заманчивым; однако он даже не думал об этом, так как поспешно двинулся вдогонку за варварами, отступившими в направлении Осера.

Местность вокруг Отена весьма изменилась со времен Константина: она опять стала дикой. Виноградники увяли; почти повсеместно образовались рытвины и болота; можно сказать, это была огромная пустыня, «невозделанная, заросшая терновником, молчаливая и

сумрачная»¹⁴. Пройти через такую местность было нелегко, потому что дороги стали почти непроходимыми. Чтобы наметить направление движения, Юлиану пришлось собрать под открытым небом большой военный совет, на котором присутствовали люди, лучше других знакомые с местностью. Большинство советовали из осторожности выбрать более длинную, но безопасную дорогу. Однако один крестьянин вспомнил, что много лет назад какой-то военачальник, командовавший вспомогательной когортой, прошел коротким путем через лес. Но эта дорога была намного короче, опаснее, потому что неприятель мог легко устроить засаду. Мнения разделились, обсуждение затянулось. Юлиан отдал предпочтение короткому пути. Поскольку большая часть войск, по-видимому, сомневалась, стоит ли следовать за ним, он выбрал из них отряд катафрактариев¹⁵, а также отряд баллистариев¹⁶, то есть пехотинцев с легким вооружением, встал во главе этого войска и углубился в лес. К несчастью, из-за длительных дебатов он потерял слишком много драгоценного времени. Когда он прибыл в Осер, варвары уже исчезли.

Раздосадованный, Юлиан задавал себе вопрос, стоит ли продолжать путь или лучше вернуться в Отен, но тут ему сообщили, что противник находится в районе Труа. Без колебаний он вскочил на коня и бросился в погоню. На этот раз он настиг варваров в окрестностях Барсюр-Об. Их силы намного превосходили его собственные. Боясь, что если он сделает еще хоть один шаг вперед, на него обрушатся многочисленные отряды, Юлиан приказал своим людям занять оборонительную позицию. Однако когда высланная на разведку конница вернулась с сообщением, что огромные силы варваров продолжают стремительным потоком откатываться на север, Юлиан решил перейти в наступление. Расположив своих солдат таким образом, чтобы они казались куда более многочисленным войском, чем были на самом деле, Юлиан приказал им атаковать арьергард противника. Захваченные врасплох варвары поддались панике и разбежались. К сожалению, обремененные тяжелым вооружением катафрактарии не смогли в полной мере воспользоваться своим преимуществом.

Итак, германцы были отбиты, и теперь уже Юлиану пришлось преодолевать массу заграждений и ловушек, чтобы войти в Труа. Когда он добрался до города, то увидел, что тот ошетинился, готовый к отражению атаки. Среди горожан царила такая паника, что когда Юлиан появился у стен города, его приняли за неприятеля и отказались открыть ворота¹⁷. В конце концов он вошел в Труа, во многом благодаря смятению, которое

посеял его приезд среди осаждающих город варваров.

Но едва расположившись внутри стен, Юлиан понял, что совершил ошибку, ибо в городе и без того едва хватало продовольствия. Кроме того, находясь взаперти, он мог только пассивно пережидать тяготы осады. Было ясно, что нужно выскользнуть из города, соединиться с основными римскими легионами, находившимися в то время в Реймсе, и вернуться с более крупными силами, чтобы окончательно освободить Труа.

В ту же ночь Юлиан и его катафрактарии предприняли попытку уйти. Это была рискованная операция; тем не менее она удалась. Оставив позади осажденный город, Юлиан сразу же поскакал к столице Шампани, где размещался десяток легионов под командованием военачальников Марцелла и Урсицина.

Констанций назначил Марцелла главнокомандующим армий Галлии вместо Урсицина перед самым приездом Юлиана во Вьенну. Однако — и это было вполне в его духе — он велел, чтобы Урсицин оставался во главе войск вплоть до окончания текущей кампании и временно продолжал осуществлять командование. Это распоряжение поставило обоих командующих в двусмысленное положение.

В течение всей беспокойной весны основная часть римских войск не принимала участия в событиях. Такое бездействие было тем более необъяснимо, что римские силы находились на позициях, позволявших легко атаковать левый фланг германцев и захватить их врасплох. Однако, вместо того чтобы это сделать, Марцелл и Урсицин не двинулись с места. Как с иронией пишет Либаний, «похоже, что, несмотря на обладание огромной силой, они мечтали лишь о том, чтобы выспаться»¹⁸.

Скакавший во весь опор по шампанской долине Юлиан задавал себе вопрос, почему римские войска бездействуют. Прибыв в Реймс, он понял причину. Двое командующих не только относились друг к другу с жестокой ревностью, но имели особое задание: надзирать за самим Юлианом. «У них был письменный приказ следить за мной пуще, чем за противником», — напишет он впоследствии¹⁹.

Возможно, Марцелл и Урсицин действительно находились поначалу в некоторой дремоте, однако очень скоро Юлиан сумел разбудить их. Чувствуя, что погибнет, если немедленно не применит свою власть, он потребовал созыва военного совета. Разгоряченный недавней долгой скачкой в седле, он сурово бранил командующих, стыдил их за апатию и указывал им на то, что они упустили возможность уничтожить варваров.

— Как вы собираетесь побеждать, — кричал он в пылу раздражения, — если неспособны даже распознать ситуацию, в которой можно одержать победу? Вы сидите здесь, сонные и безучастные, тогда как уже пришло время начать движение вперед, опрокинуть неприятеля и отбросить его на другой берег реки!

Юлиан говорил с таким жаром, что командующие не нашли, что ему возразить. Они не посчитали себя вправе противиться Юлиану и передали ему руководство предстоящими операциями — что было запрещено инструкциями Констанция. Впрочем, само присутствие Юлиана в Реймсе воодушевило всех. Войска, утратившие было боевой дух, теперь,

почувствовав над собой руку человека, точно знающего, чего он добивается, хотели одного — воевать. Отметая все возражения, которые ему пытались предъявить, Юлиан объяснил, что пора переходить к наступлению. После часового совещания военный совет подчинился его призыву и согласился идти на Рейн, чтобы освободить Кёльн.

Поспешно и не встречая препятствий на своем пути, войско преодолело ущелья Вогезских гор и вступило в долину Рейна. Все города по берегам реки — нынешние Страсбург, Брумат, Цаберн²⁰, Зельц, Шпейер, Вормс и Майнц — были окружены ордами франков и алеманнов. Последние привыкли к обширным пространствам долин и к густым лесам и отказывались входить в города, где задохались внутри стен и на узких улочках²¹. Поэтому они располагались лагерем вокруг крепостей, которыми овладели, не думая о том, какую пользу можно извлечь из этих стен и башен. Разграбив крепость, они даже не оставляли в ней гарнизона. Подобный способ ведения войны во многом облегчал задачу Юлиана.

Добравшись до Брумата, он двинулся вниз по течению реки, освобождая один за другим осажденные города, которые попадались ему по дороге. Кобленц сдался, не оказав сопротивления. Там Юлиан ненадолго задержался, чтобы рассмотреть Рейн, и нашел, что у этой реки «героический характер». К сожалению, ее противоположный берег, некогда усаженный виноградниками и украшенный сторожевыми башнями, теперь представлял взору в виде полей, покрытых руинами.

Наконец римская армия подошла к Кёльну. Ворота города были открыты, потому что алеманны разбежались. Юлиан вошел в город без труда. Но в каком плачевном состоянии предстала перед ним древняя колония ветеранов, основанная Агриппой и разросшаяся при Нероне! Варвары пробыли в несчастном городе десять месяцев и сделали все возможное, чтобы полностью опустошить его. Юлиан остановился в Кёльне и посвятил несколько следующих недель тому, чтобы поднять город из руин. Он велел восстановить укрепления и дома, площади и храмы, среди которых с удивлением обнаружил святилище Митры. Ему сказали, что именно здесь во времена Аврелиана legionеры приносили жертвы Божественному Солнцу. Хотя он и поставил свою подпись под запрещающим указом Констанция, он не стал препятствовать восстановлению храма, что понравилось солдатам. Он также постарался прийти на помощь двум соседним городам²². Один из них получил в свое распоряжение постоянный гарнизон, другой — запас провизии, достаточный для того, чтобы население могло избежать голода.

После этого, считая, что он не зря потратил время, и будучи не в силах в настоящий момент добиться большего, Юлиан вернулся в Санс, где и расположился на зимних квартирах.

VII

Последние месяцы 356 года Юлиан провел в столице семнонов. Успех его первой кампании превзошел все ожидания. Он был в приподнятом настроении и решил посвятить вынужденный перерыв в войне занятиям литературным. Чтобы как-то скоротать долгие зимние вечера, он начал сочинять «Панегирик Констанцию».

То, что цезарь составил речь, восхваляющую достоинства императора, само по себе было явлением беспрецедентным. Но то, что Юлиан стал восхвалять человека, которого ненавидел более всего на свете, просто не укладывается в рамки здравого смысла. Не без неловкости читаешь эти страницы, на которых сын Юлия Констанция приписывает императору такие добродетели, как «образцовую кротость, великодушие, чистосердечие и преданность духу семьи»²³. Над кем он насмеялся? Можно было бы подумать, что его творение — мистификация или насмешка, но это вовсе не так: здесь нет ни малейших намеков на некую двусмысленность или «эзопов язык». Может быть, мы должны видеть в этом документе проявление лицемерия, столь свойственного гонителям Юлиана? Но лицемерие не было присуще ему. Верно, что жизнь научила его скрывать свои мысли. Однако нет никаких оснований считать его лжецом и обманщиком. Так какое же чувство могло продиктовать ему эти безмерно льстивые строки и напыщенные комплименты? Как бы там ни было, Юлиан утратил чувство меры. Нельзя не пожалеть о том, что он создал это произведение. Но раз уж оно существует, его следует принять таким, каково оно есть, и попытаться выяснить, можно ли найти ему объяснение, если уж нельзя найти оправдание...

Отметим с самого начала, что его подобострастие, — если это можно назвать подобострастием, — не выходит за определенные рамки, потому что Юлиан решительно не делает никаких уступок в плане религии. Он старается не применять стиль, характерный для христиан, писавших восхваления Констанцию. Нигде он не говорит ни слова, способного изобличить его как обманщика в глазах тех, кто знал о его истинных убеждениях. Он заимствует словарь, образы и стилистические обороты только у таких откровенно языческих авторов, как Фемистий и Либаний²⁴. В этом плане он во всяком случае не заслуживает упрека.

Далее, не исключено, что Юлиан, окрыленный первыми победами, хотел наметить пути примирения с Констанцием. Зная непомерное

тщеславие своего двоюродного брата и то, каким бесстыдным образом ему льстит ближайшее окружение, он понимал, что не должен скупиться на похвалы, если хочет быть услышан. Возможно, создавая свой панегирик, он хотел сказать Констанцию: «Давай прекратим наши ссоры. Забудем о прошлом. Смотри, до какой степени я сам забыл о нем! Давай заключим союз Философии и Власти! Империя от этого только выиграет». Если рассматривать его панегирик под таким углом зрения, то он приобретает совсем другой смысл. Он может быть понят как иносказательный «дальновидный призыв к пониманию, согласию, забвению раздоров, к честному сотрудничеству и щедрому милосердию»²⁵. (Мы должны быть благодарны Бидэ за то, что он предложил такое объяснение.)

Но как бы соблазнительно оно ни было, это всего лишь предположение. Вместе с тем существует другое объяснение, с которым трудно спорить. Юлиан хотел написать «Панегирик императрице». Мог ли он сделать это, не написав предварительно панегирик ее супругу? Это означало бы совершить непоправимую глупость. Если уж он собирался публично заявить обо всех тех добрых чувствах, которые питал к императрице, то ему следовало уравновесить это заявление теми словами, которыми обычно льстили ее супругу. Если он написал, что Евсевия «мудра, добра, благоразумна, человечна, справедлива, бескорыстна и щедра»²⁶, то он был обязан предварительно отметить, что Констанций «мужествен, сдержан, умен, справедлив, великолепен, мягок и великодушен»²⁷. Однако в адрес Евсевии он писал то, что действительно думал, и поэтому второе восхваление намного превосходит первое. В нем есть человеческое тепло, которое напрасно было бы искать в первом, и это понятно: Юлиан был исполнен столь глубокой признательности Евсевии, что едва ли мог выразить это чувство словами. Она дважды спасла его от опалы и смерти. Она позволила ему поехать учиться в Афины, она заставила императора возвести его в ранг цезаря. Она добилась для него права управлять Галлией. И она была готова вновь защитить его, если возникнет необходимость. Юлиан не мог думать о ней, не испытывая глубокого волнения. Он видел в Евсевии друга и защитника. Более того: он видел в ней исполнителя воли Гелиоса. И удовольствие воздать ей должное стоило того, чтобы послать лавровый венок ее супругу.

VIII

Однако вскоре драматические события положили конец литературным упражнениям Юлиана. Победы, одержанные им предыдущей осенью, были блестящими, но их результаты оказались недолговечными. Отброшенные, но не разбитые, варвары возобновили свои набеги. Оказалось, Галлия настолько далека от «освобождения», что пришлось рассредоточить войска по внутренним городам, чтобы обеспечить их защиту²⁸.

Вопреки обыкновению, уже в начале января огромное число варваров вторглось в южную часть провинции. Дезертиры сообщили им, что в Сансе почти нет войск, и они напали на этот город, уверенные в том, что достаточно одного удара, чтобы город пал.

День ото дня положение Юлиана ухудшалось. Он расстался со своими катафрактариями и имел при себе лишь небольшой гарнизон. Но именно теперь Юлиан впервые по-настоящему проявил свой талант военачальника. Он начал с укрепления слабых мест обороны. Затем набрал ополчение из числа горожан и велел солдатам гарнизона обучить его. День за днем, не щадя самого себя, он отражал атаки варваров, пытавшихся вскарабкаться на стены укреплений, и осуществил несколько успешных вылазок. Юлиан был повсюду, давая советы одним, подбадривая других и придавая всем дополнительный заряд бодрости. Через тридцать дней варвары, отчаявшись в успехе, сняли осаду и отошли к северу (конец января 357 года).

Санс мог бы быть освобожден намного раньше, если бы на помощь пришли основные силы римских войск. Легионы под командованием Марцелла располагались неподалеку от города. Однако Марцелл вновь предпочел остаться лишь пассивным наблюдателем событий. Он не мог простить Юлиану ни того, что на совете в Реймсе тот отнял у него право управлять военными действиями, ни освобождения прирейнских городов без его, Марцелла, участия. В глубине души Марцелл не имел ничего против того, чтобы Юлиан потерпел поражение под ударами противника.

Когда Констанций узнал о бездействии Марцелла, он разгневался. Да, он желал, чтобы Юлиан утратил свою популярность среди населения, но подвергнуть его смертельной опасности и позволить крепости попасть в руки варваров — это было слишком. Император выразил свое изумление тем, что «главнокомандующий мог оставаться столь безразличным к судьбе носителя императорской пурпурной мантии», и вызвал Марцелла для отчета в Сирмий.

Марцелл прибыл в Паннонию заметно обеспокоенным. Представ перед императором, он весьма тенденциозно описал ему все события, обвинил Юлиана в самонадеянности и в том, что тот ни во что не ставит своих командующих. Наконец, сопровождая свои слова выразительной мимикой, Марцелл объявил, что Юлиан «отращивает крылья, дабы иметь возможность взлететь еще выше»²⁹.

Однако Юлиан, прекрасно знавший, какая атмосфера царит при дворе, также послал к Констанцию своего человека. Это был молодой образованный армянин по имени Евтерий. Юлиан настолько ценил его ум и преданность, что сделал его своим Первым хранителем опочивальни. Евтерий привез с собой два панегирика, которые Юлиан написал предыдущей осенью, и должен был вручить их в собственные руки адресатов. Едва представ перед Константием, Евтерий мужественно встал на защиту Юлиана. Он обвинил Марцелла в клеветничестве и подтвердил, что только личное вмешательство Цезаря спасло Галлию от непоправимого несчастья.

— Пока Юлиан жив, он всегда будет оставаться самым верным из подданных императора! Я ручаюсь в том своей собственной головой! — сказал он напоследок.

Когда Констанций спросил, что дает ему такую уверенность, Евтерий ответил:

— Пока я дышу, я буду верным свидетелем моего принцепса; потому я и готов ответить своей головой!³⁰

Это мужественное спокойствие произвело благоприятное впечатление на императора. Кроме того, панегирики, посвященные ему двоюродным братом, также сыграли свою роль. Нельзя сказать, чтобы Констанций принял их за чистую монету. Но он увидел в них свидетельство доброй воли, почти что покорность.

Со своей стороны императрица Евсевия, тронутая тем, сколь деликатно Юлиан выразил ей свою благодарность, заметила императору, что его кузен проявил несомненные способности, что, судя по всему, он весьма ему предан и что преуменьшить достигнутые им успехи и не вознаградить его за них — это лучший способ побудить его к возмущению.

Констанций, находившийся тогда в лучшем расположении духа, позволил себя уговорить. Он отослал Урсицина и Марцелла на восток, назначил командующим конницей Севера и возвел Юлиана в ранг главнокомандующего всеми войсками в Галлии.

Однако Констанций решительно был способен сбить с толку кого угодно. Его непоследовательность стала притчей во языцех. Едва назначив Севера командующим конницей, он пожалел об этом, боясь, что это еще более укрепит репутацию Юлиана. Чтобы не допустить подобного развития событий, он назначил комита Барбациона командующим пехотой и дал ему указания «по возможности затруднять действия своего главнокомандующего». То, что выбор пал на Барбациона, само по себе показательно: тот ненавидел Юлиана. Со своей стороны, Юлиан также не испытывал никакой симпатии к Барбациону, учитывая зловещую роль, которую тот сыграл при аресте Галла³¹.

Юлиан не пришел в восторг, когда Барбацион появился в Сансе. Но что он мог поделать? Была середина года — и, следовательно, самое время начинать военную кампанию.

Теперь, располагая большим числом войск и имея возможность руководить операциями по собственному усмотрению, Юлиан разработал новый план действий, направленный на то, чтобы закрепить успехи, достигнутые в 356 году. Задача состояла в том, чтобы одновременно бросить две большие армии, Южную и Западную, в направлении Рейна с тем, чтобы раздавить варваров в этих тисках. Приняв командование Западной армией, насчитывавшей около 13000 человек, Юлиан в последние дни июля покинул Санс, а Барбацион в то же самое время двинулся к Базелю во главе почти 25000 человек, составлявших Южную армию. Оба войска должны были соединиться в районе Цаберна.

Однако, прибыв в Базель, Барбацион решил действовать по-своему, не считаясь с приказаниями Юлиана. Он надеялся собственными силами одержать легкую победу, которая затмила бы успехи его начальника, и потому решил вывести свою армию на правый берег Рейна — иными словами, сделать то, что Юлиан ему категорически запретил³². Для этого Барбацион приказал построить понтонный мост через реку. Однако варвары, во множестве собравшиеся в верховьях, стали бросать в воду огромные стволы деревьев, которые разбили понтоны, и их обломки уплыли вниз по течению. Переправа через Рейн стала невозможна.

Раздосадованный Барбацион отдал войскам приказ идти в обход. Но тут на них напали полчища варваров. Они преследовали римлян вплоть до Базеля, захватывая обозы и упряжных животных, что превратило неудачу в

полное поражение. Тем не менее это нисколько не смутило Барбациона; короткими переходами он вернулся в Галлию и рассредоточил оставшиеся у него силы по поселениям, служившим зимними квартирами. Он сделал это для того, чтобы никто не смог точно определить истинные масштабы понесенных им потерь.

Юлиан, находившийся в Цаберне во главе Западной армии, пришел в страшное негодование, узнав о предательстве Барбациона. Лишив цезаря поддержки двух третей армии, тот поставил его перед вынужденным выбором: либо отказаться от проведения кампании, либо продолжать ее, имея недостаточное количество сил. В любом случае возможность окружения варваров была упущена.

Как только варвары поняли, в сколь трудное положение попал Юлиан, они решили, что наступил их час для нанесения смертельного удара. Чтобы обеспечить себе несомненную победу, цари алеманнов Хнодомар и Фельстрап, а также целый ряд более мелких вождей, таких, как Урий, Серапион³³, Суомар и Хортар, объединили свои силы, которые в результате превысили 60000 человек. Могли ли 13000 легионеров Юлиана противостоять этому полчищу? Заранее уверенный в победе Хнодомар послал к Юлиану гонца с советом сдаться на его милость, «прежде чем он растопчет его копытами своего коня».

Такая наглость взбесила Юлиана. Но сумев извлечь урок из осад Труа и Санса, он понял, что погибнет, если окажется заперт в Цаберне. Он отдал своей армии приказ покинуть город и двинуться по римской дороге, ведущей в Страсбург (Аргенторат). Поднявшись на высоту Мундольсхайма, он увидел вдали авангард противника, маленькими отрядами переправлявшийся через Рейн, чтобы занять позиции на левом берегу реки. Мгновенно оценив ситуацию, Юлиан решил не отказываться от сражения. Конечно, речь уже не могла идти об уничтожении противника. Предательство Барбациона сделало это невозможным. Но Юлиан вполне еще мог нанести противнику тяжелый ущерб, чтобы отбить у него всякое желание возобновлять набеги. Для этого надо было подождать, пока варвары в достаточном количестве переправятся на левый берег. Однако нельзя было и медлить, иначе слабые силы римлян не справились бы со слишком большим числом неприятельских войск. Исход сражения, конечно, зависел от храбрости солдат. Но еще более — от точности выбора момента для начала наступления.

Нескольким римским всадникам, посланным в разведку, удалось захватить в плен небольшую группу варваров. Те рассказали, что германские войска переправляются через реку уже четыре дня и что долина

перед Страсбургом кишит их воинами³⁴. Несмотря на то, что там собрались еще не все германцы, их число уже было внушительным. Юлиан понял, что промедление губительно для него, и расположил свои войска в боевом порядке. Тем не менее до последней минуты он сомневался, стоит ли начинать военные действия, поскольку не был уверен в моральном состоянии войск. Подобно Юлию Цезарю при переходе через Рубикон, он просил богов дать ему знак.

Армия тоже начинала нервничать. Она видела, как солнце всходит над горизонтом, и спрашивала себя, почему Юлиан до сих пор не дал сигнала к атаке.

В это мгновение заговорил один из знаменосцев.

— Иди же! — воскликнул он, обращаясь к Юлиану. — Иди, счастливый Цезарь, туда, куда зовет тебя Фортуна! С тобой мы вновь обретем храбрость и воинский дух! Ты увидишь, на что способен римский солдат перед глазами отважного командира, которому покровительствует Бог!³⁵

Юлиан увидел в этом призыве тот самый знак, которого ожидал, и сразу же велел трубить атаку.

Поначалу основные силы германской кавалерии стали теснить римские эскадроны. Во главе германских войск стоял царь Хнодомар. «На его лбу была повязка цвета пламени, он сидел на взмыленном коне, уверенный в геркулесовой силе своих рук, и размахивал дротиком гигантских размеров»³⁶. В пространстве между всадниками Хнодомар расположил маленькие группы велитов^[10], задача которых состояла в том, чтобы проскальзывать между тяжеловооруженными катафрактариями и вспарывать брюхо их коням, подбираясь со стороны, не защищенной латами. Первым из римлян был поражен ударом дротика трибун катафрактариев Бойнобад. Он упал на землю с залитым кровью лицом. Видя, что командир ранен, римские конники стали отступать в сторону пехоты, топча ее копытами своих коней. Однако пехотинцы сопротивлялись ударам, не отступая ни на шаг.

Увидев издали замешательство в рядах своей конницы, Юлиан бросился туда, чтобы не дать ей полностью рассеяться. Трибун одного из отрядов катафрактариев узнал цезаря по пурпурным значкам на пиках его эскорта. Он устыдился своего страха, вновь построил своих конников и сумел восстановить порядок также в соседних эскадронах.

Теперь основной атаке подвергся центр. Напору германцев было трудно противостоять, и фронт римских войск начал давать трещину.

Однако Юлиан заранее расположил в этом месте дополнительные резервные отряды, а именно: один галльский легион, легион батавов и легион региев^[11].

Он дал сигнал этим легионам вступить в бой. Тотчас же раздался «баррит». Так назывался боевой клич галлов. Аммиан пишет: «Он начинался как тихий ропот, постепенно нарастал и наконец превращался в мощные раскаты, подобные тем, какие издают волны, ударяясь об утес»³⁷. При поддержке галлов, батавов и других отрядов, которые перебежали на поле битвы с места на место, вовремя оказываясь в точках, где угроза прорыва была наибольшей, легионеры устояли.

Яростная битва продолжалась весь день. Несмотря на усилия Юлиана, ее исход оставался неопределенным. Когда солнце стало клониться к закату, варвары предприняли отчаянную попытку ускорить развязку. Временно закрепившись на позициях, они пробили себе проход в рядах римской пехоты и добрались до отборного Первого легиона, составлявшего основу всей армии. Если бы Первый легион дрогнул, все было бы потеряно. Но он не дрогнул. Последние силы германцев разбились об эту скалу из людей.

Все это время левое крыло римлян не прекращало наступления, перемещая таким образом центр тяжести всего сражения. Основные силы варваров, не имевшие возможности значительно продвинуться вперед, вдруг поняли, что их правому флангу угрожает окружение. «Именно в эту минуту вмещались боги», — пишет Аммиан. Поняв, что ему не удастся разбить римское войско, и с ужасом оценив свои потери, Хнодомар отдал своим людям приказ отступить. Сначала понемногу, а затем все быстрее и быстрее германское войско стало откатываться назад.

И тогда, в сгущающихся сумерках, началось преследование. Возбужденные запахом крови легионеры гнали варваров до Рейна. Кони скользили на прибрежных склонах, увязали в болотной тине, падали под всадниками. Множество людей, оглашая воздух воплями, бросались в реку, чтобы спасти свою жизнь. Многие тонули, пытаясь вплавь добраться до правого берега. Всю ночь продолжалась охота на людей. Легионеры, отправившиеся на поиски Хнодомара, нашли его без чувств в небольшом заросшем камышами озерце. Они захватили его в плен и привели к Юлиану. Узнав цезаря, Хнодомар упал перед ним на колени и умолял о пощаде, называя победителя титулом гех (царь). Это слово имело также значение «император». Было ли это ошибкой со стороны пленного? Или, может быть, он считал, что человек, одержавший такую победу, достоин

высшего титула? Несколько римских солдат услышали это слово. В их рядах поднялся одобрителный гул. Юлиан велел им замолчать. Затем он поднял Хнодомара с колен, даровал ему жизнь и отослал к Констанцию в качестве трофея (август 357 года)³⁸.

Наутро римляне стали считать свои потери. Они оказались куда менее тяжелыми, чем можно было ожидать. Римляне потеряли только несколько сот солдат и четырех командиров, среди которых был трибун Бойнобад, скончавшийся от полученной раны. С германской же стороны число погибших было огромно. Аммиан упоминает о 6 тысячах убитых и стольких же утонувших. Зосим спустя столетие называл цифру в 120 тысяч человек³⁹; несомненно, это явное преувеличение, опровергнуть которое, впрочем, невозможно.

Очевидно, однако, что Юлиан одержал яркую победу, и это выдвинуло его в число лучших военачальников того времени. Последствия победы оказались внушительными: Рейн был освобожден, значительная часть варварских войск уничтожена, а последние еще находившиеся в Галлии захватчики торопились покинуть страну. Другой на месте Юлиана был бы доволен. Но он не забывал, что не все варварские войска переправились перед боем через реку, — значительная часть их еще оставалась на другом берегу. Чтобы сделать победу окончательной, надо было истребить и их, перенеся военные действия на территорию противника. И успех этой новой кампании, которую надо было вести за Рейном, зависел от того, насколько быстро ее удастся начать.

Когда Юлиан изложил свои намерения армии, солдаты поначалу стали протестовать. Они не думали, что предстоит еще одна война. Приближалась осень. Изрядно потрудившись, они хотели как можно скорее вернуться на зимние квартиры.

Юлиан решил обратиться к их разуму. Он перечислил, какие замечательные возможности они упустят, если не воспользуются этим уникальным стечением обстоятельств. Он доказал им, что такая возможность больше не представится и что варваров будет намного труднее победить, если оставить дело до следующей весны. Короче, он говорил с таким жаром, что в конце концов убедил их.

Ворча и поругиваясь, легионы вновь двинулись в сторону Майнца. Там они перебросили через Рейн понтонный мост, и все войско перешло на правый берег реки (октябрь 357 года).

За прибрежными холмами пряталось множество врагов. Солдаты взбежали наверх по крутому склону. Однако когда они поднялись на

вершину, варвары уже исчезли. Они переправились за Майн. Тогда отряды римской конницы, двигаясь в разных направлениях, стали опустошать внутренние земли германцев, в то время как другие поджигали с легких кораблей прибрежные поселения. Вскоре огромные языки пламени поднялись к небу, заполняя всю долину облаком дыма, из которого выглядывали лишь скелеты древних сторожевых башен. Каждому, кто наблюдал это зрелище, казалось, что он присутствует при светопреставлении.

Продолжая преследовать варваров, легионы продвигались в направлении Майна, а затем перешли его в первых числах ноября. Приближалась зима. Прибыв к подножию горы Тавн, легионеры увидели перед собой простирающиеся в бесконечность леса, о которых римляне со времен Юлия Цезаря не могли говорить без ужаса... Перед солдатами больше не было открытых равнин, которые легко опустошить; они вошли в область вечных сумерек. С дрожью произносили они таинственное название: «Герцинский лес», которым без разбора обозначали все лесистые регионы западных областей Германии. По словам перебежчика, в густых чащобах, которые простирались перед ними, их ждали сплошные засады. Солдаты заколебались, стоит ли двигаться дальше.

Однако шедший впереди Юлиан решительно направился в лес. Солдаты последовали за ним, хотя и со страхом в сердце. Вскоре люди, кони и обозы были вынуждены остановиться перед завалами из срубленных деревьев: дорога была перекрыта огромными стволами дубов, ясеней и елей. Продвижение стало столь сложным, что зачастую солдатам приходилось возвращаться назад и искать новые проходы. Они теряли поножи, их одежды были изодраны ветками и колючками терновника, ремни их доспехов пропитались сыростью. В свое время те же сложности пришлось преодолевать Юлию Цезарю. Но Юлиан думал не о Цезаре: он думал об Александре и о продвижении его фаланг через леса Пенджаба в те времена, когда победитель Дария перешел через Инд так же, как сам он недавно перешел через Рейн⁴⁰. Река находилась уже в десятке лиг позади, а он все шел вперед, подталкиваемый неодолимой силой.

Внезапно наступила зима. Ветер стал ледяным. Всего за несколько часов холмы и долины покрылись снегом и льдом. Солдаты выдохлись. Поскольку противник все еще не показывался, они начали роптать. Что толку в этой экспедиции? Куда ведет их Юлиан? Не собирается ли он заставить их проникнуть в самое сердце тьмы? Знает ли он, куда идет? Жестоко страдавшие от холода легионеры были на грани бунта...

Внезапно на прогалине перед ними возникли величественные руины.

Это было древнее укрепление, построенное Траяном у слияния Ниды и Майна. С радостными криками солдаты бросились к нему. Они расположились среди руин и развели огромный костер, чтобы погреться и высушить свое обмундирование. Юлиан сам был вне себя от радости. Но его радость была другого рода, нежели радость его людей: она была глубокой, дикой, почти нечеловеческой. Река, лес, дым, поднимающийся от лагерных костров, и эти развалины, зубцы стен которых выступали из тумана, пробудили в его памяти образы легендарного прошлого: башни, которые сын Олимпиады^[12] воздвиг на берегах Гипаса^[13], написав на них: «Александр дошел до этих пределов!»⁴¹ Что до Юлиана, то он дошел до пределов Запада. Но он не пойдет дальше. Что еще он может найти? Лес, в котором белеют скелеты легионеров Вара^[14]⁴². А еще дальше? Всего лишь неясные окутанные дымкой долины, в которых живут существа, навряд ли имеющие человеческий облик...

Нет, дальше он не пойдет! Он ограничит свое продвижение этим каменным аванпостом, в котором некогда легионеры приносили жертвы Солнцу в храме времен Антонинов⁴³. Он оставит здесь гарнизон, который восстановит укрепления, стены и алтари...

Напуганные видом римских солдат, не появлявшихся здесь со времен Германика^[15], к Юлиану явились послы крупного германского племени с предложением мира. Юлиан принял предложение при условии, что франки помогут легионерам восстановить крепость. Затем прибыли три царя алеманнов, которые не принимали участия в Страсбургском сражении, хотя и послали туда свои войска. Юлиан заставил их пообещать никогда больше не нападать на римлян, признать их крепость и снабжать ее гарнизон продовольствием⁴⁴. Наконец он обязал их выпустить пленников, захваченных во время предыдущих набегов. «Таким образом, — пишет Аммиан, — германская кампания была закончена с выгодой и честью».

Оставалось вернуться обратно. Авангард под командованием Севера пошел через Кёльн, Юлих и Маастрихт, оставив слева Арденнский лес. На подходе к Маасу он наткнулся на большой отряд франков, воспользовавшихся отсутствием легионов для того, чтобы разграбить эти земли. «Дело в том, — пишет Либаний, — что зима не мешала грабительским набегам этих воинственных народов, которым снег доставлял не меньшее удовольствие, чем цветы»⁴⁵. Захваченные врасплох неожиданным появлением Севера, франки закрылись в двух заброшенных крепостях, расположенных на берегу реки. Стоял декабрь. Хотя было не так холодно, как в Германии, по Маасу шел лед. О взятии крепостей приступом

не могло быть и речи. Прибывший на место Юлиан ограничился их плотной осадой. Франки продержались пять недель. Когда они наконец сдались (январь 358 года), Юлиан был поражен их статностью и красотой. Не желая убивать их, он отослал их Констанцию, который принял их в свою армию и «кичился тем, что среди его солдат появились такие великаны, из которых и впрямь каждый стоил многих воинов»⁴⁶.

После этого, решив, что его солдаты заслужили хороший отдых, Юлиан отправился в Лютецию, чтобы ожидать там прихода весны.

Лютеция! Если Юлиан всегда любил Константинополь «как мать», если он относился к Афинам с благочестивым почтением, то о столице паризийских лодочников он писал с нежностью, сравнимой только с тем чувством, с которым он воспевал очарование своего Астакийского имения. И это при том, что в те времена Лютеция была куда менее значительным городом, нежели Лион, Вьенна и Отен. Тем не менее он ценил в ней прозрачность света, чистоту вод и умеренность климата, «благотворные для развития ума и трудов духа». Посмотрим, что же пишет он сам:

«Случилось так, что в ту зиму я остался на зимних квартирах в моей дорогой Лютеции. Именно так кельты называют крепость паризиев. Это небольших размеров остров, расположенный посередине реки. Со всех сторон его окружают высокие валы. Туда можно проехать по деревянным мостам, перекинутым с обоих берегов. Река мелеет и разливается крайне редко: обычно ее уровень одинаков и зимой и летом, что делает воду очень приятной и чистой, как на вид, так и на вкус, если захочешь ее выпить. На деле, когда живешь на острове, то воду в первую очередь берешь из реки. Зима там также повсеместно умеренная, то ли из-за тепла, идущего от океана (океан находится не более чем в 900 стадиях и иногда досюда доходит слабый ветерок, отраженный от его поверхности, и кажется, что морская вода теплее пресной), то ли по какой-либо другой причине, которую я не знаю. Жители этой области имеют возможность наслаждаться более солнечной зимой, чем остальные жители страны. Они возделывают отличные виноградники, а некоторые уже научились успешно выращивать в этом климате смоковницы, укрывая их зимой, если можно так сказать, рубашкой из снопов»⁴⁷.

Юлиану, любившему просторные горизонты и открытую местность, не могло не нравиться в столице паризиев. Город состоял из двух частей: острова и равнины. Остров со своими укреплениями и мостами напоминал корабль, пришвартованный к двум берегам Сены. Его населяли почти исключительно уроженцы этих мест, жившие очень скученно в маленьких домах, разделенных улочками. В западной части города, обращенной к верховьям реки, можно было различить остатки храма Юпитера, построенного над подземным святилищем, в котором до сих пор тайно служили Исида и Митре⁴⁸. Долина, простиравшаяся по левому берегу вплоть до склонов Лукотиции, представляла собой гармоничное сочетание

зданий и садов. Там, разбросанные среди зелени, находились не только Термы, построенные Констанцием Хлором⁴⁹ (ныне — Музей Клюни), но и амфитеатр, арены, марсово поле, казармы и вообще все здания, необходимые для размещения чиновников, солдат и жителей римской колонии.

Ученые спорят, в каком именно месте останавливался Юлиан. Одни, основываясь на приведенном выше тексте, считают, что он жил в одном из домов на острове, неподалеку от храма Юпитера. Другие предполагают, что для своего местопребывания он избрал Дворец терм. Последнее предположение кажется наиболее вероятным.

Взгляду Юлиана открывались широкие горизонты. Перед собой, за степью и поросшими камышом болотами, он мог обозревать пространства вплоть до лесистых холмов Монмартра. С противоположной стороны его взгляду представала длинная дорога, ведущая в Орлеан, и, параллельно ей, изящные арки акведука, подводившего воду во дворец от Аркейских источников.

Из того, что Юлиан рассказывает нам о Лютеции, мы можем сделать вывод, что он наслаждался жизнью, которую вел в этом городе. И не потому, что предавался праздности — напротив, его деятельность была очень активна, — а потому, что там он мог разделить свое время между управлением общественными делами и служением Музам. Он занимался даже по ночам, посвящая сну только треть ночного времени. Выбравшись из постели, состоявшей из обычной рогожи, покрытой звериными шкурами, он еженощно в полночь садился за работу при свете масляной лампы, о которой Аммиан пишет, что «она могла бы многое рассказать нам о нем, если бы умела говорить»⁵⁰. Что может быть трогательнее, чем этот образ молодого цезаря, размышляющего при свете убогого маленького светильника, в то время как вокруг него весь город спит мирным сном? Чему же посвящал он эти тихие часы? Изучению философии и римской истории⁵¹. Но также и вопросам управления империей, чье плачевное состояние весьма удручало его. Глядя на шуршащий камыш на правом берегу реки, он мечтал о будущем Галлии. Он получил власть над этой землей и успел полюбить ее жителей, ведь, даже будучи иногда шумливыми и задиристыми, эти люди были смелыми, сердечными и готовыми на самопожертвование.

Увы! Галлия сильно изменилась со времен правления Антонина! Когда-то радовали глаз ее плодоносные поля. На них в избытке росли пшеница, оливы, виноградники. Пастбища были богаты, а реки полны

рыбы. Земля была разделена на большие поместья, чьи мраморные портики и красные черепичные крыши порой тянулись на несколько гектаров. Если верить Авзонию и Сидонию Аполлинарию, некоторые из этих жилищ могли поспорить роскошью и размерами с римскими дворцами⁵². Там были мозаичные полы, пышность которых поражает до сих пор, там были просторные строения для молотьбы, конюшни, скотные дворы, фонтаны и пруды с рыбой. Галльские аристократы вели жизнь патрициев. Они были образованны, окружали себя библиотеками и коллекциями произведений искусства, имели выезды для колесничных бегов, для охоты и для рыбной ловли⁵³. И все это исчезло всего за несколько поколений!

Прибыв в Санс, Юлиан увидел истощенную и опустошенную страну. В полях, окружая развалины городов, стояли лагерем дружины варваров. Число таких городов доходило до 45, не считая отдельных снесенных башен и разрушенных крепостей⁵⁴. Количество жителей быстро уменьшалось даже в городах, находившихся вне зоны нашествия, — их гнал страх перед будущим. Либаний утверждает, что в некоторых городах «количество населения уменьшилось до такой степени, что на их площадях распахивали землю и сеяли хлеб»⁵⁵. Деревни тоже опустели. Их жители укрывались в «бургах», имевших укрепления и башни. Там жили в тесноте, стесняя друг друга, и не имели связи с сельской местностью, в которой уже никто не осмеливался жить подолгу. Урывками обрабатываемые поля сразу же превращались в залежи. Не поддерживаемые дороги покрывались ухабами и трясинной. Жизнь разграбленной провинции сосредоточилась вокруг укреплений. Из прорех ветшающей римской Галлии уже выглядывала средневековая Франция.

Каковы были глубинные причины этого кризиса? Во-первых, нестабильность, спровоцированная вторжениями варваров, ибо на границу вдоль Рейна уже нельзя было рассчитывать. Во-вторых, разбой, порожденный голодом и нищетой. Однако была и другая причина, столь же пагубная, сколь трудно устранимая: это была избыточность налогов. Основной налог, или «поземельная подать», стал столь непомерно велик, что землевладельцы уже не были в состоянии его выплачивать. Взыскание недоимок, накапливавшихся годами, ставило их перед необходимостью постоянно хлопотать за себя и часто приводило к аресту того имущества, которое у них еще оставалось. Однако римская администрация, особенно неумолимая в отношении бедняков, требовала с каждым разом все больше и больше и буквально выжимала из Галлии последнее, ничуть не заботясь о ее трудолюбивых крестьянах, которые при этом обеспечивали римские

легионы продовольствием.

Положить конец финансовому беззаконию, введя более справедливую систему налогообложения, повысить уровень жизни населения за счет уменьшения налогов, поддержать эти изменения при помощи глубокой реформы системы управления, воссоздать разрушенные крепости, восстановить речное судоходство и дороги, вернуть городам связь с деревней, чтобы добиться нового их расцвета, сделать так, чтобы заброшенные поместья снова обрели свое благополучие, — вот какие задачи ставил перед собой Юлиан.

Эти задачи были невероятно сложны, и неудивительно, что ему приходилось посвящать их решению не только дни, но и часть ночей. Когда последние ночные прохожие, жившие на берегах Сены, возвращались к себе и видели издали освещенное окно Юлиана, они спрашивали себя, что заставляет его бодрствовать в столь поздний час. Они не могли знать, что Юлиан уже давно встал с постели и читал сообщения своих префектов, изучал донесения и готовил приказы на завтра. Кроме того, он работал над трактатом об осадных машинах, писал сочинение о видах силлогизмов, а еще письма друзьям — Либанию, Евагрию, Евмену, Алипию, Приску, Орибасию, — это если перечислить только тех, письма к которым дошли до наших дней. Все это заставило одного из его корреспондентов написать следующие слова: «Ты сражаешься так, как если бы тебе было нечего больше делать, и живешь среди книг, как если бы ты находился в тысяче лиг от полей сражений»⁵⁶.

Как только всходило солнце, Юлиан, хлопнув в ладоши, призывал своих секретарей и диктовал приказы префектам, инструкции военным командирам, рекомендации казначеям, поучения магистратам, директивы смотрителям мостов и дорог. Он диктовал и диктовал без конца, почти не оставляя себе времени на еду, потому что хотел знать и контролировать все лично, перегружая секретарей работой и не давая себе передышки до тех пор, пока закатные сумерки не начинали клубиться вокруг Сите.

Да, задача была не из легких, но сколь она была увлекательна! Каждое утро Юлиан продолжал работу с того места, на котором останавливался предыдущим вечером. Казалось, он ничуть не уставал и с каждым днем получал от своей деятельности все большее удовольствие. Повсеместное восстановление мира казалось ему достойной задачей для цезаря-философа. Он был уверен, что сумеет выполнить эту задачу — разумеется, при условии, что Констанций даст ему на это время...

XI

Пытаясь таким образом вторгнуться в святая святых юстиции и финансов, Юлиан не мог не вызвать к себе враждебного отношения чиновников администрации, в особенности же — префекта Галлии Флоренция, которого Констанций в свое время уверил, что новый цезарь не будет иметь права контролировать его деятельность. Конфликт между Юлианом и Флоренцием, несколько отсроченный победоносными походами 357 года, разразился в начале 358 года.

Подушная подать составляла в то время 25 золотых денариев. Флоренций заявил, что существует значительный дефицит бюджета и его следует возместить за счет введения дополнительного налога. Юлиан же, напротив, считал, что налоги не платят потому, что они слишком высоки. Расчетам префекта он противопоставил свои собственные расчеты. Он показал Флоренцию, что налоги поступали бы в избытке, если бы общественными деньгами распоряжались более умело и если бы администрация положила конец их разбазариванию. Разозлившись, Флоренций заявил, что причиной всего являются огромные расходы, связанные с военными походами Юлиана, и пожаловался Констанцию. Он не собирался позволять этому двадцатисемилетнему мальчишке давать ему уроки по управлению финансами! Констанций, естественно, целиком встал на сторону Флоренция. Юлиан язвительно ответил, что «надо еще радоваться, если после стольких опустошений жители провинции как-то умудряются платить обычный налог и что нет худшего мучительства, нежели обложение несостоятельного населения избыточными налогами». После этого он доказал префекту, что тот абсолютно ошибается в отношении его военных расходов. Уязвленный Флоренций уехал во Вьенну. Юлиан запретил введение каких бы то ни было новых податей и приказал уменьшить подушный налог. Правильно проведенная реформа подтвердила его предположения. Налогоплательщики, которые до того изнемогали под бременем податей, вновь с усердием принялись за работу, и золото опять стало поступать в государственную казну. Два года спустя подушная подать была снижена с 25 до 7 золотых денариев, и общественные службы от этого ничуть не пострадали⁵⁷.

Конфликт вновь обострился через несколько недель. Салические франки, осевшие в Токсандрии⁵⁸, и хамавы, жившие в низовьях Рейна⁵⁹, взбунтовались и блокировали движение судов по реке. Это угрожало

разорением внутренних земель Галлии, процветание которых зависело от бесперебойного функционирования речного транспорта. Юлиан решил навести порядок с помощью оружия. Флоренций попытался воспрепятствовать ему под предлогом того, что военные операции будут стоить слишком дорого. Он предлагал купить право продвижения по реке у батавов и франков, выплатив им крупное вознаграждение. (Без сомнения, добрую часть этой суммы он намеревался присвоить себе.) Юлиан восстал против этой политики слабости и попустительства. Он отправился в поход в мае 358 года, даже не дождавшись прибытия обоза с провизией, шедшего из Аквитании. Стремительно двинувшись в сторону салических франков, он внезапно напал на них и разбил их под Тонгре, после чего заставил заключить договор, согласно которому они признавали свое подчинение империи и обязывались уважать свободу передвижения по всем судоходным рекам, протекавшим по их территории. Затем он переправился через Маас, вошел в страну хамавов, также нанес им поражение и заставил их принять те же условия. Когда он прибыл к слиянию Мааса и Рейна, его взору предстало печальное зрелище: в порту разрушалось двести кораблей римского флота, носившего имя «classis Britannica» («британский флот»), потому что его назначением была доставка зерна из Британии покупателям, жившим вдоль Рейна и Мааса. Юлиан приказал немедленно привести суда в порядок, построить дополнительно четыреста кораблей, чтобы довести таким образом численность флота до шестисот судов.

Все эти операции были проведены с необычайной быстротой. До наступления зимы Юлиан решил воспользоваться еще несколькими неделями хорошей погоды для того, чтобы ускорить возвращение последних галльских пленников, которых до сих пор удерживали германцы. Поскольку вожди варваров продолжали упорствовать, он вновь решительно переправился через Рейн, чтобы наказать их. На этот раз войска последовали за ним без колебаний. Юлиан сначала атаковал алеманского царя Суомара, который сдался без боя. Затем он направился к землям, где правил другой алеманнский вождь Хортар, отказывавшийся повиноваться Риму. Юлиан опустошил его земли и принудил Хортара к подчинению.

Прежде чем увести армию на зимние квартиры, Юлиан присутствовал при отплытии восстановленного по его приказу флота. Под звуки труб и позвякивание штандартов корабли проплывали мимо жителей побережья, собравшихся, чтобы поприветствовать их, ибо ничто не могло быть более верным знаком возвращения благополучия.

На этот раз результаты действий Юлиана были очень значительны и

закреплены надолго. Был обеспечен мир на несколько поколений. Вновь соединились осколки «разбитой провинции, и Галлия вступала в новую эпоху процветания». Более того: «Весь Запад был приведен в лоно империи»⁶⁰.

Жители Галлии были в восторге и, «веря, что их вновь ожидает счастье, сравнивали своего цезаря с солнцем, разливающим свет по небу и рассеивающим долгие и ужасные сумерки»⁶¹.

XII

В то время как Юлиан, ведя войну в Галлии, отобрал у варваров более 40 крепостей, Констанцию пришлось встретиться со все возрастающими трудностями. Весной 357 года он отдыхал в Риме в окружении императрицы Евсевии, своей сестры Елены⁶² и сводного брата Шапура парфянского принца Ормизда, нашедшего прибежище при константинопольском дворе и принявшего там христианство⁶³. Именно в это время гонцы принесли императору тревожные вести: свевы совершили опустошительный набег на Рецию, квады вторглись в Валерию⁶⁴, а сарматы в большом числе появились в Паннонии и Мезии. Это означало, что граница по Альпам и Дунаю прорвана. Если бы варвары продолжили свое движение на юг, то под угрозой оказались бы Греция, а может быть и сам Константинополь.

Прервав свое путешествие, Констанций срочно отправился в Сирмий⁶⁵. К счастью для него, сообщения оказались преувеличенными. После нескольких незначительных вылазок сарматы убралась за Дунай, где Констанций и не думал их преследовать. Что до свевов и квадов, то император получил от их вождей «заверения в мире» и этим удовлетворился.

Но едва уладились дела в Паннонии, как обострилось положение на Востоке. Весной 358 года Шапур направил римлянам оскорбительное послание, потребовав, чтобы те убирались из Месопотамии и Армении. Поскольку это письмо осталось без ответа, парфянский царь осадил Амиду (Диар-бекир), крепость, расположенную в верховьях Тигра (6 октября 359 года). После 63-дневной осады Шапур взял город и захватил в плен шесть оборонявших его легионов, в том числе большой контингент галлов, особо отличившихся во время осады. Это событие заставило Констанция покинуть Сирмий и поехать в Константинополь, чтобы заняться перегруппировкой военных сил.

Анализировать характер Констанция достаточно трудно. Был ли он по натуре злобным человеком или просто больным, раздираемым между недоверием и угрызениями совести? Вести о первых успехах Юлиана он воспринял с явным удовлетворением. «В конце концов, — сказал он себе, — мой выбор оказался не столь плох, как можно было подумать». Это льстило его самолюбию, и он приказал выбить на стенах цитадели в Сполето надпись, в которой именовал Юлиана «Victoriosissimus»

(«Победоноснейший»)⁶⁶. Но когда он понял — а это произошло уже вскоре, — что эти победы сводят на нет его собственные, то, по словам Аммиана, «его душа исполнилась горечи».

На самом деле авторитет Юлиана рос день ото дня. Вести о его походах долетали даже до Восточной империи. Либаний пишет: «Жители берегов Оронта (он имеет в виду жителей Антиохии. — *Б.-М.*) радовались, узнав, что Рейн вновь открыт для римского флота. Каждый молил богов об избавлении от бича, поразившего мир (то есть от правления Констанция. — *Б.-М.*), и о том, чтобы жителям других областей земли также выпала возможность насладиться тем неожиданным счастьем, которое познали галлы»⁶⁷. Рассказывая впоследствии Юлиану о том, что он видел в это время, Либаний добавил: «Конечно, антиохийцы не просили богов в открытую, чтобы они даровали тебе высшую власть: это было бы противозаконно. Но и потихоньку и открыто все, кто разделял наши убеждения, постоянно умоляли Юпитера положить конец тому состоянию, в котором находилась империя»⁶⁸. Желая того или нет, Юлиан привлекал к себе взгляды тех с каждым днем все более многочисленных слоев населения, которые мечтали о политических и религиозных изменениях.

Разумеется, Констанцию вскоре об этом донесли. Если бы его не уведомили соглядатаи, то это сделали бы христиане из его окружения, потому что растущая популярность Юлиана представляла для них опасность. Они задавали себе вопрос, что случится с их привилегиями и высоким положением в государстве, если Юлиан когда-нибудь получит высшую власть. Хотя Юлиан еще ни разу откровенно не признался в том, что исповедует язычество, только слепой не увидел бы, что его приверженность христианству — не более чем видимость. Поэтому христиане решили объединить свои усилия и настроить Констанция против Юлиана, надеясь, что последнего постигнет судьба Галла.

Желая польстить императору, придворные начали с преуменьшения заслуг Юлиана. Они презрительно называли его «Victorinus»⁶⁹ («Победителишка»), чтобы показать, что его победы не произвели на них никакого впечатления. Затем они стали ставить Рейнскую кампанию в заслугу самому Констанцию. В конце концов последний начал столь серьезно воспринимать их восхваления, что уже упоминал как в речах, так и в эдиктах о «своей» победе под Страсбургом, об удачном расположении, в которое он поставил «свои» войска, о «своем» пленнике Хнодомаре⁷⁰. «Я выигрывал сражения, а он праздновал триумфы», — писал Юлиан с иронией, замешанной на горечи. Но поскольку все знали, что нога

Констанция уже много лет не ступала на землю Галлии, подобное бахвальство скорее подрывало собственный авторитет императора, нежели вредило Юлиану.

Тогда враги Юлиана прибегли к другой тактике. По мере того, как поступали новые сообщения о победах молодого цезаря, они начали осуждать его за жестокость и притеснения, которым он подвергал своих врагов⁷¹. «Бедные варвары! — стонали они. — Как жестоко он с ними обходится! На деле он сам ведет себя, как один из них. Какой позор для достоинства римлян!» Однако и это не имело успеха. Большинство считали, что «с дикарями, не соблюдающими законов войны, надо вести дикую войну и важны лишь результаты».

Тогда придворные стали оскорблять Юлиана. «Этот мнимый победитель на деле всего лишь смердящий козел! — вопили они повсюду. — Это пронырливый хвостун, обезьяна в пурпурной мантии, педантичный и женоподобный грек, трус, прикрывающий красивыми словами незначительность своих действий»⁷². Констанций хохотал, слыша эти злобные выпады, хотя и считал проявлением непочтительности сам факт, что одного из членов его семьи именовали «смердящим козлом».

Убедившись, что их нападки бьют мимо цели, некоторые из хулителей Юлиана, бывшие поумнее других, поняли, что лучшим способом настроить против него Констанция было не преуменьшение, а, напротив, безмерное преувеличение его заслуг. «Тогда они принялись с притворным восхищением говорить о Юлиане, о том, в каком плачевном состоянии находилась до него Галлия, и о безопасности и процветании, которые он ей принес. Они подчеркивали, что германцы разбиты, города восстановлены, пленные освобождены благодаря тому, что молодой принцепс проводит лето в военных походах, а зиму в делах управления»⁷³. Короче, они изо всех сил старались дать Констанцию понять, что на горизонте восходит новая звезда и ее свет вскоре затмит его собственную славу. Вот это действительно задело его за живое.

До сих пор Констанций щадил Юлиана, только надеясь на то, что Бог пошлет ему наследника. И он все еще ждал появления этого наследника. Однако все милости, оказанные им двоюродному брату, привели лишь к возвышению последнего. Скоро он будет в состоянии оспаривать у него право на трон. Невыносимое положение! Его благодушие имеет границы! Констанций решил не давать делу зайти слишком далеко, даже если придется прибегнуть к недостойным методам. Эти методы состояли в том, чтобы настроить против Юлиана администрацию Галлии, изолировать его

от друзей, лишить возможности обращаться к ним за советом, побудить королей варваров возобновить свои действия против него, но в то же время отобрать у него войска, которые будут нужны для отражения их нападений. Тогда посмотрим, что останется от его престижа!..

Подстрекательство вождей варваров к агрессии и отвод войск, расположенных в Реймсе и Лютеции, были со стороны Констанция настоящим преступлением, потому что речь шла об опасности возобновления германских набегов в Галлию. Однако из всех принятых им мер эту, возможно, было легче всего достойно объяснить окружающим.

Раз в Галлии царит мир — а не объявил ли об этом сам Юлиан? — то зачем держать там столь значительные военные силы? Тем более что успешные походы Шапура в Армению со всей очевидности требуют посылки подкрепления на Восток, а послать туда следует именно галлов, чтобы они заменили тех, кто попал в плен под Амидой. Короче, как сказал один современный историк, «интересы империи требовали, чтобы галльские легионы, которым больше не противостоял серьезный противник, внесли свой вклад в спасение восточных провинций»⁷⁴.

Этот аргумент можно было бы принять во внимание, если бы то, как Констанций начал приводить в исполнение свой план, не доказывало, что защита империи ни в коей мере не являлась его основной заботой.

XIII

Когда победитель Страсбургского сражения вернулся в Париж, ему пришлось столкнуться с целым рядом ограничений и противодействий.

По мере того как слава Юлиана разрасталась, в Лютецию стекалось все больше образованных и полных энтузиазма молодых людей. Они образовали вокруг цезаря подобие небольшого двора, как это уже было в Пергаме и Никомидии. «Они приезжали погреться в лучах его нарождающейся славы», — пишет Либаний. Среди них были философы, риторы, теурги, такие, как ливиец Евгемерий и элевсинский иерофант (которого Юлиан тайно вызвал из Афин)⁷⁵, ученые, как, например, Орибасий, которого Юлиан пригласил в Лютецию для того, чтобы тот имел возможность завершить составление обширной медицинской энциклопедии. Рядом с Юлианом был также некий галл по имени Саллюстий, получивший основательное эллинистическое воспитание. Он стал, можно сказать, наставником Юлиана. Будучи на 30 лет старше цезаря, Саллюстий сперва служил префектом Востока, а затем стал квестором Галлии. Это был мудрый и уравновешенный человек. Юлиан очень высоко ценил его и часто с ним советовался. Подстрекаемый Пентадием, принимавшим участие в убийстве Галла, Флоренций написал Констанцию донос на Саллюстия, обвиняя его в том, что он пытается настроить двоюродного брата императора против него. Констанций, довольный возможностью отобрать у Юлиана одного из тех людей, кто оказывал ему наибольшую поддержку, лишил Саллюстия должности и велел в 24 часа покинуть Галлию.

Юлиан воспринял опалу Саллюстия как жестокий удар. Его страдания были столь же сильны, как те, которые он испытал при разлуке с Мардонием. Он излил свою боль в сочинении под названием «Утешение на отъезд Саллюстия». Этот текст, составленный с редкой деликатностью, был написан им не для того, чтобы упрекнуть квестора за то, что тот его покинул, а затем, чтобы утешить самого себя в потере столь доброго друга. Юлиан упоминает в своем сочинении все трудности, с которыми им пришлось вместе столкнуться, их полное искренности общение, их состязание друг с другом в стремлении творить Добро. «После отъезда Саллюстия, — пишет в заключение Юлиан, — мне остается только беседовать с самим собой. С этих пор один лишь Бог будет моим советчиком и моей опорой»⁷⁶.

Не успел Саллюстий покинуть Лютецию, как Флоренций потребовал нового увеличения налогов под предлогом того, что финансовое положение Галлии уже улучшилось. Юлиан отказал ему с тем большей твердостью, что Саллюстий успел предупредить его перед отъездом, что финансовые чиновники постыдным образом наживаются за счет налогоплательщиков.

«И я должен буду терпеть, — с возмущением писал Юлиан, — глядя, как сотни несчастных будут отданы на растерзание этим вампирам? Разве не было моей обязанностью защитить их в тот момент, когда они уже пели лебединую песню из-за злоупотреблений этой щайки мошенников? Если меня ожидают несчастья из-за того, что я их защитил, и моя карьера в результате оборвется, то во всяком случае у меня будет чиста совесть в момент Великого перехода. Лучше делать добро в течение короткого времени, нежели творить зло в течение всей жизни»⁷⁷.

Вскоре за этим конфликтом последовало новое несчастье. Удар был тем более жесток, что, по видимости, он исходил не от императора, а от императрицы.

Елена, сестра Констанция, на которой Юлиан женился перед отъездом из Милана, была беременна. Эта новость вывела императрицу из себя. Поскольку она как никогда желала иметь наследника, сообщение о беременности Елены распалило ее ревность. Ведь у нее все еще не было ребенка. А Елена собиралась родить. И от кого? От того самого Юлиана, к которому она постоянно была благосклонна и над которым все время простирала крылья защиты? Это было выше ее сил. Она послала в Лютецию раба с корзиной фиг, которые, как она знала, были любимым лакомством ее невестки. Елена съела их. Спустя несколько дней у нее родился мертвый ребенок. Злые языки утверждали, что фиги были отравлены. Вспоминали также, что во время поездки Елены в Рим весной 357 года⁷⁸ Евсевия давала ей пить воду из источника, который славился тем, что делал женщин бесплодными, и говорили, что императрица была раздосадована, узнав, что эта предосторожность не произвела желаемого действия. Добавим сразу же, что ни одно из этих обвинений так и не было доказано...

Опала Саллюстия, ссора с Флоренцием, смерть ребенка — все эти несчастья, следовавшие одно за другим с очень небольшими перерывами, повергли Юлиана в уныние. Похоже, после периода успехов злая судьба вновь ожесточилась против него. Если Констанций сожалеет, что сделал его цезарем, почему бы не отослать его обратно в Афины? Он охотно вернулся бы туда...

Юлиан не боялся смерти. (Иногда утверждают даже, что он искал ее и именно это объясняет его необычайную храбрость на поле битвы.) В то же время его преследовали тяжелые предчувствия: он предвидел, что неведомая беда готова обрушиться на его голову.

Однажды ночью ему приснился странный сон, который он рассказал своему врачу Орибасию в следующих выражениях: «Я видел очень высокое дерево, растущее в просторном триклинии^[16]. Оно склонялось к земле. От его корней поднимался другой росток, пока еще маленький, но весь цветущий и покрытый молодыми почками. С грустью и страхом я подумал, что это слабое деревце может быть вырвано из земли вместе с большим. И когда я подошел ближе, то увидел, что большое дерево уже лежит на земле, в то время как маленькое еще стоит, хотя и слегка вытащено из земли. При виде этого моя тревога возросла. „Как жаль это прекрасное дерево! — воскликнул я. — Даже его отпрыску грозит смерть!“ И тут незнакомый голос сказал мне: „Посмотри получше и успокойся. Корни маленького деревца остались в земле, оно цело и невредимо и теперь только будет крепнуть“»⁷⁹.

Самое странное, что за несколько ночей до этого Орибасию приснился такой же сон. Он ответил Юлиану: «Существуют сны двух видов. Одни из них — всего лишь обманчивый туман, которому нельзя доверять. Другие же, как говорит Гомер, посылаются нам богами через Ворота из слоновой кости (так древние называли внутреннее ухо. — Б.-М.). В истинности этих снов нельзя усомниться. Твой сон принадлежит к снам второго рода. И его смысл ясен: старое дерево — это Констанций; молодой росток — это ты».

Ответ Орибасия несколько успокоил Юлиана. Однако в первых числах января 360 года в Эдессу прибыл легат Констанция по имени Децентий с императорским приказом к военачальнику Лупичину и начальнику цезаревых конюшен Синтуле. Через голову Юлиана, как если бы того вовсе не было, император приказывал Лупичину в кратчайшие сроки привести к нему для участия в весенней кампании легионы герулов, батавов, петулантов и кельтов, а также все остальные вверенные ему воинские части. Синтуле предписывалось немедленно выступить в путь с отборными частями гвардии, состоявшими из skutариев (щитоносцев) и гентиллов. Что до Юлиана, который при этом разом терял две трети своих лучших войск, то Констанций посчитал ненужным спросить его согласия или даже предоставить ему хотя бы малейшие объяснения. Он только направил ему записку, в которой сухим тоном предлагал не вмешиваться и тем более не пытаться противодействовать выполнению его приказа⁸⁰. Другими

словами, победитель Страсбургской битвы был унижен в глазах всех.

Это было уже чересчур. Давно собиравшаяся буря не могла не разразиться.

Весть о приказе Констанция распространилась по всей Галлии с быстротой молнии и привела всех в уныние. Во всех гарнизонах солдаты маленькими группками собирались во дворе своих казарм и потихоньку совещались между собой, что не предвещало ничего хорошего. Согласно контрактам, которые они заключили, их можно было призывать на короткое время для участия в военных кампаниях за пределами Галлии, однако в любом случае зимнее время они должны были проводить у себя дома, и никто не мог принудить их воевать за рубежом без их собственного согласия. В их глазах насильственный перевод войск на восточный фронт для участия в операциях, длительность которых трудно было заранее определить, был равносителен депортации. Во всех местах, в которых, согласно приказу, перед отправкой собирались войска, слышались жалобы. «Матери, родившие детей от солдат, — пишет Либаний, — показывали им новорожденных, которых они еще кормили грудью, и умоляли своих супругов не покидать их».

Юлиан оказался поставлен перед ужасающей дилеммой. Отказ от выполнения приказа Констанция означал открытый мятеж. Но исполнение приказа привело бы к не менее тяжелым последствиям. Если солдат заставят покинуть Галлию, то это может спровоцировать всеобщее восстание, которое несомненно повлечет за собой перемещение военных сил в провинции. Варвары воспользуются этим, чтобы возобновить набеги. Галлия вновь будет разграблена и опустошена — может быть, даже потеряна для империи...

Не зная, на что решиться, Юлиан послал отчаянное письмо своему врагу Флоренцию, подробно описав опасность создавшегося положения. Он заверил его, что «не переживет гибели этой прекрасной провинции», и просил срочно приехать в Лютецию для того, чтобы вместе обдумать ситуацию. Однако Флоренция, не забывший о том, как Юлиан отобрал у него власть в финансовых делах, отказался уехать из Вьенны под предлогом большой занятости.

Синтула уже выступил в путь с лучшими отрядами гвардии. Остающиеся в Галлии войска таяли на глазах. Не сумев встретиться с Лупицином, находившимся в Британии, где пришлось подавлять восстание пиктов, Децентий был вынужден передать приказ Констанция непосредственно Юлиану. По этому поводу они долго совещались.

Посланник императора предупредил Юлиана, что в случае любых попыток увильнуть от исполнения приказа тот утратит в глазах Констанция все преимущества, которые мог бы обрести в случае немедленного повиновения, и таким образом подтвердит те подозрения, которые уже имеются у его кузена. И напротив, если он поведет себя как преданный наместник, то вернет себе августейшую благосклонность⁸¹.

Совершенно сбитый с толку Юлиан покорился и решил последовать этому совету. Он написал Констанцию, что безропотно подчиняется его приказу и не собирается препятствовать его выполнению. Однако между Юлианом и Децентием начался бурный спор, когда дело дошло до выбора места сбора войск перед отъездом. Децентий настаивал на том, чтобы сбор войск происходил в Лютении. Юлиан умолял его не делать этого. Помимо того, что он считал это опасным, он прекрасно понимал, что подобный выбор был в первую очередь продиктован желанием унижить его самого. Это показало бы войскам, что он ничего больше не может для них сделать, что он лишен какой бы то ни было реальной власти. Наконец, чувствуя, что Децентий, видимо, получил инструкции лично от императора и не откажется от своего решения, Юлиан положил конец обсуждению, предоставив ему возможность действовать по своему усмотрению⁸².

Легионы уже волновались в казармах, где подстрекатели распространяли среди них призывы к восстанию. Одно из таких воззваний, найденное на полу казармы петулантов, дошло до наших дней в своем первоизданном виде. Оно гласит: «Нас погонят на край земли, как преступников или осужденных. Как только мы уйдем, все, кто нам дорог, вновь станут добычей алеманнов и попадут в плен, из которого мы их вырвали»⁸³. Эту листовку принесли Юлиану. Прочитав ее, он был потрясен. Он решил, что слишком быстро уступил Децентию, и упрекал себя, что недостаточно стойко защищал права своих легионеров.

Время шло, и недовольство военных передалось также гражданским лицам. Жены и дети отказывались расставаться со своими супругами и отцами. Они настаивали на том, чтобы сопровождать их хотя бы до Лютении. На всех дорогах, по которым проходили воины в сопровождении своих семей, ехавших в битком набитых повозках, собирались стенающие и причитающие толпы. Либаний пишет: «Повсюду стоял крик и плач. Галлы умоляли своих защитников не покидать их»⁸⁴.

Когда войска прибыли в пригороды Лютении, их ожесточение достигло предела. Они грозили поджечь казармы. По требованию Децентия, спокойствие которого стало уступать место страху, Юлиан

вышел к солдатам, чтобы попытаться их успокоить. Он говорил с ними доброжелательно на привычном для них языке, то и дело обращаясь к тем, в ком узнавал своих бывших соратников. Он напомнил им о победах, которые они вместе одержали, и призвал бодро двинуться в поход туда, куда их направляет император.

— Констанций вознаградит вас лучше, чем это мог бы сделать я, — сказал он. — Он может осыпать вас невиданными щедротами⁸⁵. Так вы найдете подле него достойное вознаграждение за все ваши жертвы. И я должен сообщить вам добрую весть: вам позволено взять с собой жен и детей. (Это была последняя уступка, вырванная у Децентия.) Их проезд будет оплачен за счет государства. Я предоставляю в ваше распоряжение все повозки и всех мулов императорской почты.

Затем, «желая проявить должное внимание к солдатам, отправляющимся в столь далекие края», он пригласил их командиров на ужин во Дворец терм.

— Так останемся же друзьями, — закончил он. — Отбросим прочь дурные мысли и несправедливые упреки!

Прощальный ужин состоялся в тот же день. Гости были тронуты тем, насколько ласково Юлиан обошелся с каждым из них. Он выслушал их жалобы, пообещал передать их императору и пожелал счастливого пути.

— Вы отбросили варваров за Рейн, — сказал он им под конец. — Отбросьте же их теперь и за Окс. Мне жаль лишь того, что я не могу идти вместе с вами...

Когда командиры когорт рассказали своим людям, с каким пониманием отнесся к ним Юлиан, горечь и стенания всех только усилились. «Все проклинали жестокую судьбу, которая отрывает их от столь доброго командира, а также от родной земли»⁸⁶.

Наступила ночь. Она не успокаивала, а все больше лихорадила умы. Внезапно в казарме петулантов раздался крик:

— Во дворец! Во дворец!

Все солдаты бегом бросились туда. Известие о бунте дошло до когорт, расположенных в других казармах, и они присоединились к общему движению. Безумствующая толпа из нескольких тысяч человек бросилась ко дворцу, где находился Юлиан. Каждый хотел поприветствовать его, поблагодарить, увидеть в последний раз; каждый надеялся, что в последнюю минуту он воспротивится их отъезду и найдет способ уладить дело. Вскоре бурлящая толпа солдат заняла четырехугольную площадь, которая соответствует нынешнему пространству между Сенной, улицей Сен-

Жак и бульваром Сен-Мишель. Они вопили, бушевали и требовали «своего Цезаря».

Запертый в осажденном дворце Юлиан решил, что солдаты считают его виновным в своей депортации и пришли, чтобы расправиться с ним. Вся эта суматоха напомнила ему ночь, когда была перебита вся его семья. Решив, что пришел его последний час, он велел позвать Евгемерия, Орибасия и элевсинского иерофанта, чтобы спросить их, стоит ли защищаться или лучше сразу дать себя убить. Посоветовавшись, эти трое посоветовали ему воззвать к богам и попросить их указать ему свою волю.

Юлиан оставил нам драматическое описание этой ночи, которую Либаний назвал «ночью священной». Чтобы предаться медитации, он ушел в комнаты своей жены, находившиеся на втором этаже дворца. Там его охватил глубокий сон. Во сне ему явился Гений-хранитель империи. Подойдя к Юлиану, он обратился к нему с упреком и грустно сказал:

— Юлиан, уже давно я тайно нахожусь в прихожей твоего дома, куда пришел, чтобы возвысить тебя. Много раз я чувствовал, что ты отвергаешь меня, и уходил. Если сегодня я опять не буду принят вопреки желанию большого числа людей, я уйду, охваченный печалью. Но запомни крепко в глубине твоего сердца: в этом случае я больше не останусь с тобой.

В это время солдаты продолжали блокировать все проходы. Их крики становились все громче и разбудили Юлиана. Не понимая, где он и что означает этот шум, он бросился к одному из окон, выходящему на площадь перед дворцом, и открыл его. Все еще стояла ночь. Он увидел перед собой толпу бунтующих людей, столпившихся на площадке, полого спускавшейся к Сене. Оттуда доносилось глухое ворчание, напоминавшее тяжелое дыхание дикого зверя. Внезапно раздался крик, моментально подхваченный тысячей глоток:

— Да здравствует Юлиан Август!

Только тогда Юлиан понял, что его осаждают не враги, а люди, желающие ему добра. До этого ничего подобного ему даже не приходило в голову. Он взглянул на небо и увидел звезду, излучавшую особенный свет в эту холодную зимнюю ночь. Это был Юпитер. Юлиан простерся перед ним и долго молился. Затем он вновь позвал Орибасия и элевсинского иерофанта. Он рассказал им только что увиденный сон, в котором ему явился Гений империи, а также упомянул титул, с которым к нему только что воззвали легионеры. Что произошло после этого? Совершили ли эти трое «одним им известный ритуал», как предполагает Евнапий⁸⁷? Этого никто никогда не узнает. У нас есть только то свидетельство, которое нам оставил Юлиан:

«Я испросил у Бога знак его воли. Он сразу же дал мне его. Он приказал мне не противиться воле солдат»⁸⁸.

И все же Юлиан боролся с собой. Когда взошло солнце, он предпринял отчаянную попытку успокоить разбушевавшихся людей и вышел на возвышение перед дворцом, чтобы обратиться к ним. Увидев Юлиана, легионеры рванулись к нему в таком неистовом порыве, что едва не задушили.

— После стольких счастливых побед, — крикнул он им срывающимся от волнения голосом, — постараемся не совершить никаких неверных поступков... Не допустим беспорядков, которые могут возникнуть в результате необдуманных действий...

Однако толпа так сильно напирала на него, что он уже едва мог дышать. Только через минуту ему удалось перевести дух.

— Перестаньте возмущаться, — продолжал он уже более ровным голосом. — Вы получите то, чего хотите, без споров и кровопролития. Раз сладость родины до такой степени привязывает вас, раз вы боитесь неизвестных путей и дальних стран, возвращайтесь по домам: вы не увидите тех заальпийских земель, которые вам так не по нраву. Я буду вам в этом гарантом. Я буду умолять за вас императора и добьюсь своего, потому что милосердный август охотно прислушивается к голосу разума⁸⁹.

Юлиан сделал шаг назад и смог вернуться во дворец, прошмыгнув в дверцу, которую за ним сразу же закрыли. Тем временем крики снаружи усилились. Бунтовщики окончательно разбушевались. Не этого они ждали от Юлиана! Почему он отказывается их понять? Их крики становились все более хриплыми, все более угрожающими...

К девяти часам утра, убедившись, что все усилия успокоить народ тщетны, Юлиан дал приказ открыть все большие двери дворца. Солдаты бросились внутрь и ворвались в зал Совета. Добравшись до цезаря, они подняли его над собой на щите и приветствовали, именуя августом. Впервые случилось так, что римского императора подняли на плечи на манер того, как это делали при избрании франкских королей. Однако со времен Диоклетиана порядок требовал, чтобы император был коронован венцом из металла, отличным от обычной диадемы цезаря. Юлиан, которому боги велели не противиться воле солдат, позволил им делать то, что они хотели, но сам воздерживался от активных действий. Когда они спросили его, есть ли у него диадема, он ответил, что нет. Тогда солдаты предложили позаимствовать «какое-нибудь украшение для шеи или головы, принадлежащее его супруге». Юлиан возразил, что женское украшение

было бы дурным предзнаменованием для начала царствования. Кто-то предложил металлическую цепь, так называемую «фалеру», которой конюшие украшали головы коней. «Это будет недостаточно благородно», — возразил Юлиан⁹⁰. Спор продолжался до тех пор, пока один из центурионов петулантов, возвышавшийся над толпой благодаря своему высокому росту, не положил конец его колебаниям. Отцепив золотое ожерелье, которое он носил на шее в знак того, что является носителем штандарта, он проскользнул за спину Юлиана и надел это ожерелье ему на голову. На этот раз, хотел он этого или нет, Юлиан был увенчан. Согласно обычаю он должен был объявить, что жалует каждому солдату пять золотых монет и литру серебра, чтобы отпраздновать свое восшествие на престол⁹¹. Только после этого солдаты согласились уйти.

«Я вернулся в свои комнаты, вздыхая из глубины души, — пишет Юлиан. — Пусть боги будут мне свидетелями! Нужно было, чтобы я слепо доверился знаку, который они мне послали. Но я не был счастлив. Я страдал от того, что не сумел до конца остаться лояльным по отношению к Констанцию»⁹².

Все произошло так быстро, что ему казалось, будто его унесло смерчем. Теперь он чувствовал нечто вроде запоздалого шока. Он заперся во дворце и отказывался видеть кого бы то ни было. Наедине со своей совестью он спрашивал себя, не поступил ли неправильно он сам и не действовали ли солдаты под влиянием минутного импульса. Прежде чем окончательно и бесповоротно принять титул августа, он хотел, чтобы армия тем или иным образом подтвердила его избрание...

Тем временем лихорадочное состояние солдат в казармах все возрастало. Ходили тысячи слухов, одни мрачнее других. Почему Юлиан не показывается? Как он может закрываться ото всех в столь торжественный момент? Этому могло быть только одно объяснение: подкупленные Констанцием чиновники держат его под стражей! Кто знает, может быть, его уже убили?..

Неожиданно в казарму петулантов ворвался придворный, служивший при доме Елены.

— Солдаты, легионеры, друзья! — закричал он. — Не предавайте своего императора в этот тяжелый час!⁹³

Из этих слов солдаты поняли, что Юлиан убит. Опьяненные яростью, они выбежали из казармы, обнажив мечи. «Они взломали ворота дворца и растеклись по лестницам и внутренним помещениям, нападая на слуг, на придворных и на представителей власти, попадавшихся им на пути.

Однако, добравшись до комнат императора, они увидели, что там все в порядке и ничто не свидетельствует о каких бы то ни было трагических событиях». Дойдя до зала Совета, они встретили отряд щитоносцев, который преградил им дорогу. Поскольку они грозили разнести все, если их не пропустят, командир щитоносцев сказал:

— Успокойтесь. Юлиан вас примет.

Это заявление успокоило их, так как, судя по нему, Юлиан был еще жив. Но когда ожидание затянулось, они решили, что их заманили в ловушку, и в бешенстве вновь начали кричать.

В то же мгновение двери открылись настежь. Они вошли в зал Совета, где их принял сам Юлиан, блистающий в новом одеянии августа. «Тогда, — пишет Юлиан, — их радость превратилась в исступление: они бросились обнимать своего императора, подняли его на руки и, казалось, полностью завладели им»⁹⁴. На этот раз в их воле нельзя было усомниться...

На следующий день Юлиан появился перед всеми войсками гарнизона, собравшимися на Марсовом поле. Погода была ясной, но холодной, и тонкая корочка белого инея блестела на помосте. Медленными шагами он поднялся по ступеням, ведущим на возвышение. Когда он обернулся, чтобы приветствовать солдат, его охватило сильное волнение. Мысленно он вновь пережил то, что произошло пять лет назад в Милане на церемонии его назначения цезарем. Но на этот раз на высоте помоста стоял он один. Тем не менее ему не было страшно. Победы, одержанные с тех пор, закалили его и придали ему уверенности. Впервые в жизни приветствие солдат предназначалось ему одному. Он почувствовал, что может рассчитывать на это море вооруженных людей, собравшихся вокруг своих штандартов, людей, возлагавших на него все свои надежды и облекавших его своим полным доверием.

— Солдаты! — начал он взволнованным голосом. — Я принимаю высшую честь, которую вы мне оказали. Я уверен в том, что правильно понимаю вашу волю, и клянусь вам, что вы не пойдете воевать за пределы Галлии, если не дадите на это своего согласия. Я также объявляю вам, что начиная с этого дня любое продвижение по гражданской или военной службе будет основываться исключительно на личных достоинствах человека. Рекомендации только принесут вред тем, кто будет их предъявлять. А теперь, друзья мои, да будет Бог к нам благосклонен!

При этих словах со всех сторон раздались приветственные крики. Солдаты стучали боевыми щитами о поножи. Юлиан закрыл глаза. В его памяти вновь возник тот грохот бури, который он слышал во время своего

назначения и который наполнил его душу радостной дрожью⁹⁵. Он держал глаза закрытыми до тех пор, пока все не стихло. Когда он вновь открыл глаза, то увидел, что вся армия протягивает к нему руки. Из двадцати тысяч глоток вырвался общий возглас:

— Да здравствует император Юлиан! Да здравствует Юлиан Август!
Ему только что исполнилось 29 лет.

На следующий день, когда волнение улеглось, Юлиан смог наконец серьезнее обдумать сложившуюся ситуацию. Положение его было весьма непростым. Легионы, провозгласившие его августом, разошлись по своим квартирам. В Лютеции, как и во всех основных городах Галлии, население одобряло переворот, совершенный военными. Узнав, что восстание удалось, skutарии и гентилы, двигавшиеся в направлении Орлеана, заставили Синтулу повернуть назад и возвратились в Лютецию. Спокойствие было восстановлено во всех уголках провинции...

Однако едва ли это могло успокоить Юлиана. Флоренций и Децентий спешно покинули Галлию и бросились в Константинополь, чтобы оправдаться перед Констанцием и убедить его в том, что не имеют никакого отношения к произошедшему. Их бегство повлекло за собой отъезд множества высших и средних чиновников, отсутствие которых парализовало управление. Вокруг Юлиана искусственно создавался некий вакуум. За пределами Галлии трое из четырех префектов империи: а именно префекты Италии, Африки и Иллирии, — заняли враждебную Юлиану позицию, считая его новым узурпатором.

Однако больше всего его заботило не это. Префекты, в конце концов, не более чем пешки в игре. Важнее было узнать, как отреагировал Констанций, получив сообщение, что гарнизон Парижа поднялся против него. Отношение императора во многом зависело от того, как ему будут представлены эти события. А Юлиан, естественно, не мог ждать от Флоренция и Децентия слов в свою защиту.

Зная болезненную недоверчивость Констанция, Юлиан сомневался, удастся ли ему когда-нибудь заставить его хотя бы допустить, что сам он ничего не делал для того, чтобы спровоцировать восстание, а был вынужден уступить воле солдат, дабы избежать рассеяния армии и потери Галлии.

Как мог он объяснить своему двоюродному брату, что ни в коей мере не претендует на трон? На первый взгляд, события свидетельствовали об обратном, и тем не менее это было так. Мысль о развязывании гражданской войны ради того, чтобы захватить власть, в буквальном смысле слова ужасала Юлиана. Он слишком хорошо сознавал трагические последствия подобных действий и был готов на любые уступки, лишь бы избежать их. Кроме того, он предпочел бы удовлетвориться, как и в прошлом, званием

цезаря. Единственное, чего он хотел от Констанция, так это отмены своего непродуманного приказа о переводе войск, который и стал причиной восстания, и предоставления ему, Юлиану, чуть большей независимости в управлении провинцией. Он хотел иметь право самостоятельно назначать военных и гражданских чиновников, осуществлять более непосредственный контроль за управлением финансами, получить из общественных денег суммы, необходимые для выплаты вознаграждения солдатам. До настоящего времени Констанций отказывал ему в этом, хотя подобные функции обычно соответствовали компетенции цезаря. Требования Юлиана не были чрезмерными. Они ни в коей мере не вредили интересам империи. Но независимо от того, согласится ли на них Констанций, ясно было одно: уже нельзя было оставить все по-прежнему и сделать вид, будто ничего не случилось. Иначе легионы вновь взбунтуются. И тогда они без колебаний откажутся от Юлиана и провозгласят августом кого-нибудь другого. В результате наступит время насилия, размах которого невозможно предугадать. Разве не мудрее пойти на компромиссное решение, прежде чем это случится? В надежде убедить Констанция Юлиан направил ему письмо, составленное в самом примирительном тоне. Он писал:

«Сделанный тобой цезарем и брошенный в самую гущу сражений, я вполне довольствовался предоставленной мне властью и, как верный слуга, посылал тебе частые отчеты о долгожданных успехах; я утруждал твой слух сообщениями о победах, но никогда при этом не ставил их себе в заслугу. Вместе с тем — и это могут подтвердить многочисленные свидетели — я всегда первым начинал трудиться и последним отдыхал. Однако — могу ли я написать это, не оскорбив тебя? — если, по твоему мнению, в эти дни [в Лютетии] произошел переворот, то это потому, что солдаты, бесплодно прожигая жизнь в частых и жестоких войнах, в конце концов привели в исполнение план, который давно лелеяли в душе. С дрожью нетерпения они искали для себя начальника, никому более не подчиненного, вместо цезаря, бессильного воздать им за труды и беспрестанно одерживаемые победы. К этому гневу солдат, не имевших никакой возможности продвижения по службе и даже не получавших регулярной платы за службу, внезапно добавилось новое горе: приказ отбыть в отдаленные регионы Востока — и это им, привыкшим к куда более умеренному климату. Их собирались оторвать от жен и детей и, нагими и нищими, гнать неизвестно куда. С ожесточением, какого нам никогда не приходилось прежде видеть, они собрались ночью и осадили дворец, криками провозглашая меня Августом. Услышав их, я ужаснулся.

Признаюсь: я пытался держаться в стороне от этого, сколько было возможно; я прятался, ища спасения в тишине и уединении. Потом, поскольку более тянуть время было невозможно, я вышел к ним с открытой грудью без доспехов в надежде успокоить их дружескими словами. Однако тогда их души разгорелись до такой степени, что, видя, как я пытаюсь уговорами сломить их упрямство, они так сдавили меня, что чуть было не задушили. В конце концов я сдался; я сказал себе, что если они меня убьют, то кто-нибудь другой с радостью даст провозгласить себя Августом, и я уступил им, отчаянным усилием пытаюсь утихомирить эту бурю.

Таковы факты. Соблаговоли прочесть мой рассказ спокойно и поверить в его правдивость. Не верь, будто все произошло не так. Отбрось предательские наговоры недоброжелателей, готовых сеять вражду между принципсами. Рассмотрю без предубеждения те условия, которые я тебе предлагаю, учитывая, что они направлены на пользу Римского государства и нас самих, ибо мы связаны в нем узами крови и высоким положением, на которое нас вознесла судьба. Сумей простить! Мои требования разумны. И мне нужно даже не столько, чтобы они осуществились на деле, сколько чтобы ты одобрил их как справедливые и разумные. Поэтому я буду с нетерпением ожидать твоих приказов.

Что до накладываемых мною на себя обязательств, то я ограничусь их кратким перечислением. Я предоставлю тебе испанских коней в полной упряжи и добавлю к skutариям и гентилам отряд молодых летов⁹⁶. Я беру на себя эти обязательства не только по доброй воле, но и с большим желанием угодить тебе. Да дарует нам твоя милость префектов претория, прославленных своими достоинствами и справедливостью. Что до прочих гражданских чиновников и командиров войск, то лучше оставить их выбор на мое усмотрение, так же как и выбор моей личной гвардии. Я проявил бы глупость, если бы, имея возможность избежать возобновления подобной смуты, окружил главнокомандующего армией людьми, о моральных достоинствах и настроениях которых мне ничего не известно...»⁹⁷.

Поскольку Юлиан боялся, что Констанций сочтет его скромность проявлением слабости, он одновременно отправил еще одно письмо, написанное совсем в другом тоне. Текст этого второго послания до нас не дошел. Но мы знаем от Аммиана и Зосима, что в нем нашли отражение все обиды на Констанция, накопившиеся в душе Юлиана со времен гибели его отца. Сопоставление этих двух писем должно было означать следующее: «Если ты хочешь мира, я предлагаю его тебе от всего сердца; но если ты хочешь войны, я принимаю вызов».

Юлиан дал первое письмо Пентадию, который служил шпионом у Констанция, а второе — Евтерию, своему верному постельничему⁹⁸. Он поручил им как можно скорее отвезти письма в Константинополь и вручить Констанцию лично в руки. Затем он вернулся к себе и стал ждать, что решит его двоюродный брат.

Пока Юлиан гадал, какова будет реакция Констанция, ему пришлось пережить еще одно горе: потерю супруги Елены. Эта утонченная женщина так и не оправилась после неудачных родов, случившихся в 358 году. С тех пор ее жизнь постепенно угасала. Скорбь из-за неизбежности вооруженного столкновения между мужем и братом, видимо, окончательно добила ее, Юлиан велел перевезти ее прах в Рим и похоронить подле ее сестры Констанции⁹⁹ в мавзолее, который до сих пор стоит у Номентанской дороги.

Так эти две столь различные женщины оказались похоронены в одной могиле. Одна из них была жестока и кровожадна; другая — чиста, добродетельна и нежна, как голубка. Однако их уход должен был привести к одинаковым последствиям. Смерть обеих произошла в момент, когда их супруги находились в открытом противостоянии с их братом. Смерть Констанции оставила Галла беззащитным перед мечом палача. Смерть Елены делала Юлиана более уязвимым под ударами, которые ему собирался нанести Констанций. Позднее, как бы для того, чтобы доказать, что пути Господни неисповедимы, Церковь канонизировала обеих, не делая различия между ужасными преступлениями одной и исключительными добродетелями другой...

XVI

Тем временем Пентадий и Евтерий направлялись в Константинополь. На протяжении всего путешествия через Италию и Иллирию они двигались очень медленно, потому что префекты этих областей ничем не пытались облегчить им тяготы пути, боясь прослыть сообщниками «узурпатора». Когда они наконец прибыли на берега Босфора, императора там уже не было. Пытаясь противостоять новому наступлению Шапура, он перенес свое местопребывание в Кесарию Каппадокийскую. Именно там особый курьер, посланный Флоренцием, сообщил ему о мятеже в Лютении.

После получения этого сообщения Констанцием овладел такой приступ ярости, что окружающие боялись, как бы его не хватил апоплексический удар. Его лицо стало багровым, глаза налились кровью, он метался по кесарийскому дворцу, произнося нечленораздельные звуки и размахивая руками, как сумасшедший.

У него всегда были подозрения! Юлиан — обманщик, властолюбец, предатель! Констанций проклинал тот день, когда сделал его цезарем вместо того, чтобы раздавить каблуком, как ядовитого скорпиона! И вот теперь он воспользовался его великодушием для того, чтобы спровоцировать против него военную смуту, в ходе которой провозгласил себя августом! Ему мало постоянно соперничать с ним в славе, он хочет оспорить у него трон? Неблагодарный! Неужели ему никогда не удастся покончить с Флавиями? Ведь Юлиан — такой же узурпатор, как и все остальные. Единственная разница заключается в том, что он слишком долго не снимал маску... Только одна мысль утешала Констанция: ему всегда удавалось уничтожать тех, кто бросал вызов его власти. То же будет и с Юлианом. Раз он сам спровоцировал Констанция, тот объявит ему войну, беспощадную войну! Он утопит в крови и его самого, и его сообщников! Ничей совет, ничье заступничество больше не остановит его карающую десницу...

Гнев Констанция был тем более силен, что за несколько недель до этого умерла императрица Евсевия и уже никто не мог оказывать на него сдерживающее влияние.

Когда Евтерий и Пентадий прибыли в Кесарию, ярость Констанция еще не улеглась. Увидев их, он вырвал из их рук послания Юлиана и прочел «с бешенством, заставившим их трепетать». После этого он громовым голосом велел им уйти, не желая слушать никаких

объяснений¹⁰⁰. Посланцы не заставили повторять приказ, боясь, что их казнят на месте.

Оставшись один, император внимательно перечитал оба письма. Овладев своими нервами, он обдумал послания и по их противоречивому тону решил, что Юлиан имеет самые худшие намерения в отношении его самого, но пока не осмеливается скрестить с ним мечи. Жаль, что именно сейчас его легионы заняты войной с Шапуром на Востоке и он не может вывести их из Сирии и перебросить в Галлию. Значит, нужно подождать. Но поскольку накал его страстей еще не утих, император повел себя очень неразумно. Вместо того чтобы притвориться, будто он согласен на требования Юлиана, Констанций послал ему резкое письмо, в котором возлагал на него ответственность за все произошедшее и разом отвергал все предложения. Написав письмо, Констанций поручил квестору Леоне отвезти его в Лютецию.

Было весьма маловероятно, чтобы Юлиан склонился перед ультиматумом. Констанций не строил иллюзий на этот счет. Однако посольство Леоны, за которым последовали многие другие¹⁰¹, вовсе не означало, что он пытается избежать войны. Император просто ждал момента, когда ослабление накала военных действий на месопотамском фронте позволит ему повернуть войска против Запада. Тогда уж он без колебаний двинется в Галлию, чтобы уничтожить нечестивца.

XVII

Получив от Леоны ответ Констанция, Юлиан понял, что надо готовиться к войне. «И все же, — пишет Аммиан, — он еще надеялся, вопреки всякой надежде, что этой братоубийственной войны удастся избежать».

Чтобы сохранить боеспособность своих войск и не дать им расслабляться в бездействии, он воспользовался последними летними днями и проинспектировал границы вдоль Рейна. Узнав, что восстали рипуарские франки, он ночью перешел через реку, внезапно напал на них, победил в бою и взял в плен их вождя Вадомара¹⁰². После этого короткими переходами он поднялся по Рейну до Базеля, где втайне принес жертву Беллоне¹⁰³.

На протяжении всего своего похода Юлиан с удовлетворением отмечал, что крепости находятся в удовлетворительном состоянии, гарнизоны полностью укомплектованы, а все города, ранее разрушенные варварами, либо полностью, либо почти восстановлены. Вся область представляла собой картину довольства и процветания. От устья Рейна до Констанцкого озера граница была столь основательно защищена, что внутренним областям провинции было нечего бояться. Юлиан мог повторить слова Юлия Цезаря: «*Gallia Germanis clausa*», что означало: «Галлия закрыта для германцев»¹⁰⁴.

Закончив инспекцию, Юлиан решил остановиться на зимних квартирах не в Лютеции, а во Вьенне. Лютеция находилась в центре провинции, и это расположение было выгодно до тех пор, пока речь шла о войне на Маасе или на Рейне. Теперь же Юлиану надо было держать под контролем альпийские ущелья и перевалы, где Констанций мог приготовить ему какую-нибудь досадную неожиданность.

Покинув Базель, Юлиан вместе со своей армией спустился вдоль долин Соны и Роны. Миновав Безансон, он в первые дни октября 360 года прибыл во Вьенну.

Шестого ноября в присутствии войск, собравшихся на берегу Роны, Юлиан отпраздновал пятую годовщину своего вступления в должность цезаря¹⁰⁵. Во время этого празднования, которое длилось много дней, он появлялся на людях «уже не как атлет, увенчавший себя победой на состязаниях, с лентой или узким золотым обручем на лбу, а гордо украсив свою голову сияющей драгоценностями диадемой». Мог ли он появляться в

другом виде перед теми, кто провозгласил его августом? Однако когда об этом донесли Констанцию, тот только укрепился в своем мнении, что никакого взаимопонимания между ним и Юлианом достигнуто быть не может.

По окончании этой церемонии Юлиан издал свой первый Эдикт о веротерпимости, которым признавал равенство всех религий. Несмотря на то, что он покуда сам себе запрещал носить императорский титул, он уже начинал действовать так, как положено императору.

Наконец 6 января 361 года он начал новый год с того, что присутствовал на празднике Крещения во Вьеннском соборе. Он принял участие в богослужении без колебаний, поскольку в его глазах крещение было не чем иным, как праздником апофеоза огня, который галилеяне позаимствовали у язычников. Что означают распеваемые певчими перед алтарем слова «Lumen de lumine» как не формулу «Пламя, рожденное от пламени» из митраистского гимна? Впрочем, случилось так, что участие в этом празднике стало его прощанием с Церковью, последней христианской церемонией, на которой он присутствовал...

В это время Констанций, находившийся в Антиохии, заключил третий брак с девицей-христианкой по имени Фаустина. Более чем когда-либо одержимый желанием иметь сына, император недолго носил траур по Евсевии.

XVIII

Во время своего пребывания в Базеле Юлиан принес жертву Беллоне¹⁰⁶. Однако он постарался, чтобы это осталось в тайне, «потому что, — пишет Аммиан, — он еще не был уверен в том, какой религии придерживаются его солдаты»¹⁰⁷. В то же время его первый Эдикт о веротерпимости должен был обеспечить ему всеобщую поддержку. Отныне христиане и язычники, православные и ариане имели право открыто исповедовать религию, приверженцами которой они были.

То, что сам Юлиан был солнцепоклонником, ни для кого не являлось тайной. Слухи об этом кочевали из казармы в казарму, завоевывая ему симпатии солдат, значительная часть которых состояла из приверженцев культа Митры. Однако его двусмысленное поведение сбивало их с толку. Язычник он или нет? Если да, то чего он ждет? Почему открыто не объявляет об этом? Поскольку легионеры не находили ответа на эти вопросы, их привязанность к Юлиану начинала ослабевать.

Орибасий, Евгемерий, элевсинский иерофант и другие пришли к Юлиану, чтобы поделиться своими опасениями.

— Берегись, Юлиан! — по очереди говорили они ему. — Действуя так, как сейчас, ты рискуешь вызвать отчуждение лучшей части твоих войск. Пришло время открыто объявить о своей вере. Ты ничего не потеряешь при этом, а обретишь все. Твое притворство не введет Констанция в заблуждение! Он уже давно составил мнение о тебе.

Юлиан молча выслушивал предостережения друзей. Как бы он хотел объяснить им причину своего поведения! Ни Орибасий, ни Евгемерий, ни элевсинский иерофант не могли себе представить, насколько ему самому хотелось поскорее сбросить маску. И если он не сделал этого до сих пор, то это было не из страха и не из-за слабости убеждений, а просто из осторожности. Прежде чем бросаться в битву с поднятым забралом, нужно было знать, как отреагирует армия, удостовериться в том, что разрыв с Константином окончателен, и восстановить декретом свободу вероисповедания. Теперь все эти условия были выполнены. Ничто больше не мешало сделать решающий шаг.

Он призвал во дворец жреца Митры и сообщил ему о своем желании получить крещение.

— Хвала богам! — ответил жрец. — Уже давно я жду от тебя этого поступка! Но это серьезный шаг, который свяжет тебя обязательством на

всю жизнь. Ты должен сначала пройти 21 день испытания — ты проведешь их в посте и молитве. После этого я сам буду крестить тебя кровью.

В религии Митры, как в армии, существовала строгая иерархия. Прежде чем достичь высших уровней, адепты религии должны были в обязательном порядке проходить ряд «ступеней». Ступени обозначались названиями, некоторые из которых выдают их азиатское происхождение: *Ворон, Скрытый, Воин, Лев, Перс, Посланник Солнца, Отец*. Учитывая то, что Юлиан носил титул августа и уже прошел посвящение в Пергаме, было решено удостоить его звания Посланника Солнца (*Гелиодрома*) и в течение одного дня дать ему посвящение пяти более низких ступеней.

По окончании обязательного поста Юлиана привели в святилище Митры, где его приняли великие жрецы. Святилище представляло собой удлиненный неф, свод которого поддерживали два ряда колонн по семь в каждом ряду. На каждой колонне были изображены знаки и цвета одной из семи ступеней посвящения. В глубине зала стояла статуя Митры, изображавшая Посредника в виде молодого человека во фригийском колпаке, вонзающего меч в шею быка. Присутствовали только солдаты и командиры. Юлиан был последовательно возведен в ступени Ворона, Скрытого, Воина, Льва и Перса, после чего ему была присвоена степень Посланника Солнца.

Наконец наступил торжественный момент крещения, или, точнее сказать, Тавроболии. Юлиана отвели в маленький восьмиугольный зал, где, после совершения им ритуального омовения, ему обрили все тело, кроме головы. Затем его отвели вниз по ступеням небольшой лестницы в темный подвал со столь низким потолком, что он едва мог выпрямиться в полный рост. Первые несколько секунд Юлиан ничего не видел. Он только чувствовал, что пол под его ногами не горизонтален, а слегка наклонен к одному из углов комнаты.

Когда его зрение привыкло к окружающему полумраку, он понял, что потолок в комнате решетчатый и сквозь отверстия в нем проникают узкие лучики света. Тут же у себя над головой он услышал торопливые шаги, сопровождаемые мощным дыханием. Несколько человек возились с животным, которое, судя по всему, сопротивлялось. Юлиан не мог ничего различить, но он знал, что это должен быть белый бык, семикратно омытый в водах Клитумна¹⁰⁸. Звук шагов замедлился; тяжелое дыхание участилось. Внезапно бык издал ужасающее мычание, и Юлиан услышал, как животное всем весом навалилось на решетку, служившую потолком его комнаты.

В то же мгновение он почувствовал, как горячая жидкость потекла ему на голову: это была кровь. Она бежала по лбу, по лицу, по плечам. Вскоре

все его тело оказалось покрыто подобием пурпурной туники. А кровь все текла, великолепная и дымящаяся. Это была не мертвая жидкость, а живая субстанция, в которой, казалось, была сосредоточена вся сила жизни.

Христианское крещение не оставило следа в жизни Юлиана. На этот же раз он почувствовал, что его охватывает необъяснимый опьяняющий восторг. Кровь ли текла на него или это был виноградный нектар? Он протянул руки к этому источнику силы и почувствовал, что таинственная мощь проникает во все поры его тела. Он провел ладонями по своим ставшим гладкими и блестящими бокам и начал танцевать. Он был одновременно палачом и жертвой, упругим виноградом и его сборщиком. Опьяневший от счастья, он отдавал себя, жертвовал себя и пропитывался этой животворящей жидкостью, этим эликсиром света. Победитель быка, он отождествлял себя с Митрой и чувствовал, что в нем зажигается свет тысячи солнц. В нем и вокруг него все стало пурпурным, и он ощущал, как в его жилах накапливается неведомая доньше энергия. Его плоть, его мышцы, кости наполнялись ею. Во время всех предыдущих посвящений его поражало и подавляло ощущение присутствия Бога. На этот же раз у него было ощущение триумфа.

Судорожное дыхание наверху прекратилось. Жертвенное животное умерло, но его тело продолжало трепетать на цементной решетке. Поток крови уменьшился, затем прекратился. В нижнюю комнату вошли два человека и поспешно отвели Юлиана в атриум, где погрузили в бассейн с очистительной водой. Они омыли его с ног до головы, предложили прополоскать рот, ноздри и уши. Затем ему дали полчаса отдохнуть.

Когда Юлиан вновь вышел на свет дня, он почувствовал себя обновленным.

Тем временем Констанций, не теряя ни минуты, начал подготовку к наступлению. Шапур понес тяжелые потери во время последнего набега и отошел за Евфрат, чтобы восстановить силы. Согласно всеобщим предсказаниям, он не мог возобновить наступление до начала весны. Это была та самая передышка, которой только и ждал Констанций. Он сразу же занялся подготовкой к походу на Запад. Император набрал новые войска в Паннонии и Иллирии, сконцентрировал обозы с провиантом в районе Приморских Альп и Констанцкого озера, велел своему посланнику Гауденцию передать приказ о введении военного положения на берегах Северной Африки и предоставить в его распоряжение запасы зерна из этих провинций. Одновременно он приказал флоту, находившемуся в Адриатическом море, блокировать Марсель и устье Роны. Наконец, он вступил в переговоры с некоторыми вождями алеманнов, побуждая их занять альпийские ущелья, прежде чем Юлиан успеет перейти через Альпы.

Эти подготовительные действия не оставляют сомнений относительно намерений Констанция. Он хотел запереть Юлиана в Галлии и затравить его, как зверя, используя совместные действия германских орд и имперских вооруженных сил¹⁰⁹. Юлиан сразу же понял, что ни в коем случае не должен позволить заблокировать себя в Галлии и что будет лучше перенести войну в другие области: в Италию, в Паннонию, в Иллирию или в Грецию в зависимости от того, где он встретится с войсками Констанция.

Однако согласятся ли солдаты идти за ним? В прошлом году, во время мятежа в Лютеции Юлиан выступил гарантом того, что «их никогда не принудят воевать за пределами Галлии, если на то не будет их собственного согласия»¹¹⁰. С того времени прошло всего несколько месяцев, и обстоятельства заставили его вспомнить об этом обещании. Как отреагируют солдаты? Опять восстанут или безропотно согласятся сделать для него то, в чем отказали императору? Чтобы узнать ответ на этот вопрос, он велел собрать войска на маневренном поле на берегу Роны. Надев на себя знаки отличия августа, он вышел к солдатам, сел на каменное сиденье и обратился к ним со следующими словами, произнося их все более ясным и властным тоном:

— Мои храбрые товарищи! Я прошу вас с благосклонным вниманием выслушать меня, чтобы я мог по возможности кратко рассказать вам, что я

решил делать.

Вместе с вами, по воле Бога небесного, я сумел остановить постоянные нашествия алеманнов и франков и положить конец их бесчинствам. Благодаря нашим общим усилиям я сделал так, что теперь римские войска могут свободно передвигаться по Рейну. Я поставил непроходимый заслон угрозам и нападениям могущественных народов, и это было сделано потому, что я опирался на ваше бесстрашие. Галлы, свидетели наших с вами совместных трудов, подняли голову после тяжких скорбей и долгих испытаний; они передадут славу о наших трудах последующим поколениям. Будучи благодаря вашему избранию возведен в ранг Августа, я хочу совершить великие дела при поддержке Бога и с вашей дружеской помощью. Последуйте же за мной, покуда еще есть время, по пути, который я считаю правильным, дабы предотвратить ожидающие нас трудности. Иллирийские провинции не защищены. Двинемся же туда без промедления. Займем окраинные районы Дакии: события подскажут нам после этого, что делать дальше...

По примеру командиров, которые верят в своих людей, я прошу вас поклясться мне в подчинении и верности. Что до меня, то все мои помыслы будут направлены на то, чтобы не совершать ничего безрассудного и не уступать слабости, так чтобы я мог доказать любому, кто потребует от меня подобных доказательств, что мною движет исключительно желание служить общим интересам. Вы слишком хорошо знаете меня, чтобы сомневаться в моих словах. И я вновь призываю вас в первую очередь быть бдительными в отношении того, чтобы никакие частные интересы не заставили вас прибегнуть к грабежу. Помните: нам принесло больше славы не то, что мы вдребезги разбили бесчисленных врагов, а то, что мы обеспечили спокойствие и благополучие провинций¹¹¹.

Юлиан замолчал и с бьющимся сердцем ожидал реакции солдат. В эти минуты должна была решиться его судьба. Легионеры молчали, как бы размышляя над тем, что только что услышали. А затем внезапно мощный крик пронесся над войском. В третий раз, после Милана и Парижа, Юлиан услышал мощный стук щитов о поножи. «Эта речь, — пишет Аммиан, — была воспринята всеми как пророчество небесного оракула. Все были возбуждены. Солдаты стучали по щитам и громкими криками приветствовали Юлиана, называя его титулами Великого стратега, Императора и Великого победителя царей и народов. Все они дали клятву, о которой он их просил. Солдаты сначала давали клятву, касаясь мечом своей головы, а затем обещали пожертвовать ему свою жизнь, сопровождая эти слова ужасной божбой. Все командиры, а затем все чиновники двора и

Дома принцепса повторили ту же клятву»¹¹² (июль 361 года).

Юлиан быстро отдал все необходимые распоряжения для того, чтобы покинуть Галлию прежде, чем вокруг него сомкнется вражеское кольцо. Его войско насчитывало около 25000 человек, и он разделил его на три корпуса. Первый в составе 12000 человек был поставлен под начало командира кавалерии Иовиния и должен был наступать через Северную Италию. Второй в составе 10000 человек под командованием Невитты должен был пройти по противоположным склонам Альп и пересечь Рецию и Норик. Сам Юлиан возглавил третий корпус, насчитывавший только 3000 человек, но состоявший из отборных войск. Он рассчитывал пройти с ними через Базель и, миновав Черный лес, выйти к Дунаю. После этого три корпуса должны были соединиться в районе столицы Паннонии Сирмия.

Прибыв в Базель, Юлиан вновь принес жертву Беллоне и посоветовался с авгурами. Те заверили, что его ожидает победа, а «враги растают при его приближении подобно тому, как в горах тает снег при приближении весны». На этом основании Юлиан сделал вывод, что Гелиос благосклонен к нему и, пренебрегая обычными предосторожностями, полностью доверился тому, что самый знаменитый капитан нашего времени называл «своей звездой».

Интересно, что историки — даже те из них, кто настроен к Юлиану весьма враждебно, — считают его поход через Северную Италию «одной из наиболее замечательных экспедиций, описанных в военных хрониках»¹¹³. Они описывают, как его орлы^[17] «перелетали из города в город»¹¹⁴, а его армии — в первую очередь кельты и петуланты — совершали молниеносные переходы через наиболее населенную и наименее укрепленную часть империи.

Юлиан покинул Вьенну в начале августа 361 года. 10 октября он ночью высадился в Бононии, овладев до этого дунайским флотом.

Бонония представляла собой небольшую крепость в Паннонии на расстоянии шестичасового перехода от Сирмия. Здесь располагался военный лагерь, которым командовал начальник кавалерии Луцилиан. Победить Луцилиана, отличного военачальника, в открытом поле было нелегко. Но тем более опасно было позволить ему укрыться вместе с войском за стенами Сирмия. В этом случае пришлось бы осаждать город, а за это время успела бы подойти армия Констанция. Юлиан решил пойти на риск. Он приказал когорте пехотинцев ночью проникнуть в Бононию, захватить Луцилиана и доставить к нему живым или мертвым. Эта операция была быстро осуществлена. Ни о чем не подозревавший

Луцилиан спокойно спал. Солдаты внезапно разбудили его, стащили с постели и велели следовать за ними. После недолгого сопротивления Луцилиан сдался. Связанного, его посадили на коня и привезли к Юлиану.

Когда освобожденный от пут Луцилиан предстал перед цезарем, он, весь дрожа, бросился к его ногам. Юлиан поднял его и заверил, что ему нечего бояться. Луцилиан успокоился от такого доброжелательного обращения, но, когда уяснил себе, сколь мало сопровождающее Юлиана войско, не удержался и сказал ему:

— Безрассудно с твоей стороны вторгаться на чужую территорию со столь малым числом людей.

— Прибереги свои призывы к осторожности для Констанция, — сухо ответил ему Юлиан. — Я позволил тебе поцеловать пурпур моего плаща не для того, чтобы выслушивать твои советы, а для того, чтобы успокоить твой страх¹¹⁵.

На следующий день Юлиан двинулся к Сирмию, считая его «уже почти завоеванным городом»¹¹⁶. Предстоящая операция требовала большой отваги, ведь Сирмий был хорошо укреплен, его защищали 10000 пехотинцев и батальон лучников. Однако Юлиан считал, что его «поддерживает дыхание богов», которые убирают все препятствия с его пути. И вновь свершилось чудо.

Узнав, что Юлиан находится всего в нескольких стадиях от города, население Сирмия буквально возликовало. Молодые люди бегали по улицам, крича: «Вот он, *Гелиодром*, Посланник Солнца!» Услышав эти слова, жители и гарнизон вышли из города и двинулись через пригороды навстречу Юлиану, желая поприветствовать молодого императора. Каждый хотел увидеть его и прикоснуться к тому, кто, как они слышали, совершал великие чудеса и шел вперед, окруженный ореолом таинственных сил. Как написано в источниках, его встретили «с факелами и цветами» и с триумфом отвели в императорский дворец.

Спустя 48 часов к нему присоединился Невитта.

Следует сказать, что стремительному продвижению Юлиана во многом способствовало то, что ему не пришлось дать по пути ни одного сражения. За исключением легионов, охранявших придунайские границы, основные силы Констанция все еще были скованы в Азии. Тем не менее, Аммиан пишет, что Юлиан «много раз подвергал себя исключительной опасности». Несомненно, он не раз оказывался в тяжелом положении. Однако каждый раз он умел повернуть ситуацию в свою пользу и, можно сказать, не нес потерь.

Откуда взялась у сына Юлия Констанция такая отвага? Дело в том, что он считал себя всего лишь орудием воли богов. Любая проволочка, любое сомнение были в его глазах не военной тактической ошибкой, а проявлением недостаточной веры в защищающие его силы. Он же пообещал своим солдатам «никогда не совершать ничего безрассудного и не уступать слабости»¹¹⁷. Но можно ли быть безрассудным, зная, что Солнце воюет на твоей стороне? Когда он подходил к какому-либо городу, то слышал, что тот «уже завоеван». Он посылал в него на разведку небольшой отряд, чтобы известить о своем приходе. И тотчас все жители выбегали ему навстречу, открывали ворота, и ему оставалось только занять стратегически важные пункты. Его молодость, блеск и очарование довершали остальное. Поражительным примером этого был Сирмий. Но то же самое повторялось и в других местах.

Дело в том, что империя устала от Констанция. После бесконечной зимы его правления люди видели в Юлиане провозвестника обновления. Однако вдохновляющий прием, который ему везде оказывали, не заставил его потерять голову. Его вера в поддержку богов нисколько не мешала ему принимать меры предосторожности. Подобно тому, как он не покинул Галлию, пока не убедился в незыблемости прирейнской оборонительной линии, он не ринулся безрассудно на Константинополь, не укрепив границы вдоль Дуная. Он не хотел получить удар в спину в тот момент, когда наконец столкнется с основными силами Констанция. Пользуясь последними ясными днями октября, он с быстротой молнии пересек Мезию, прибыл на берега Дуная, произвел инспекцию крепостей, воздвигнутых в свое время Траяном, отдал приказ усилить некоторые из них, а также построить несколько новых, и форсированным маршем спустился к Па-де-Сукс (Траяновым вратам).

Это ущелье, отделяющее Родопы от Гема, не только было границей между иллирийскими провинциями и Фракией, но и представляло собой рубеж между Римским Востоком и Римским Западом. С высоких горных цепей, легко преодолимых с иллирийской стороны, но крутых и почти непроходимых с фракийской, можно увидеть пространство Запада вплоть до Юлийских Альп и пространство Востока вплоть до Пропонтиды и Босфора¹¹⁸. Юлиан хотел поскорее вновь встретиться с морем, бывшим колыбелью его детских мечтаний. Тем не менее он остановился и даже не пытался идти дальше. Он не рвался во Фракию, где ему предстояло столкнуться с хорошо укрепленными городами, такими, как, например, Филиппополь или Адрианополь, где Констанций разместил большой контингент войск для защиты подступов к столице¹¹⁹. Юлиан считал, что на данный момент достаточно занять Па-де-Сукс и разместить в нем гарнизон под командованием Невитты¹²⁰. Затем, вернувшись назад, он решил на время обосноваться в городе Наиссе.

Доказав поначалу немислимую отвагу, не грешил ли он теперь излишней осторожностью? Нисколько. Юлиан знал, что силы, которыми он располагает, включая кельтов и петулантов, слишком малы в сравнении с войсками Констанция. При таких условиях первостепенное значение имело то, будет ли население настроено в его пользу или против него.

Юлиан прекрасно понимал это. Поэтому он посвятил конец октября написанию посланий, задачей которых было обеспечить себя союзниками среди правящих кругов Греции и Италии. До нас полностью дошло только одно из этих посланий. Это — *Послание Сенату и Народу Афин*, В этом тексте, очень важном для понимания мыслей и действий Юлиана, победитель Страсбургского сражения не ограничивается оправданием своих действий, а предъявляет настоящий обвинительный акт Констанцию, перечисляя все несчастья, которым подверг его император. Он не забыл ничего: ни убийства его семьи, ни конфискации имущества, ни заточения в Мацелле, ни убийства Галла. Это уже совсем не тот тон, каким был написан панегирик в Сансе, и понятно, почему Констанций считал это письмо объявлением войны!

Обрисовав в общих чертах плачевное положение дел в Галлии при его приезде, Юлиан заявляет: «Подробный рассказ о том, что я сделал за эти четыре года, занял бы слишком много времени. Я подведу лишь итог. Когда я был еще только цезарем, я трижды перешел через Рейн. Я добился возвращения 20000 пленных, которых варвары удерживали на другом берегу реки. Два сражения и одна осада¹²¹ позволили мне захватить тысячу

пленных, причем не тех, кого возраст делает неспособными к службе, а молодых и крепких людей¹²². К тому моменту, когда я пишу вам это послание, я, благодаря богам, отвоевал у варваров все города, которые мы ранее потеряли. Тогда (то есть до восстания в Лютееции. — Б.-М.) я отвоевал их почти сорок...»

А как он вел себя по отношению к Констанцию?

«Я послал ему четыре батальона отличных пехотинцев, еще два несколько менее подготовленных и два эскадрона отборной конницы... Пусть Зевс и все боги-покровители нашего благородного Дома будут мне свидетелями: мое поведение по отношению к нему было безукоризненно; оно было таким, каким я хотел бы видеть поведение моего сына по отношению ко мне. Я относился к Констанцию с таким уважением, с каким ни один цезарь не относился ни к одному из его предшественников...»

И какова же была награда?

Притеснения, грубые отказы в просьбах, постоянная угроза смерти! Хуже того: отказ удовлетворить законные требования, желание запереть его в Галлии, «как зверя в логове», безнравственный союз с вождями варваров, по условиям которого они должны были спуститься к Альпам, чтобы помочь задушить его!

«Таковы были, о афиняне, — восклицает в заключение Юлиан, — таковы были мои размышления, которыми я поделился со своими братьями по оружию, а нынче излагаю письменно, чтобы все эллины могли с ними ознакомиться. Пусть боги, владыки всего в мире, и далее оказывают мне ту помощь, которую они мне обещали. Да помогут они Афинам получить те благодеяния, которые я буду в состоянии оказать этому городу, и да пошлют ему впредь таких императоров, которые смогут оценить достоинства Афин и будут выказывать им свое благорасположение!»¹²³

Юлиан отдал один экземпляр этого письма элевсинскому иерофанту и попросил как можно скорее доставить его в Афины, чтобы жители города узнали о его намерениях.

Затем он направил сходные письма лакедемонянам, коринфянам, жителям Пелопоннеса, иллирийским городам, а также Римскому сенату и армиям, расположенным в Италии. Во всех этих письмах он защищал свое дело и во всеуслышание перечислял свои претензии к Констанцию. «Через посредство эллинов, — пишет Либаний, — он обращался ко всему человечеству, составляя каждое из своих посланий так, чтобы приспособить его к настроениям тех, кому оно предназначалось»¹²⁴. Так что психологическая война уже тогда предшествовала вооруженным

столкновениям...

Однако вооруженное столкновение должно было произойти. Волнение, вызванное письмами Юлиана, распространилось по всему Востоку. Если где-нибудь собиралось несколько человек, то они говорили только о нем. Никогда еще Констанцию не приходилось иметь дело со столь опасным противником! Констанций находился в Эдессе, когда узнал о прибытии Юлиана в Наисс. Эта новость едва не убила его. Все надежды запереть Юлиана в Галлии пошли прахом! Он ускользнул, как угорь, и внезапно появился у самых ворот Востока! На этот раз Констанций понял, что нельзя терять ни дня, если он хочет помешать Юлиану войти в Константинополь. Оставив в Месопотамии лишь сокращенный контингент войск, он решил дать бой «узурпатору» во Фракии и реквизировал все средства сообщения для перевозки своих солдат. Им предстоял долгий путь, ведь для того, чтобы достичь Босфора, надо было пройти через Антиохию, Тарс и Никомидию. Констанций боялся, что продвижение будет недостаточно быстрым и Юлиан опередит его. Поэтому он послал вперед Арбециона во главе авангарда, составленного из копейщиков, нескольких батальонов легкой пехоты и вспомогательного корпуса. Они должны были перекрыть Юлиану дорогу во Фракию. Одновременно Констанций приказал комиту Марциану собрать в один армейский корпус все гарнизоны, рассредоточенные к северу от Константинополя и двинуться с ними на Па-де-Сукс.

Одновременно с известием о том, что солдаты Констанция сосредоточиваются на его пути, чтобы преградить ему дорогу во Фракию, Юлиан получил тревожную весть из Сирмия.

Когда он прибыл в столицу Паннонии, гарнизон города вместе со всеми жителями приветствовал его как триумфатора. Однако затем, в результате тайной работы агентов Констанция, настроения гарнизона переменились. Сначала Юлиан думал присоединить два легиона гарнизона Сирмия к своему слабому войску (ибо даже после прибытия Невитты оно насчитывало не более 13000 человек, а 12000 солдат Иовиния запаздывали, застряв где-то в Италии). Однако от этой идеи пришлось отказаться. Легионеры не только пытались подбить население города к восстанию, но даже начали переманивать на свою сторону солдат Невитты. Чтобы устранить возможность смуты, Юлиан решил перевести гарнизон Сирмия в Галлию. Но такая перспектива отнюдь не радовала иллирийских легионеров. Прибыв в Аквилею, они отказались идти дальше и начали строить баррикады. Этот акт неповиновения был тем более опасен, что окрестное население встало на их сторону и объявило о своей «верности Констанцию»¹²⁵. Если бы это движение распространилось, оно могло привести к неповиновению всю Италию.

Между тем прибывший гонец сообщил Юлиану, что кавалерия Иовиния наконец перешла через Юлиевы Альпы и быстрым маршем вступает в Норик. Юлиан велел им срочно развернуться и идти в Аквилею, чтобы подавить мятеж. Жертва необходимая, но весьма достойная сожаления! После того как пришлось отказаться от присоединения к войску двух легионов из Сирмия, Юлиан лишился поддержки армии Иовиния, прибытия которой ожидал с огромным нетерпением. Может быть, боги начали оставлять его? Может быть, исчезло то дыхание весны, которое, как его уверяли, должно было «растопить его врагов, как солнце растапливает снег»? Пока что его собственная армия таяла на глазах, а силы Констанция росли день ото дня. Выйти на бой с 60–80 тысячами человек, имея всего лишь 13000 пехотинцев, было немислимо рискованным делом. Тем более что на этот раз речь шла не о варварах, а о солдатах, столь же опытных и хорошо организованных, как его собственные...

Похоже, что в этот момент Юлиан позволил себе впасть в уныние. И это понятно: любому непредвзятому наблюдателю было ясно, что у него не

более одного шанса из тысячи избежать поражения и гибели. Если не свершится чудо, он погиб...

Юлиан так хорошо понимал это, что постоянно советовался с авгурами. Те говорили ему странные и непонятные вещи, уверяя, что «он одержит верх над врагами, не пролив ни капли крови». Из всех возможных предположений это казалось наименее вероятным. Его одолевали тысячи вопросов: может быть, боги столь часто оказывали ему поддержку лишь для того, чтобы потом внезапно оставить? Может быть, они позволили ему уйти из Галлии, чтобы дать сгинуть, как загнанному зверю, в ущелье между Гемом и Родопами? Эта мысль была столь невыносима, что он отказывался допустить ее возможность. Не впал ли нынче он, считавший любое сомнение недостаточным проявлением веры, в грех неверия, позволяя себе сдаться только из-за того, что на горизонте собрались тучи? Чего он боится? Богам не в чем упрекнуть его. «Почему, собственно, я пришел сюда? — писал он позже своему дяде Юлиану¹²⁶. — Разве не из-за того, что боги однозначно приказали мне сделать это и обещали благополучие, если я подчинюсь, ибо им никогда не удалось бы свершить того, что они хотели, если бы я не двинулся с места?»¹²⁷ Юлиан множил число молитв и соответствующих случаю жертвоприношений не только для того, чтобы почтить богов, но и для того, чтобы поддержать собственное мужество. «Мы совершаем открытое поклонение богам, — писал он Максиму Эфесскому, — и вся следующая за мной армия состоит из их почитателей... Боги говорят, что я пожну благие плоды моих усилий, если не уступлю слабости. Повтори это тем, кто тебя окружает»¹²⁸.

Да: не уступать слабости — в этом было все дело! Конечно, если принимать во внимание только численность войск, Юлиан не мог не быть разбит. Однако сводить все только к материальному аспекту, несомненно, было бы недопустимой ошибкой. Другие силы, бесконечно более могущественные, хотя и невидимые, участвуют в сражениях и воюют на его стороне. Они не могут бросить его в беде, его, почитателя Гелиоса, Посланника Солнца! Они пошлют ему в нужный момент всех архангелов света, чтобы помочь в борьбе, которая является лишь эпизодом в извечном столкновении между светом и тьмой, между Добром и Злом!¹²⁹

Боясь оказаться в окружении в Паннонии, если комит Марциан первым придет на место, Юлиан решил двигаться вперед, не дожидаясь возвращения Иовиния, продолжавшего осаду Аквилеи в Италии. В сопровождении 13000 человек Юлиан смело прошел Па-де-Сукс и спустился во Фракию, полный решимости вступить в бой с силами

Констанция, где бы они ему ни встретились.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ЗЕНИТ

И вновь две половины империи противостояли друг другу. И вновь мир должен был стать свидетелем одного из тех судьбоносных столкновений, которые, подобно раскатам грома, отмечали основные вехи четырех столетий римской истории. Так же, как перед битвой при Фарсале¹ и перед битвой при мысе Акций², мир затаил дыхание и ждал, что принесут грядущие события. Конечно, войско Юлиана нельзя было даже сравнить с теми силами, которые в свое время Цезарь двинул против Помпея, а Октавиан против Антония. Но ставка в предстоящей битве была та же. От ее исхода зависело, выживет или погибнет империя, сгинут или восстанут к новой жизни древние боги.

Юлиан двигался по дороге на Филиппополь в окружении группы посыльных и офицеров своего штаба. Армейский корпус Невитты следовал за ним на небольшом расстоянии. Неожиданно Юлиан увидел скачущего навстречу незнакомого всадника. Когда он услышал цокот копыт по дороге, его сердце сжалось, потому что в его жизни этот звук был неизменно связан с крутыми поворотами судьбы.

Всадник спешил и подал Юлиану письмо. Оно пришло из Восточной армии. Когда Юлиан прочитал его, он побледнел и, чтобы не упасть с коня, вцепился в поводья: командующий личной гвардией императора Иовиан официально извещал Юлиана о том, что в Мопсукрене, в Киликии, только что скончался император Констанций (3 ноября 361 года). От себя Иовиан добавлял, «что все азиатские провинции полностью подчинены его воле и хотят лишь одного: повиноваться наследнику престола»³.

Даже если бы молния ударила в землю у ног Юлиана, она не ошеломила бы его так сильно. Значит, боги говорили правду, когда предсказывали, что «он одержит триумфальную победу над врагами, не пролив ни капли крови»! Значит, он избавлен «от необходимости по своей воле или по стечению обстоятельств совершить то, что невозможно исправить»⁴.

Смерть Констанция коренным образом изменила ситуацию в империи. Столкновение, которое могло уничтожить мир, не состоялось. Разя направо и налево своим сверкающим мечом, Гелиос устранил одного за другим всех наследников мужского пола, стоявших между Юлианом и тронном: сначала Юлия Констанция, Далмация и Ганнибалиана; затем сыновей Константина

Константа и Константина II; потом Галла. И наконец самого Констанция, который умер, не оставив наследника. Не применив силу, не пролив крови и даже не вступив в битву, Юлиан стал августом по законному праву наследования. Ему недавно исполнилось 30 лет. Было от чего потерять голову...

Тем не менее его лицо отнюдь не выражало радости. Скорее он выглядел мрачным или, лучше сказать, скорбным, потому что в тот момент, когда он вступил в права власти, он понял, что этой власти он никогда не желал⁵.

Этому было бы трудно поверить, если бы не свидетельства непосредственных очевидцев. Они писали, что у Юлиана было много оснований для меланхолии. Во-первых, ему казалось слишком тяжелой задачей взять на себя решение судеб человечества. Вслед за Платоном он считал, что «надо быть богом, чтобы править людьми, потому что различия между человеческими существами слишком малы для того, чтобы кто-то один мог приказывать, не принуждая, или заставляя повиноваться себе, не вызывая споров и возражений».

Кроме того, необходимость отказаться от занятий философией, посредством которой он рассчитывал обессмертить свое имя, казалась ему непомерным наказанием. Он считал, что лучше остаться в памяти людей в одном ряду с Пифагором, Платином и Ямвлихом, нежели в ряду правителей государства, поведение которых, за незначительным исключением, сам он всегда осуждал. Разве не он говорил, что из всех греков наибольшее влияние на последующие поколения оказал Сократ, который никогда не командовал гоплитами?

Однако он быстро прогнал от себя эти грустные мысли. Он был последним из рода Флавиев, «династии, которой был обещан скипетр славы». Одно это накладывало на него обязанности, не известные другим. Для него восхождение на трон было жертвой, которую он не имел права не принести. Его отказ означал бы крушение всего. Опять появилось бы множество узурпаторов, оспаривающих друг у друга империю и разрывающих ее на части.

Стоявшие вокруг Юлиана командиры штаба и посыльные внимательно вглядывались в его лицо, пытаясь разгадать его намерения. Их вопрошающие взгляды разогнали последние сомнения. Спустя несколько мгновений он принял решение.

Все войска, собранные против него Констанцием, как по волшебству, перешли под его командование. Своим именем он мог заставить вчерашних врагов повиноваться, мог сурово наказать их, если они выйдут из

повиновения.

Юлиан подозвал к себе одного из военных, начертал несколько слов на листе пергамента и велел отвезти это послание комиту Марциану. Это был приказ развернуть все находящиеся во Фракии легионы и вернуть их на их обычные места расквартирования. Затем он приказал Невитте следовать вместе с ним в Константинополь, дорога к которому отныне была для него открыта.

Под звуки труб, с развернутыми знаменами, Юлиан быстрым маршем подошел к Пропонтиде. Его продвижение через Фракию почти сразу приняло характер триумфального шествия. Повторилось чудо, произошедшее после его прихода из Галлии в Паннонию. Миновав Филиппополь и Адрианополь и присоединив к себе размещенные там войска, Юлиан вышел на берег моря в районе Гераклеи-Перинфа.

Аммиан Марцеллин сообщает следующее: «Когда известие о его прибытии достигло Константинополя, горожане и горожанки всех возрастов выбежали за пределы стен города, как если бы они встречали посланника небес. На третий день декабрьских ид (11 декабря 361 года) он торжественно въехал в город, приветствуемый почтительными речами Сената и восклицаниями толпы, счастливо праздновавшей воцарение первого императора, родившегося в Византии⁶. Его сопровождал эскорт из военных и горожан, в то время как толпа взирала на него с глубоким восхищением. Действительно, и сам принцепс, невысокого роста, едва достигший зрелого возраста; и его великие подвиги, снискавшие ему славу победителя народов и царей; и его молниеносные передвижения от города к городу, где он, как победитель, постоянно черпал новые ресурсы и силы; и то, как мгновенно, подобно пожару, его власть распространялась от провинции к провинции и, наконец, та Высшая власть, что была им получена как бы по божественной воле, — все это казалось скорее сном, чем реальностью»⁷.

II

Поселившись в императорском дворце, Юлиан получил одно за другим три послания. Первым было письмо от философа Фемистия, которое он быстро пробежал глазами:

«Ты поставлен Богом на высоту, на которой до тебя были Геракл и Дионис, философы и цари одновременно, очистившие землю и море от распространившихся в них зол. Гони от себя любую мысль об отдыхе и развлечениях. Вспомни о великих законодателях прошлого... Мир ждет, что ты сможешь их превзойти...»

Юлиан положил письмо на стол и взял второе. Оно пришло от Иовиния. Командующий вторым армейским корпусом сообщал, что подавил мятеж в Аквилее и что вся Италия на стороне нового императора, а сам он вскоре прибудет к Юлиану.

Третье письмо пришло из Малой Азии. Это был подробный отчет об обстоятельствах кончины Констанция.

Когда Констанций узнал, что Юлиан появился в Сирмии, он думал лишь об одном: обогнать Юлиана и остановить его продвижение. Констанций приехал из Эдессы в Антиохию и собирался немедленно следовать дальше. Боясь, что император не перенесет тягот дальнего пути, ближайшее окружение изо всех сил старалось отговорить его от поездки. Но охваченный болезненным лихорадочным возбуждением Констанций не желал никого слушать. Несмотря на то, что ему было всего 44 года, он преждевременно состарился. Если верить Аммиану, усталость от непрерывной борьбы с узурпаторами и парфянами полностью разрушила его душевное равновесие. Его тело иссушила нервическая лихорадка, его движения и речь иногда бывали несвязными.

Не желая оставаться в Антиохии, он отправился в Тарс, думая, что «передвижение во время путешествия принесет ему пользу». В Тарсе у него случился сильный приступ лихорадки. Однако он уже не был в состоянии остановиться и сразу же поехал в Иконий. Когда он прибыл в Мопсукрену, последний пункт перед переходом через Тавр, у него случился новый приступ. На следующее утро он попытался встать и упал на землю. Телохранителям пришлось поднять его и перенести на постель. Наконец уразумев, что его положение крайне тяжелое, он потребовал к себе епископа Антиохии Евсоя для того, чтобы тот совершил над ним предсмертный обряд крещения. Как только священник ушел, началась

агония. Окружающим показалось, что в бреду Констанций пробормотал: «Юлиан... наследник...» Спустя несколько мгновений он скончался.

Главный постельничий Евсевий и некоторые из членов ближайшего окружения императора сразу же стали отрицать, что тот произнес имя Юлиана и тем более назначил его наследником престола. Они начали подыскивать другую кандидатуру. Однако идея династической преемственности была столь сильна, что никто не захотел участвовать в этой комедии. Командир личной гвардии императора Иовиан послал Юлиану письмо с сообщением о смерти Констанция и о том, что все провинции Азии признают его августом.

Тело Констанция набальзамировали, и Иовиан должен был привезти его в Константинополь.

Спустя несколько дней траурный кортеж двинулся в путь. За ним следовали войска, вооруженные и построены так, как если бы Констанций все еще вел их в бой. К солдатам присоединилась толпа христиан. Они пели гимны за упокой души императора и молили Всемогущего Бога принять его в рай. Когда процессия проходила через ущелья Тавра, они слышали в вышине хор ангельских голосов, откликавшийся на их песнопения. Из этого следовало, что их просьба услышана.

Когда похоронная процессия прибыла в Константинополь, Юлиан велел войску выстроиться. Сам он облекся в пурпурный плащ и пешком прошествовал за телом своего двоюродного брата до церкви Святых Апостолов, однако внутрь не вошел. В церкви была отслужена заупокойная служба по Констанцию, продолжавшаяся всю ночь.

На следующий день сенаторы воздали покойному последние почести и объявили его «божественным», что вряд ли было совместимо с христианской верой. Юлиан отнесся к этому спокойно: такое решение лишней раз свидетельствовало о противоречивости христианской веры. На исходе дня тело Констанция было погребено в мавзолее, построенном им в свое время для упокоения останков его отца Константина. В этом же мавзолее с недавних пор покоилась императрица Евсевия.

Когда погребальная церемония завершилась, Юлиан удалился во дворец и надолго закрылся в нем. Он молился Афине и Гелиосу о благословении его царствования. Затем вышел на террасу, чтобы взглянуть на город. Тысячи маленьких огоньков уже зажигались по обе стороны Золотого Рога^[18]. Юлиан хорошо помнил то время, когда он, безымянный ученик, затерявшийся в толпе, бродил по улицам и рынкам столицы. Если бы ему тогда сказали, какое будущее его ждет... Нет, он не поверил бы. Это

казалось слишком невероятным! Он никогда не думал, что наступит время, когда Константинополь будет подчинен ему, как подчинены теперь и дальние земли за Босфором, и головокружительные пространства от Рейна до Евфрата, на которых живет большая часть человечества...

Наступали сумерки. С неба медленно падали снежинки. С блуждающего в сумерках корабля слышался призыв сигнального рожка. Осматриваясь вокруг, Юлиан узнавал множество статуй, колоннад и портиков, среди которых он так часто гулял по возвращении из Мацелла. Тогда ему было грустно от того, что к этим святыням уже не относятся с прежним благоговением. Теперь в том, как они выглядели, было что-то еще более трагическое. В эту декабрьскую ночь, постепенно погружаясь в ночную дымку, они казались осколками гибнущего мира, бросающего в неизвестность последний отчаянный крик.

Но Юлиан знал: раз боги возвели его на эту террасу, нависающую над городом, то это было сделано затем, чтобы не дать древнему миру погибнуть, уступая тому ничтожному заблуждению, которое, кажется, вот-вот уничтожит его. С помощью Гелиоса он сумеет поддержать эллинскую культуру и вдохнет в нее новую жизнь. Он излечит души, восстановит храмы, воссоздаст святилища. Скоро их сияющие фронтоны вновь поднимутся к небесам. Он изгонит зиму, рассеет сумерки, и повсюду снова будет чувствоваться дыхание весны...

Наконец, совсем стемнело. Юлиан вернулся во дворец. Он внимательно перечитал письмо Фемистия. Ему что-то не нравилось в тоне, которым оно было написано. Похоже, философ хочет спровоцировать его на самовосхваление. Поразмыслив минуту, Юлиан взял перо и стал писать ответ своему другу:

«Пусть Бог дарует мне счастливую судьбу и достойное благоразумие! Прежде всего мне нужна помощь Всевышнего, а также поддержка всех философов, за дело которых я буду бороться и подвергать себя опасности. Поэтому я прошу, чтобы ты не требовал от меня великих дел, а ожидал их только от Бога. Так что если я потерплю поражение, то не буду полностью виновен в этом; если же все будет хорошо, я сохраню скромность и благодарность Создателю и не стану называть своим именем свершения, которые не являются моими, — я по справедливости отнесу их к действиям Божественного начала. Ему я буду возносить благодарность. И я прошу вас присоединить свою благодарность к моей».

Написав эти строки, Юлиан хлопнул в ладоши, призывая секретарей, велел им зажечь светильники и принялся за работу.

III

Дела, совершенные Юлианом в последующие месяцы, столь многочисленны и значительны, что одно их описание заняло бы целый том. Здесь мы можем предложить читателю только краткий обзор.

Первоочередной задачей было изгнание из дворца толпы прихлебателей и интриганов, занимавшихся лишь разбазариванием государственной казны. Юлиан значительно сократил число прислуги, упразднил бесполезные должности и подверг суровому пересмотру дворцовый штат. Он исключил из своего окружения галилеян, но не потому, что враждебно относился к их религии, а потому что с ними ему было трудно работать. Их взгляды и вправду слишком отличались от его собственных...

Затем он организовал в Халкедоне Судебную коллегия для расследования политических преступлений. Перед этим трибуналом предстал целый ряд высших чиновников, в первую очередь те, кто имел отношение к убийству Галла, а также те, с кем у Юлиана были стычки в Галлии. Аподем⁸, принимавший участие в казни его брата, был приговорен к сожжению живьем. Главному постельничему Евсевию отрубили голову. Пентадию удалось скрыться от правосудия, однако префект Галлии Флоренция и префект Иллирии Тавр, покинувшие свой пост и убежавшие к Констанцию, были заочно приговорены к смерти. Что до Гауденция, получившего от Констанция приказ охранять от Юлиана Африку и продолжавшего делать это даже после кончины императора, то его зарубили мечом. Халкедонский трибунал не тратил времени зря. Он завершил свою работу спустя несколько недель и не касался религиозных вопросов.

Юлиан не удовлетворился обновлением состава двора. Он хотел изменить сам дух придворной жизни. «Со времен Диоклетиана, — пишет Бидэ, — о священной особе императора заботились казначеи, хранители опочивальни, мажордомы, камерарии и личная гвардия. В целом этот двор с его преклонением перед обожествленным правителем был копией двора Сасанидов... Пораженные успехами этих монархов, сумевших возродить Персию, иллирийские императоры пытались укрепить свою власть, придав ей пышность, характерную для восточной теократии... Даже сам Константин, к полному смятению христиан, позволял поклоняться своим изображениям, а его сын Констанций, подобно ему, приписывал себе

сверхчеловеческое величие... Его убранный золотом дворец кишел поварами, цирюльниками, виночерпиями и евнухами, которые суетились вокруг его особы, „как мухи вокруг пастуха, прилегшего на солнцепеке“. Двор правителя обходился государству дороже, чем армия. И эти тысячи паразитов, извлекавших выгоду из его непомерного тщеславия, позволявшего их числу все более увеличиваться, растаскивали казну»⁹.

Юлиан решил положить конец этому разорительному фаворитизму. Трезвомыслящий, умеренный в потребностях, живший скромно и зачастую довольствовавшийся нехитрой солдатской пищей, он задумал вернуть римский мир к его древним традициям простого образа жизни. Его первым шагом на этом пути стал отказ от азиатской роскоши, в которой находил удовольствие Констанций. По свидетельствам современников, «он хотел вернуться к почти республиканскому образу правления Антонинов, к тем временам, когда император вел себя, как простой человек».

Чтобы добиться этого, он решил вернуть Сенату его древние права и потребовал, чтобы сенаторы голосованием утвердили его восшествие на престол. Вместо того чтобы призывать сенаторов к себе во дворец и объявлять свою волю, даже не предлагая им сесть, как это делалось во времена его предшественника, Юлиан стал ходить на их заседания и если принимал участие в обсуждении, то просил их слушать его сидя, как это делается на обычных заседаниях. Он говорил, что «если принцепс умеет управлять и обладает необходимыми для этого качествами, то он может обойтись безо всякой показной шумихи; что он возвышается, если может попать ногами собственное величие, и что, видя, как он добровольно отказывается от роскоши, его подданные поймут, что он вполне для них достижим».

Значительно сократив число чиновников, Юлиан принялся за новые назначения. Для человека своего времени он делал это с удивительной умеренностью. Однако он постарался призвать к себе большое число риториков и философов, которых встречал ранее во время своего пребывания в Греции и Малой Азии. Поскольку главной задачей его царствования было восстановление эллинизма, было бы странно, если бы он не постарался пригласить ко двору наиболее выдающихся мыслителей и ораторов своего времени. Он написал Максиму Эфесскому, Евагрию, Фемистию, Хрисанфу, Приску, Орибасию, Евтерию, Мамертину, Саллюстию и попросил у них помощи в выполнении своей задачи. Он предложил Проэресию стать его историографом. Он настойчиво уговаривал Либания приехать преподавать в Константинополь. Он назначил брата Максима Эфесского Нимфидиана главой Греческой канцелярии. Он пригласил к себе даже Аэция, хотя тот и

был убежденным христианином, поскольку ценил его нравственные качества и считал себя перед ним в моральном долгу. Некоторые отказались принять его приглашения, в частности Либаний, который предпочел остаться в Антиохии. Но большинство сразу же прилетели, как пчелиный рой, «безумно счастливые оттого, что им предоставляется возможность собирать мед подле молодого императора, превыше всего ставившего поклонение Музам».

Реформировав двор, Юлиан перешел к реформе армии. Он упразднил «лабарумы», хоругви, на которых Константин велел вышить монограмму Христа, и заменил их штандартами с надписью *Soli Invicto* — «Непобедимому Солнцу», и с этих пор римские легионы должны были сражаться во имя Гелиоса. Некоторые воинские части претендовали на «особые права», поскольку они первыми провозгласили Юлиана августом, но он отказал им в этих излишних привилегиях и утвердил абсолютное равенство всех легионов. Однако, сделав это, он сумел добиться признательности всех солдат тем, что значительно улучшил их жизнь. Он заботился о качестве получаемой ими пищи, требовал, чтобы им регулярно выплачивали жалованье и не допускал нехватки оружия и амуниции. Он доверял командование когортами только испытанным в бою молодым командирам. Он обязал пехотинцев совершать переходы, вплоть до однодневных, для доставки фуража, и запретил конникам в сезоны, когда травы мало, реквизировать сено у населения, приказав им самостоятельно отводить верховых животных на пастбище. Всем было известно, что образ жизни императора прост и скромн, и таким образом он на собственном примере мог приучать людей к древнеримским добродетелям терпения и воинского духа. Он изгнал из армии христиан, посчитав, «военное дело несовместимо с заветами Евангелия». Наконец, он восстановил в казармах порядок, восходящий ко временам Аврелиана, но упраздненный Константином в последние годы его царствования: каждое воскресенье, в так называемые Дни Света и Солнца, солдаты должны были возносить молитву этому «Богу, дарующему победу»¹⁰.

После реформ двора и армии Юлиан взялся за финансовую реформу. Имея за плечами опыт Галлии, он значительно снизил подати, постарался более справедливо распределить налоги и объявил беспощадную войну расхитителям казны. В результате этих мер в государственную казну стали вновь поступать деньги. Чтобы прекратить махинации тех, кто обреза́л золотые монеты, он повсеместно назначил конторолеров, обязанных проверять вес монет¹¹.

Меры, принятые им для реорганизации почты, заслуживают того, чтобы остановиться на них подробнее, потому что они свидетельствуют о его таланте организатора. Даже Григорий Назианзин, самый язвительный из его хулителей, был вынужден признать, что «из всех проведенных Юлианом реформ эта принадлежала к тем, которыми он мог по праву гордиться».

Со времен Диоклетиана общественная почтовая служба была обязана бесплатно перевозить принцепсов и их свиту, а также огромное число чиновников и полицейских инспекторов. Более того, при Констанции особыми льготами при передвижении стали пользоваться священники и епископы, направлявшиеся на свои синоды, число и частота которых постоянно росли. Во избежание полного разрушения станций и дорог, а также для того, чтобы удовлетворить нужды постоянных дворов, конюшен и продуктовых складов, приходилось облагать население придорожных районов постоянно растущим натуральным оброком. Со временем эти поборы стали чрезмерными.

Юлиан решил полностью реорганизовать систему коммуникаций. Он сократил число официальных почтовых гонцов до 27, запретил перевозить инспекторов почтовым транспортом и лишил христианское духовенство льгот, благодаря которым они могли разъезжать по стране за государственный счет. Все чиновники, за исключением префекта претория, потеряли право пользоваться почтовым транспортом. Только за некоторыми из них император сохранил право на ограниченное число бесплатных поездок: 12 раз в год для наместников областей и 2 или 3 раза для правителей в случае, если им потребуется срочно подать доклад ко двору или выполнить какое-либо поручение в местности, отдаленной от их провинции. Юлиан установил систему строгих наказаний для тех, кто станет пользоваться почтовым транспортом без разрешения. Он запретил своим гонцам брать себе «попутчиков», что обычно делалось под предлогом обеспечения безопасности в дороге и служило предметом бессовестного промысла. Он запретил перевозить на государственных повозках глыбы мрамора, предназначенные для украшения частных домов. Он сократил расстояния между станциями, чтобы уменьшить износ упряжи и сэкономить силы лошадей. Он сделал начальников станций лично ответственными за состояние повозок и конюшен и обеспечил поддержание дорог и станций в хорошем состоянии, распределив необходимые расходы между большим числом пользователей.

Эти меры оказались действенны сверх всяких ожиданий. В начале царствования Юлиана на дорогах можно было встретить только повозки,

запряженные с трудом тащившими их животными. Вскоре картина полностью изменилась. Ограничения на использование государственных средств передвижения заставили римлян прибегать к услугам частных возчиков. Заказчики могли обеспечить нормальное питание тягловых животных, те стали сильнее и проворнее. Улучшилось состояние дорог; объем перевозимых товаров увеличился; возросла и скорость, в результате чего в целом возрос обмен между различными районами. Можно сказать, по артериям государства потекла новая кровь.

Столь же благотворными оказались меры, принятые Юлианом для восстановления власти муниципалитетов. «К чему основывать новые города, — рассудил он, — если при этом разрушаются уже существующие?»

За исключением Галлии, остальные римские и греческие города находились в плачевном состоянии. Согнувшись под бременем бюрократической тирании, лишённые доходов из-за слишком высоких налогов, города могли похвастать лишь пустой казной и не имеющими реальной власти городскими советами. Почти нигде не обеспечивался уход за общественными зданиями: храмами, залами для общественных заседаний, мастерскими. Разрушались построенные вдоль дорог акведуки, те самые великолепные акведуки, о которых более тысячи лет спустя Шатобриан напишет, что «они подавали в Рим воду по триумфальным аркам». Упадок городской жизни чувствовался повсюду. Курии утратили какой бы то ни было авторитет и дух инициативы.

Упадок городов объяснялся в первую очередь тем, что иллирийские императоры, сами происходившие из сельской местности, относились к городам с пренебрежением. Однако немалую роль в этом сыграли и привилегии, дарованные Констанцием и Константином христианам. Христианам было дано право занять ряд городских угодий, они также получили в свое распоряжение часть городских доходов, но при этом были освобождены от платы за аренду и от налогов. Из-за этого расходы тех патрицианских родов, которые продолжали обеспечивать равновесие городских бюджетов, стали столь непомерными, что большая часть их предпочла отказаться от небезопасной чести входить в городской совет. Случилось так, что назначение на официальную должность в курию стало восприниматься как наказание. Разоренные аристократы устремлялись в деревню и старались не занимать руководящих должностей.

Мы не сможем подробно рассмотреть или даже перечислить все меры, разработанные Юлианом для того, чтобы прекратить это бегство из городов, потому что мало кто из императоров издавал по этому вопросу

столько распоряжений и указов. «Эти декреты представляли собой попытку с удвоенными силами и со всех сторон одновременно заделать трещины в готовой обрушиться системе», — пишет Бидэ¹².

Предоставив городам большую независимость и дав им право собирать определенные налоги, Юлиан явно рассчитывал поднять их экономику. Однако в равной степени он хотел также вернуть их к активной жизни, которая уже угасла. Путем восстановления городских финансов он хотел оживить прошлое городов. «Блистательные и цветущие города; празднично настроенные горожане; состязания атлетов, музыкантов и поэтов; школы, распространяющие античную мудрость; храмы, в которых звучат благоговейные гимны; жертвы на алтарях; портики, на фоне которых бурлит счастливая жизнь; человечество, получающее дары вновь обретенных богов»¹³ — вот какова была в представлении Юлиана картина идеального общества, и все намеченные им меры должны были возродить это общество. Было бы неправильно утверждать, что он хотел вернуть империи блеск времен Антонинов. Нет, он хотел поднять ее на такую ступень совершенства, в которой сам Платон не нашел бы к чему придраться.

Впоследствии реформы, провозглашенные Юлианом, подвергались серьезной критике. В частности, отмечалось, что будущее принадлежало не империи и язычеству, а христианству и феодальным отношениям; что существовала непреодолимая пропасть между этими химерическими проектами и реальной жизнью IV века. Короче, многие считают, что Юлиан «требовал, чтобы время изменило свой ход».

Однако даже если бы он услышал эти обвинения — а все они были сформулированы уже через много лет после его смерти, — трудно предположить, что они побудили бы его изменить линию своего поведения. Он действительно хотел «заставить время изменить свой ход».

Куда проще было бы дать людям следовать их природным склонностям, но это означало бы позволить им еще глубже погрязнуть в беззаконии и разрухе. Править, плывя против течения, — вот по определению единственно возможная позиция государственного человека, который хочет быть достоин этого названия. Характером Юлиана управляла некая устремленная ввысь сила, символом которой в какой-то степени можно считать его видение в Астаккии. Юлиан не просто стремился к вершинам, он хотел увлечь к ним всех живущих. Эта тенденция еще более ярко проявилась в том комплексе религиозных реформ, которые он собирался провести.

IV

«Если бы он сделал всех людей более богатыми, чем Мидас, а все города более великими, чем Вавилон, и покрыл бы их стены золотом, но при этом не исправил бы человеческих заблуждений в отношении богов, то уподобился бы врачу, который, пользуясь совершенно больное тело, излечил бы все его члены за исключением глаз. И потому он занялся в первую очередь излечением душ, открывая им знание об истинных небесных владыках»¹⁴. Так пишет Либаний.

Да, «излечение душ» было для Юлиана важнейшей задачей, может быть, даже более важной, нежели восстановление материального благополучия городов и деревень.

Наследник Констанция велел устроить в императорском дворце отдельную молельню, в которой каждый день совершал службу в честь Солнечной троицы. Он возражал против того, чтобы Сенат величал его «Господином и Владыкой», однако охотно сохранил за собой титул и прерогативы «Великого понтифика». Этот титул давал ему власть над всей религиозной жизнью империи. И он провел в этой области целый ряд реформ скорее не как император, а как Государь-Понтифик, Посланник Солнца.

Одним из первых его шагов по прибытии в Константинополь было подтверждение и расширение Эдикта о веротерпимости, изданного им во Вьенне в 360 году¹⁵.

Новый эдикт объявлял недействительными все предыдущие декреты, предусматривавшие наказания вплоть до смертной казни за поклонение древним богам. Юлиан повелел вновь открыть храмы и публично совершать в них жертвоприношения. Он приказал вернуть святилищам все конфискованные ценности. Одним росчерком пера он вернул язычеству право на существование. Как пишет Бидэ, «ему казалось, что для возрождения древнего благочестия достаточно вернуть богам свободу оказывать на мир свое благотворное влияние и что вскоре эллинизм станет еще могущественнее, чем был»¹⁶. Однако в то же время, желая показать свое великодушие, Юлиан призвал к себе во дворец всех христианских епископов — и ариан, и приверженцев вселенской Церкви — и предложил им положить конец постоянным распрям и придерживаться того же духа терпимости, которого они требуют от других. Что до него самого, то он хотел бы, чтобы этот дух царил среди всех.

Если действие декрета 360 года ограничивалось Галлией, то указ 362 года распространялся на всю империю. Ученые, теурги и философы заявляли, что наконец наступила истинная весна, что вскоре в полной мере возродится упомянутый Вергилием «великий порядок веков» и что Юлиан воистину является Посланником Солнца.

В городах, даже тех, где преобладало христианское население, царило всеобщее ликование. Наконец-то мир, установленный между религиями, должен был позволить Гелиосу равно светить всем людям. На стенах общественных зданий и на установленных вдоль дорог межевых столбах во множестве появились хвалебные надписи, прославляющие достоинства принцепса, «рожденного на благо государства», «вечно непобедимого», «постоянно одерживающего триумфы», «истребляющего пороки прошедших времен», «восстанавливающего храмы и царство свободы». Несмотря на вандализм тех, кто ожесточенно старался впоследствии уничтожить все свидетельства о правлении Юлиана, практически везде — в Аравии, Сирии, в городе Магнесии подле горы Сипил, в городе Иассе в Карики, в Пергаме в Малой Азии, во Фракии, в Мурсе в Паннонии, на севере Италии, в Альпах и даже в самом сердце Нумидии — до сих пор сохранились врезанные в камень хвалебные слова в честь «великодушного создателя Эдикта о веротерпимости»¹⁷.

Подписывая этот эдикт, Юлиан хотел уничтожить все те материальные и моральные преимущества, которые Констанций и его отец предоставили христианам и которые позволили им чуть меньше чем за полвека занять господствующее положение в государстве, хотя они и оставались в нем в меньшинстве. Теперь пришел конец их праву получать подношения и приобретать в полную и неотчуждаемую собственность имущество по завещаниям; пришел конец возможности обосновываться в доминиях и городах, не внося предусмотренной арендной платы и налогов; пришел конец перекупке материальных дотаций, которые имперская администрация ранее предназначала языческим святилищам (такую перекупку Юлиан считал настоящим грабительством); и главное: пришел конец тому привилегированному положению, которое христиане занимали при дворе и которое позволяло им фактически управлять страной от имени слабодушного и суеверного императора. Нанесенный удар был особенно ощутим для «политических» христиан, и наиболее умные из них понимали, что Эдикт о веротерпимости — это только начало.

Повелев вновь открыть храмы и восстановить в них службы, Юлиан направил свои силы на повышение морального уровня языческих жрецов. Число их значительно сократилось, а многие из тех, кто исполнял

жреческие функции, были недостойны своего положения. Прекращение субсидий храмам довело многих жрецов до нищенства. Некоторые покинули свои святилища и бросились искать более выгодные занятия.

Юлиан начал с того, что восстановил отмененные ранее дотации, с тем, однако, чтобы доходы священнослужителей не превышали уровня, естественно необходимого для нормальной жизни. Затем он увеличил число жрецов, назначив новых из числа сторонников неоплатонизма. Он решил, что отныне понтифики будут назначаться не по рождению или жребию, а исключительно исходя из их моральных и интеллектуальных качеств. Наконец, он учредил такие жреческие должности, как архиереи и понтифики, чьей задачей было следить за добрым поведением жрецов и чистотой учения¹⁸.

В этой области деятельности, направленной на «исцеление душ», Юлиан проявил колоссальную активность. Он не ограничился составлением правил выбора священнослужителей. Он предписал им законы поведения, составив определенное число «Указаний», требованиям которых должны были подчиняться все служащие в храмах. Они не имели права осквернять свое тело недостойными действиями, уста и уши — непристойными словами, они должны были тщательно избирать круг своего чтения и изгонять из своих мыслей все, что мало-мальски напоминало учения эпикурейцев и киников; они должны были утверждать в своих проповедях бессмертие души и свою причастность к богам; они должны были говорить о воздаянии добрым и наказании злым в будущей жизни, о вечности и нетленной красоте мира, о главенствующей роли Митры как Посредника, а также о милости божественного Провидения¹⁹.

Затем он обратился к языческому духовенству с целым рядом пастырских посланий, которые трудно назвать иначе, как «энцикликами»^[19]. В них Юлиан выступает в качестве непогрешимого судьи, подвергающего расследованию мысли и чувства человека. Он объясняет религию, утверждает богословие и определяет лежащие в его основе принципы.

В одном из этих писем он заявляет: «Мы должны служить богам с мыслью о том, что они присутствуют повсюду и видят нас, хотя мы не можем их видеть, что их взгляд, более ясный, нежели сам свет, проникает в самые сокровенные уголки наших сердец».

В другом пишет: «Все люди — братья, и наша забота должна в равной степени распространяться и на тех, кто заключен в темницы. Пусть же наши жрецы докажут свою любовь к людям, добровольно разделяя с

убогими то немного, что они имеют»²⁰.

Чтобы дать языческим жрецам возможность «ощутимо проявлять сочувствие к ближним», Юлиан содействовал учреждению ряда благотворительных заведений: домов сосредоточения мысли и очищения, приютов для девиц, гостиниц для путешественников, больниц для хворых и престарелых, пристанищ для нуждающихся, — и побуждал служителей храмов посвящать им все свободное от служб время²¹.

Юлиан также придавал большое значение вопросам богослужения, ибо знал, «что религия без богослужения — это обреченная религия». Он распорядился снабдить храмы гидравлическими органами, велел подчеркивать торжественность служб за счет введения в них ритуальных диалогов между жрецами и их помощниками и рекомендовал установить в нефях места для сидения, где верующие распределялись по возрастам и заслугам. Как видим, все эти меры были направлены на истинное обновление язычества. «В проектах Юлиана не было ничего возвращающего к прошлому, кроме самого возвращения к древним богам. Аскетическая дисциплина, мистическая иерархия и весь порядок, который он хотел ввести как в религиозной общине, так и среди жречества, представляли собой беспрецедентное новаторство»²².

Но Юлиан считал, что его миссия на этом не заканчивается. Будучи Великим Понтификом, он являлся также хранителем чистоты веры. В этом плане он считал своим долгом сформулировать истинную доктрину и исправить ошибки тех, кто удалился от нее. «Жрецы не выводят принципы из своего личного мнения, — писал он архиерею Азии Феодору, — они должны во всем придерживаться согласия с тем, кого воля богов поставила во главе их, то есть с Великим Понтификом»²³.

Чтобы поддержать духовное единство, он написал целый ряд философских трактатов, свидетельствующих о его невероятной интеллектуальной плодовитости. Несмотря на то, что он составлял эти тексты только в свободное от политической деятельности время, они являются настоящими учебниками богословия. Один из них, озаглавленный «Рассуждение о Матери богов», вышел из-под его пера за одну весеннюю ночь, где-то между 22 и 25 марта 362 года²⁴. Сроки составления другого — «Против невежественных киников» — нам неизвестны. Еще один трактат, носящий заглавие «Речь о Гелиосе-Царе», был составлен за три ночи в декабре 362 года. Не случайно, что автор обнаружил его 25 декабря, в день, когда праздновали *Natalis Invicti* («Рождество Непобедимого»). Этот трактат, наилучший из трех, является

возвышенным описанием «природы» (φύσις) Солнца. Он написан столь возвышенно и вдохновенно, что эллинистические мыслители эпохи без колебаний сочли трактат достойным творений Эмпедокла и Парменида. Юлиан доказывает в нем, что «Гелиос являет собой наивысшую форму Божественного, какую в состоянии понять наш разум». Он доказывает это с еще большей ясностью мысли, чем в предыдущих трактатах, ибо чувствует себя носителем истины. Можно сказать, что это был кульминационный момент его веры, плод многих лет поисков и размышлений. В этом тексте, великолепном, страстном и немного странном, он называл себя «одной из вершин и, возможно, самой головокружительной вершиной языческого мышления»²⁵.

Однако Юлиан не мог все время парить в небесах. Необходимость исполнять функции и Великого Понтифика, и августа зачастую заставляла его спускаться на землю и заниматься повседневными делами.

После того как он приказал вновь открыть святилища и установил основы культа Гелиоса, нужно было найти для служб достойных людей. Большая часть храмов была разрушена. Изнемогая под двойным гнетом — времени и небрежения, с которым к ним относились последние поколения, эти храмы являли собой не менее печальное зрелище, чем Пергамский алтарь. Христиане забрали из них колонны и капители для украшения собственных церквей. Эти разрушения приводили Юлиана в отчаяние. «Если галилеяне хотят строить для себя моленные дома, — пусть строят, — говорил он. — Но нельзя брать для этого материал из храмов, принадлежащих другим религиям». Он потребовал, чтобы языческие храмы были восстановлены в первоначальном виде и чтобы им были возвращены все изъятые архитектурные детали. Исполнение этого требования повлекло за собой новые проблемы, поскольку во многих случаях означало разрушение христианских зданий. Как легко догадаться, это вызвало возмущение епископов. До утверждения о том, что Юлиан преследует и их самих, оставался всего один шаг²⁶.

И этот шаг был сделан, когда Юлиан запретил христианским священникам использовать в преподавании классические тексты языческих авторов. Он говорил, что воспитание молодежи можно доверить только тем учителям, чья честность вне подозрений. А прикидываться, будто ты восхищаешься Гомером и Платоном, на деле видя в их сочинениях лишь сплошную цепь заблуждений, означало, по его мнению, отступить от честного поведения и выказать тем самым неспособность учить других. «Поелику боги даровали нам свободу, — заявил Юлиан, — мне кажется достойным порицания учиться у людей тому, что они сами считают дурным. Если эти люди (то есть христианские учителя. — Б.-М.) считают мудрыми тех, чьи труды пытаются толковать, то пусть подражают и их благочестию в отношении богов. Если же, напротив, они считают, что эти авторы заблуждались во всем, что касается наиболее почитаемых Сущностей, то пусть лучше идут в галилейские храмы и составляют комментарии к Матфею и Луке»²⁷.

К сожалению, этот запрет лишил многих христианских священников

— причем самых образованных из них — работы, потому что многие из их числа стали воспитателями в домах богатых язычников и христиан, желавших дать своим детям основательное греко-латинское образование, не нарушая при этом эдиктов Констанция. Теперь в этом занятии им было отказано.

Христиане сразу заволновались. К чему хочет прийти Юлиан? Сначала он отнял у них владения, привилегии, доходы, изгнал из армии и двора, а теперь хочет лишиться всего остального и навеки поставить в подчиненное положение? Поборники христианства, такие, как Григорий Назианзин, Василий Кесарийский и Афанасий Александрийский, стали возмущаться. Конечно, покуда они не могли открыто составить оппозицию, — это было слишком опасно. Но они стали внимательно следить за Юлианом, дожидаясь, когда он совершит первую ошибку, которая пошатнет его авторитет и даст им наконец возможность начать борьбу.

Поначалу эта надежда казалась несбыточной, потому что Юлиану удавалось все, за что бы он ни брался. Плоды его реформ были столь благотворны, что почти везде обеспечивали ему единодушную поддержку. Окидывая взором свое царство, наследник Констанция мог рассчитывать на долгое и славное правление. «Вознесенный Фортуной после двадцати пяти полных опасностей лет, он сумел присоединить к своим былым победам новый триумф. Внутри империи ни одно враждебное действие не омрачало ее внутреннего спокойствия; и ни один варвар извне не осмеливался нарушать ее границ»²⁸. Юлиан слышал вокруг себя только хвалебные песни...

VI

В первые дни весны 362 года, «когда на деревьях появились почки, а ласточки стали готовиться к перелету», Юлиан ощутил сильное желание расширить границы империи²⁹. Советники предлагали ему начать войну против готов. Но Юлиан отклонил это предложение.

С тех пор как ему удалось установить мир на западных границах империи, он мечтал лишь об одном: о завоевании Востока.

Год назад, когда Юлиан шел через Иллирию, Шапур понес тяжелые потери при осаде Безабде и Амиды. Он отошел на восточный берег Евфрата, дав таким образом передышку Констанцию, который мечтал разгромить Юлиана. Внезапная смерть Констанция и восшествие на престол нового августа, слухи о военных успехах которого достигли даже Персии, отбили у Шапура охоту возобновлять наступление. Однако с приходом удобного для ведения военных действий времени года кровь парфян начала разогреваться. Конные отряды Шапура уже перегруппировывались в Месопотамии. Судя по всему, они вновь готовились напасть на римские гарнизоны.

Если Юлиан решил взяться за парфян, то лишь для того, чтобы раз и навсегда положить конец их бесконечным набегам. Кроме того, отказавшись придерживаться оборонительной тактики, он решил перенести военные действия на территорию противника и отбросить его далеко за Тигр, если он откажется подчиниться.

Рядом с Юлианом находился один человек, который всячески побуждал его к этому. Это был принц Ормизд, сводный брат Шапура³⁰. Изгнанный из Ктесифонта, где он организовал заговор, чтобы захватить трон, Ормизд нашел убежище подле Констанция и стал его военным советником. Он принял христианство и сопровождал императора во всех его восточных кампаниях. Констанций пообещал короновать Ормизда в Ктесифонте, если тот поможет ему победить Шапура. Настроенный Евсевием против Юлиана, Ормизд настороженно отнесся к воцарению нового императора. Впрочем, после смерти Констанция ему не оставалось ничего другого, как приехать в Константинополь и предложить молодому августу свои услуги. Юлиан принял его предложение, считая, что Ормизд может оказаться полезен хотя бы для того, чтобы держать его в курсе происходящего в Ктесифонте.

К военным действиям побуждал Юлиана и другой человек из его

окружения — Максим Эфесский, некогда открывший Юлиану религию Митры. Юлиан охотно прислушивался к его мнению, так как считал Максима человеком, «отмеченным духом пророчества».

Максим же часто говорил императору о войне против парфян. Однако доводы, приводимые им для того, чтобы побудить Юлиана начать эту войну, в корне отличались от доводов Ормизда.

— Выслушай меня, Юлиан, и уразумей смысл моих слов, — сказал он однажды императору. — В мире есть некое Существо, остающееся самим собой, хотя и являющееся каждый раз в новом обличье. Оно из века в век приходит в жизнь человечества. Оно подобно всаднику, пытающемуся укротить на арене дикого коня. Каждый раз конь сбрасывает его на землю. По прошествии более или менее длительного времени всадник вновь садится в седло, более уверенный и лучше натренированный, чем в предыдущий раз. Вплоть до наших дней в разных своих обличьях он терпел поражение³¹. Сейчас наступила твоя очередь воплотить в себе это Существо, довести до завершения тот труд, который оно столько раз начинало, но все еще не завершило. Неужели ты думаешь, что боги окружили тебя такой заботой только для того, чтобы возвести на трон? Разве ты не чувствовал уже, что могучие взмахи крыльев возносят тебя к еще более дальним высям? Юлиан, стань этим Существом, или твоя жизнь потеряет смысл. А боги уходят от тех, чья жизнь больше не имеет смысла...

— Ты всегда говоришь загадками, — ответил Юлиан.

— Однажды ты уже произносил эти слова, когда я говорил с тобой о Митре. Тем не менее ты разгадал эту загадку.

— И каково же имя этого всадника, который возвращался из века в век, но до сих пор позволял коню сбросить себя?

— Его имя Александр. Он возродился в тебе.

— А откуда ты знаешь, что дикий конь не сбросит и меня?

— Самое главное — не удержаться в седле, а объединить мир. Тогда он тебя не сбросит.

— Почему?

— Потому что боги дали тебе оружие, которым не обладал Александр...

— Какое?

— Откровение Солнца! Неужели ты думаешь, что Гелиос сделал тебя своим Посланником только ради блага кучки греков и римлян?

— Я хочу распространить его культ по всем провинциям империи: в Галлии, в Британии, в Германии и в Африке... Тому свидетелями изданные

мною законы...

— Этого недостаточно! Твой долг распространить его по всем землям, освещаемым Солнцем! Вспомни, что религия, которую ты исповедуешь, родилась на горных плато Ирана. Именно там Митра сошел к людям. Вся месопотамская долина усеяна осколками стел с изображениями жрецов и царей в ореоле солнечных лучей. Они разрушаются в пустыне, а парфяне, проезжая мимо, даже не воздают им почестей, ибо они забыли то, что на них изображено. Объявив им войну не как завоеватель, а как философ, ты вернешь им их собственного бога, восстановишь их собственную религию. Неужели ты думаешь, что в решающий час Гелиос усомнится, на чьей стороне ему быть: твоей или Шапура?

Спустя пятнадцать дней Максим вернулся к этому разговору.

— Я только что приехал из Пессинунта, из паломничества к святилищу Кибелы, — сказал он Юлиану. — Со мной говорила сама богиня. Она поручила мне передать тебе ее слова...

— И что сказала Мать богов? — с интересом спросил Юлиан.

— Она сказала: *Тот, кого ты любишь, дорог и мне; тот, кого боги любят как сына, станет Властелином всей земли, ибо мы пошлем Духа, который поможет ему в долгих переходах...*

— Какого духа?

— Александра! Ты завершишь его труд...

— В Персии?

— В Персии, в Индии, в землях, расположенных за ними, в тех, что находятся подле источника света. Именно там ты получишь высшее посвящение. Разве жрец Гекаты не сказал тебе: «Следи, чтобы Путь был открыт»? Он говорил от имени Гелиоса.

— Он имел в виду духовные свершения...

— Путь духовных свершений и путь земных деяний — одно и то же. Этот мир столь же божествен, как и другой. Не разделяй их, подобно галилеянам. Или откажись от всего и созерцай землю с высоты креста...

— А если я потерплю поражение?

— Как можешь ты потерпеть поражение, если твой союзник — Солнце? Поражение Солнца — это конец света...

Максим схватил край плаща Юлиана и поднес его к губам, выражая этим жестом мольбу:

— Верь мне: ты — Александр!³²

Юлиан долго молчал. Как все это странно! Во второй раз в его жизни Максим в каком-то смысле помогает ему осознать самого себя! Передает ли он волю невидимых сил или читает его собственные мысли? Юлиан был

тем более склонен поверить сказанному, что в последнее время его постоянно посещал образ Александра. Он являлся ему во сне и, казалось, указывал путь. Потом он исчезал, как бы растворяясь в нем самом. Тогда в его памяти всплывали тысячи воспоминаний, так или иначе связанных с именем Македонца. Разве его матери не предсказывали, что она родит «нового Александра, который восстановит единство человеческого рода»? Разве не молился он сам во время поездки в Илион на том месте, где сын Олимпиады принес жертву духу Ахилла? Он начинал теперь осознавать свое таинственное уподобление Александру в тот момент, когда, углубившись в германские леса, он сквозь туманную дымку увидел возвышающуюся на берегу Майна крепость Траяна. Тогда ему показалось, что он достиг одного из пределов земли, и лагерные костры, разложенные на древних стенах, неотступно напоминали ему о тех башнях, которые победитель Дария воздвиг в честь Диониса на берегах Гипаса...

С тех пор Юлиан всегда держал под рукой греческий перевод «Жизнеописания Александра» и часто перечитывал его. Один отрывок произвел на него особенное впечатление:

«Если бы Великий Бог, пославший на землю душу Александра, не призвал его к себе столь неожиданно, то вскоре всем живущим на земле был бы дан единый закон и вся вселенная стала бы управляться одним и тем же правосудием, как бы *освященная единым светом*... Считая, что он послан небом для того, чтобы стать всеобщим реформатором и примирителем вселенной, он повсюду собирал ее воедино и как бы давал всем возможность пить из одной чаши счастья»³³.

Окончательное объединение Востока и Запада! Управление всей вселенной, «как бы освещенной единым светом» и пьющей «из одной чаши счастья»! Не такова ли цель, к которой стремится человечество? Не является ли это также наивысшей миссией? И вот из уст Максима он узнает, что боги избрали его для воплощения в жизнь этого чаяния, что в его лице на землю вернулся Александр, что он должен завершить дело, начатое сыном Олимпиады! Разве может он сомневаться, если было явлено столько знамений? Внезапно все перипетии несчастной юности показались ему ступенями, ведущими к этому высшему величию.

Максим прав: как лучи Гелиоса заполняют весь мир, так и власть Юлиана должна распространиться на всех живущих, иначе он не будет в полной мере представителем Гелиоса на земле. Он принесет людям новое Евангелие: Благую весть о всемогуществе Солнца; и путь, по которому он пойдет, будет именно тем, который ему указывает в снах призрак Александра...

VII

С этих пор Юлианом владело лишь одно стремление: быстрее подготовиться к войне и идти на Ктесифонт, чтобы победить Шапура.

Где-то около дней летнего солнцестояния 362 года он пересек Босфор и двинулся по дороге на Антиохию, желая сосредоточить свои силы поближе к противнику. Миновав Халкедон и Либису, где он на некоторое время задержался на могиле Ганнибала, чтобы попросить вдохновения у его духа, Юлиан спустя несколько дней прибыл в Никомидию.

Увы, ужасное зрелище предстало его взору! Сильное землетрясение превратило столицу Вифинии в груды развалин. Навстречу императору вышли полностью разоренные сенаторы и толпа несчастных, одетых в лохмотья горожан. Среди них Юлиан узнал нескольких друзей своего детства. Его сердце сжалось при виде претерпеваемых ими лишений. Около трети населения осталось без крова. Юлиан повелел выдать городу большую субсидию, чтобы полностью восстановить его из руин.

Из Никомидии он отправился в Пессинунт, где находилось святилище Кибелы. Он хотел совершить очистительное жертвоприношение богине и получить из ее собственных уст подтверждение слов, переданных Максимом. Великая жрица задала вопрос, и богиня слово в слово повторила сказанное ему теургом. Она заверила его в том, что боги избрали его для завершения начатого Александром и что душа победителя Дария будет освещать его путь через Азию. Отныне он уже не мог сомневаться в победе.

Покинув Пессинунт, он пересек высокие плато Анатолии и направился в Антиохию, куда прибыл 18 июля.

Когда он приблизился к городу, все население высыпало навстречу и приветствовало его с таким энтузиазмом, что он сам удивился этому оглушительному хору радостных восклицаний. Каждый приветствовал в его лице «новую звезду, свет которой приносит счастье всем областям Леванта^[20]». Среди приветствовавших находилась депутация муниципалитета, в которую входил Либаний. Скромно стоя у края дороги, ритор внимательно наблюдал за своим давним учеником, пытаясь угадать, как он теперь к нему отнесется. К несчастью, Юлиан проехал мимо, не узнав его, поскольку возраст и болезни сильно изменили учителя. Самолюбие Либания было уязвлено, он побледнел и опустил голову.

Этот инцидент был тем более досаден, что Либаний был весьма

злопамятным человеком. Он вполне мог бы отомстить Юлиану за такое пренебрежение нападками на него в своих трудах, что могло повредить репутации Юлиана среди эллинов. По счастью, скакавший рядом дядя императора, тоже Юлиан, обратил внимание племянника на совершенную ошибку. Юлиан искренне смутился. Развернув коня, он подъехал к Либанию, взял его за руку, сказал, что счастлив вновь видеть его, и пригласил как можно скорее навестить его в императорском дворце. «Эти сердечные слова возымели самое лучшее действие, — рассказывает один из очевидцев. — Они пролились бальзамом на сердце Либания и рассеяли поднимавшийся в нем гнев». На следующий день они встретились и долго беседовали. Они расстались, полностью примиренные и очарованные друг другом.

В то время Антиохия была городом с населением около 300000 человек, третьей столицей империи после Константинополя и Александрии³⁴. Отличавшаяся надменностью нрава своих жителей со времен основания³⁵, Антиохия по праву гордилась шириной своих улиц и свежестью своих садов. Юлиан рассчитывал провести в этом городе зиму и закончить военные приготовления.

Однако жители Антиохии были склонны еще и к злословию и раздорам и с истинным рвением предавались всевозможным чувственным наслаждениям. Весь год там продолжались бесконечные праздники, игрища и пиры. Для антиохийцев не существовало предела в роскоши, даже к богам они относились скептически и считали этот скептицизм верхом утонченности³⁶.

Поведение Юлиана скоро поставило антиохийцев в тупик. Они собирались поклоняться обожествленному монарху, а увидели правителя, желающего, чтобы к нему относились как к человеку. Его набожность, строгость нравов, презрение к роскоши смущали их. Неужели он действительно испытывает такое отвращение к любому легкому чтиву, что изгнал из своей библиотеки рассказы Лукиана Самосатского и комедии Аристофана? Разве такая серьезность совместима с его возрастом? Не свидетельствует ли это скорее о лицемерии? Что означают его рассуждения об «исцелении душ» и «возрождении тела путем возврата к эллинизму»? Он что, хочет переделать мир? Но они вовсе не желают «возродиться». Понемногу антиохийцы начали насмехаться над Юлианом. Потом появились издевательские песенки и памфлеты. Поскольку император никак не реагировал на это, они стали насмешничать открыто. Тут уж все пришлось к слову: и его грубые черты лица, и небрежность в одежде, и

длинная борода, и простая пища, и даже его бесконечные ночные бдения, которые вызывали вопрос: чем же он в это время занимается?..

И тут Юлиан взорвался. Дав волю гневу, он взялся за перо и написал одно из своих наиболее язвительных сочинений — «Мисопогон, или Ненавистник бороды». В противоположность его предыдущим трудам, это было не богословское наставление, а скорее памфлет, «рычание льва на рой мух, как в басне». Вместе с тем, — и это действительно одна из удивительных черт его характера, — стараясь отхлестать словами антиохийцев, он фактически занимается самокритикой.

«Это правда, — с иронией восклицает он, — что я ношу бороду, которая не нравится моим врагам. Они заявляют, что не могу ничего взять в рот без того, чтобы не прихватить пару волосков. Но я могу открыть им кое-что, о чем они еще не знают: я ее никогда не расчесываю, намеренно оставляю всклокоченной, и в ней бегают вши, как дикие звери бегают по чаще леса. И живот у меня покрыт шерстью, как у обезьяны. Это правда, что я никогда не принимаю ванны из розовой воды или надушенного молока и распространяю вокруг себя тошнотворный запах! Это правда, что я выгляжу еще более отвратительно, нежели киники и галилеяне! Это правда, что я небрежен в одежде и ем грубую пищу! Правда, что лицо мое хмуро, черты насуплены, а характер несносен. Природа не сотворила меня ни насмешником, ни шутником. Я не остроумец и не автор эпиграмм. Правда и то, что мне не нравится непотребная литература, как не нравятся мне и столь обожаемые вами оргии! В конце концов, я всего лишь иллирийский крестьянин; видимо, этим и объясняются моя грубость и неотесанное поведение деревенщины. Как же мог бы я приноровить свой характер к вашему? Ведь вы не проводите свои лучшие часы ни в молитвах богам, ни в заботах об империи. Вместо этого вы приказываете растирать вам руки, шлифовать пемзой ноги, умащать волосы, натирать тело мазями и редкостными благовониями, подавать на стол миног и свиные сосцы!

Это правда, что чаще всего я довольствуюсь простым бульоном, который едят мои солдаты, сплю на обычной рогоже, положенной прямо на землю, и посвящаю дни и ночи размышлениям и труду. Зачем мне вся ваша роскошь, если компания моих ветеранов мне милее, нежели компания ваших флейтистов?

Однако вспомните, что этот человек, которого вы обливаете сарказмом, всегда первым шел навстречу опасности. Чтобы защитить вас, он терпел холод и непогоду. Он побеждал там, где другие проиграли бы, будь они на его месте. Он отбил у варваров более сорока городов и запретил им появляться в пределах империи, если они не будут соблюдать ее законы. Он

взошел на трон, не пролив ни капли крови. Он возродил храмы, вернул процветание городам и повсюду установил мир. Вы уже забыли обо всем этом!

Когда я приехал сюда, вы встречали меня, как бога. Я не требую от вас этого! Ваш Сенат поведал мне о своих трудностях. Я дал согласие на значительное уменьшение налогов. Я предоставил Сенату изрядные суммы в золоте и серебре. Я освободил каждого из вас от одной пятой ваших податей. Я не мог сделать большего, потому что иначе пришлось бы брать у других то, что мне не принадлежит. Поскольку ваши припасы истощились, я велел на мои собственные средства доставить зерно из Тира и Египта, дабы облегчить нищету города. Однако вместо того чтобы раздать это зерно бедным, вы, знатные, оставили его себе и перепродали другим втридорога, чтобы иметь возможность продолжать свои веселые пиршества. Об этом вы тоже уже забыли!

Но какое мне дело? Продолжайте изливать на меня потоки оскорблений, которыми питается ваша неблагодарность. Я разрешаю вам это, поскольку сам только что выдвинул обвинения против себя самого. Более того: я перецеголял вас в плане критических замечаний, которые вы день ото дня шлете в мой адрес, потому что, по глупости своей, я не уразумел сразу, каковы нравы вашего города! Издевайтесь же над моей наивностью, неловкостью, неутонченностью! Я прекрасно знаю, что неспособен явить вашему взору картину такого образа жизни, который ведете вы, мечтая найти его отражение в жизни тех, кто вами правит. Давайте же! Смейтесь, издевайтесь надо мной, злословьте, рвите меня своими холеными зубами! Я не собираюсь наказывать вас за это: ни казнить, ни бичевать, ни заковывать в кандалы, ни бросать в тюрьму. Зачем? От этого вы не станете лучше! Но поскольку пример добродетельной жизни, который вам дают мои друзья и я сам, вам кажется неинтересным и неуместным, поскольку вы не желаете видеть его перед своими глазами, я принял в отношении вас бесповоротное решение: я решил покинуть Антиохию и никогда более здесь не появляться. Я перееду в Тарс. Я сделаю это, конечно, не в надежде угодить тем, у кого буду гостевать, но потому, что предпочитаю доставить всем по очереди удовольствие иметь дело с моим несносным характером, нежели причинять неудобство вашему счастливому городу, навязывая ему свое присутствие»³⁷.

Этот блестящий текст, из которого мы, к сожалению, могли привести здесь только фрагмент, во все последующие времена вызывал восхищение литераторов. Он произвел сильное впечатление даже на Шатобриана. «В

истории не было другого такого случая, — пишет он, — чтобы человек, наделенный абсолютной властью, правитель, по одному знаку которого насмешников могли стереть с лица земли, удовлетворился тем, что ответил на пасквиль памфлетом»³⁸.

Одни восхваляли вдохновенное остроумие этого произведения, другие — возвышенные мысли, сдержанность и терпение Юлиана. Однако мало кто обращал внимание на ту горечь, которая содержится в этом памфлете. Под маской иронии в нем скрывается боль. Заслужил ли Юлиан того, чтобы цинизм антиохийцев довел его до составления подобной филиппики, в которой он излил боль своего сердца, только еще больше растравляя его? В каждой строчке чувствуется смятение измученной души. «В конце концов, что я вам сделал? — спрашивает он в одном из наиболее волнующих отрывков своего обвинительного слова. — Я уверен, что не причинил вам никакого зла. Напротив: я предоставил вам все преимущества, которые вы могли в рамках законности ожидать от того, кто, по мере сил, желает быть благодетелем человечества. Так в чем причина этой враждебности, которая заставляет вас бросаться на меня и возбуждает ненависть ко мне?»³⁹

Его тон временами достигает невероятной степени язвительности, но, кроме того, отражает отчаянное непонимание. Действительно, какое несчастье трудиться днем и ночью, дабы улучшить жизнь людей, и оказаться под градом насмешек тех, кого хочешь спасти! Для того чтобы продолжать служить им, нужно несгибаемое мужество. Однако, поняв, что ни слова, ни примеры не могут изменить их к лучшему, что ни щедрость, ни открытость сердца не в силах победить их глупость и низость, — поняв все это, что еще мог сделать Юлиан, как не повернуться к ним спиной и уехать, «чтобы не причинять им неудобства, навязывая свое присутствие»?

VIII

Эти печальные переживания тем сильнее расстроили Юлиана, что они совпали по времени с двумя событиями, которые еще более омрачили его пребывание в Антиохии.

Неподалеку от города, в пригороде, называемом Дафна, посреди тенистого и богатого источниками сада, стоял знаменитый храм Аполлона. Юлиан приказал восстановить его на свои собственные средства. Однако в последние годы жертвы в храме приносились крайне редко и, по словам самих жрецов, оракул Аполлона перестал давать прорицания. Что же вызвало немилость Аполлона? По словам некоего теурга, все объяснялось тем, что бог посчитал осквернением святыни тот факт, что неподалеку от входа в его жилище похоронили епископа Вавилу. Антиохийские христиане весьма почитали Вавилу и часто приходили к его гробнице.

Не приняв этого последнего во внимание, Юлиан приказал своему дяде Юлиану организовать эксгумацию останков святого и перевоз их куда-нибудь в другое место. Возмущенные христиане сопровождали мощи вплоть до кладбища в Антиохии, призывая проклятия на головы «тех, кто поклоняется статуям».

Спустя несколько недель дядя Юлиан умер при загадочных обстоятельствах. А после этого, в ночь на 22 октября, сгорел дотла храм Аполлона. Пламя не пощадило даже изваяние самого бога. «Ужасное зрелище!» — написал император. Чем можно было объяснить такое несчастье? Небрежностью, ударом молнии или преступным умыслом? Из этих трех объяснений Юлиан принимал только последнее: христиане так радовались случившемуся, что этого было достаточно, чтобы признать их виновными⁴⁰.

Не менее печальным было и другое событие. Юлиан никогда не проявлял враждебности по отношению к иудеям. Он видел в иудаизме национальную религию, полностью соответствующую духу еврейского народа и способную обеспечить его выживание на протяжении веков. Однако Иисус предсказал разрушение Иерусалимского храма, заверив, что «в нем не останется камня на камне». Разрушение храма Давидова императором Титом, казалось бы, подтвердило это пророчество. Юлиан решил показать, что ни во что не ставит пророчество христианского Бога, и велел приступить к восстановлению храма. Однако в самый разгар работ новое землетрясение разрушило постройку до основания, а падавшие с

неба огненные шары сожгли все, что от нее оставалось. Весть о вторичном разрушении Иерусалимского храма породила новую надежду среди христиан. Они увидели в случившемся подтверждение того, что слова Христа неопровержимы и эдикты императора не могут их отменить. Христианская оппозиция сразу осмелела. Она начала понемногу организовывать в разных местах благочестивые процессии, во главе которых шли священники, несущие раки с мощами святых мучеников. Юлиан считал подобные ритуалы жуткими и унижительными. Он видел в них подтверждение тому, что называл «болезненностью» религии Распятого. Обстановка обострилась также из-за того, что епископы старались погребать своих покойников с невиданной до того торжественностью и предписывали, чтобы перевозившие мощи траурные повозки двигались по самым оживленным улицам городов.

Этому Юлиан отчаянно воспротивился. «Дабы не оскорблять величие дневных богов, — объявил он, — похоронные обряды должны совершаться только после захода солнца». Он считал, что покойникам все равно, в котором часу их хоронят, и что незачем огорчать живых постоянными напоминаниями о бренности человеческой жизни (12 февраля 363 года)⁴¹.

Каковы бы ни были аргументы Юлиана в пользу этого шага, он оказался ошибочным, лишь усилив оппозицию и не принеся императору никакой пользы. Сначала наглость антиохийцев, потом пожар в храме Аполлона, затем разрушение Иерусалимского храма и, наконец, провокационное поведение галилеян, — это было уже слишком. Чаша переполнилась. Конечно, Юлиан всегда понимал, что восстановление эллинства не обойдется без того, чтобы не вызвать волнение в христианских общинах. Это он понял еще в Константинополе, вскоре после восшествия на престол, когда шел в храм Фортуны, чтобы совершить жертвоприношение. Тогда старый слепой епископ по имени Марис набросился на него и бранил при всех, называя нечестивцем, отступником и безбожником. Учитывая возраст и немощь епископа, Юлиан не стал наказывать его. Он ограничился тем, что сказал:

— Вместо того, чтобы оскорблять императора, лучше помолись Галилеянину, чтобы он вернул тебе зрение.

Тогда Юлиан не придавал особого значения случившемуся. Но впоследствии он не раз спрашивал себя, не символичен ли образ Мариса и не является ли большинство людей такими же слепцами. Что за заблуждение заставляет их упорно не видеть в Гелиосе правящее миром божество, которому человеческий разум не в силах противопоставить более могущественного бога?

К тому же назвать его самого безбожником было вопиющей несправедливостью. Разве можно найти более благочестивого и верующего человека, чем он? Нечестивцы, безбожники — это *другие*: те, кто отказывается поклоняться богам, кто поджигает храмы, кто бредет с песнопениями, сопровождая побелевшие кости, кто зубоскалит, когда он говорит о величии Гелиоса, короче, все те — христиане и язычники, — кто упорно отрицает истину и не признает очевидного...⁴²

Однако это состояние духа быстро прошло. Как только гнев улегся и Юлиан взял себя в руки, он сказал себе, что глупо беспокоиться из-за таких мелочей! Чего стоят эти жалкие споры по сравнению с той великой миссией, которой он облечен? Все эти смешные ссоры, эта глупая наглость, эти несправедливые обвинения рассеются сами собой, когда он победоносно достигнет истоков Солнца. В тот день, когда пределы империи совпадут с пределами земли, все это будет сметено дуновением нового.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ГЕЛИОС-ЦАРЬ

По всему Востоку раздавалось бряцание оружия. От Мелитены до Зевгмы, от Апамеи до Тапсака по дорогам маршем проходили колонны, направлявшиеся в места сбора. В этих краях столь оживленных военных приготовлений не было с тех самых пор, когда побуждаемый Клеопатрой Антоний готовил большую экспедицию против парфян!¹

Доверяя богам, Юлиан все же ничего не оставлял на волю случая. Поэтому подготовка к войне велась очень тщательно. Чтобы увеличить численность пехоты, в основном состоявшей из галльских легионов, то есть кельтов и петулантов, следовавших за ним повсюду со времен Страсбургского сражения, Юлиан велел мобилизовать все боеспособное население Киликии, Коммагены и антиохийских земель. Он также реквизировал огромное количество муки и зерна, чтобы обеспечить войска провиантом. На верфях Самосаты он велел подготовить внушительный флот, состоявший из военных кораблей, понтонных судов и плоскодонных лодок. Последние должны были спуститься по течению Евфрата с грузом продуктов, с катапультами и огромными осадными башнями, которые назывались *гелеполисами* и были в состоянии пробить даже самые мощные стены. Наконец, он заключил союз с армянским царем Аршаком. Тот должен был собрать свое войско и в случае надобности присоединиться к римлянам. Однако Юлиан не стал открывать ему ни плана своей кампании, ни тех целей, которых мечтал достичь. Он решил, что это можно будет сделать в последний момент, ибо не доверял царю и знал, что его собственное преимущество заключается в двух вещах: в быстроте передвижения и в тайне.

Тайну, однако, было очень трудно сохранить, ибо у Шапура повсюду имелись шпионы. Они каждый день доносили ему о военных приготовлениях противника. Узнав о масштабах этих приготовлений, Шапур сразу же решил начать мирные переговоры. Юлиан высокомерно ответил ему, что «любые посольства кажутся ему излишними, ибо он сам вскоре нанесет царю визит в Ктесифонт»².

Тем временем в некоторых частях римской армии начались брожения. Два солдата императорской гвардии составили заговор, намереваясь заколоть Юлиана во время смотра войск. По счастью, один из них сознался в существовании заговора. Юлиан предпочел замять дело, приказав, однако, казнить двух христиан — Ювентина и Максимиана, — которые, как

ему доложили, выступали с призывами к мятежу³. Рассудив, что в основе брожений лежит бездействие, он поспешил с началом военной кампании.

В первые дни марта 363 года император приказал дать всем воинским частям сигнал к выступлению. Армии покинули зимние квартиры и отправились в путь по заранее намеченным маршрутам.

5 марта Юлиан выехал из Антиохии, чтобы направиться в Иераполь. Перед самым выступлением его окружила многочисленная толпа горожан с пожеланиями доброго пути и «просьбами забыть о тех обидах, которые ему нанесли некоторые жители города». Но Юлиан все еще чувствовал себя уязвленным тем, как антиохийцы осмеивали его.

— Нет! — ответил он. — Вы меня видите в последний раз! После войны с Шапуром я поселюсь в Тарсе. Я уже отдал приказ приготовить для меня резиденцию в этом городе, на который я намерен перенести все те милости, что изначально предназначались вам.

Депутация антиохийского сената сопровождала его до пригорода Литарбы, умоляя отменить свое решение. Но ничто не могло переубедить императора. В Антиохии его больше никогда не увидят...

Спустя пять дней Юлиан приехал в Иераполь. Его окружали друзья: Максим Эфесский, Орибасий, Приск, Анатолий, Евтерий, Хрисанф и элевсинский иерофант. Он выбрал в качестве резиденции дворец губернатора, где его уже ожидало пространное письмо Либания.

Либаний сокрушался, что преклонные годы и плохое состояние здоровья не позволяют ему сопровождать императора. «В первую очередь, — писал он, — я молю богов ниспослать тебе победу, а затем возможность вернуться живым и невредимым в Антиохию, невзирая на нанесенные тебе обиды. Сейчас ступай и переходи реки. Затем, более грозный, чем река, обрушья на своих врагов. А после этого ты сам решишь, как тебе следует поступить. Однако не лишай меня единственного удовольствия, которое может утешить меня в твое отсутствие. Я буду писать тебе и ждать от тебя писем, даже когда сражения будут в самом разгаре... Я проклиная свое слабое здоровье, принуждающее меня лишь по рассказам узнавать о твоих подвигах, которым я сам хотел бы быть свидетелем»⁴.

В ответ Юлиан послал своему старому учителю ласковое письмо, в котором перечислил те меры, которые предпринял для успеха экспедиции. «Что же касается хода политических и военных дел, — сообщал он Либанию, — то рассказ о них был бы слишком долог для письма, даже втрое более длинного, чем это. Потому я ограничусь несколькими общими замечаниями. Я расположил в авангарде бдительных разведчиков из

опасения, что какой-нибудь перебежчик может сообщить противнику о передвижении войск, о котором ему не следует знать. Я приготовил большое число лошадей и мулов. Я постарался сосредоточить свои силы; я велел нагрузить зерно, сухари и уксус на корабли флота, созданного в Самосате. Если бы ты знал, скольких усилий и подготовки стоило каждое из этих действий, ты бы понял, сколь много времени потребовалось бы для их описания. А кроме того, мне приходится подписывать огромное количество писем и документов, и целые горы никчемных бумаг преследуют меня повсюду, словно тени»⁵.

13 марта армия покинула Иераполь. Она перешла через Евфрат по понтонному мосту и форсированным маршем двинулась к Каррам (Харрану), где в 53 году до н. э. Кресе был разбит Митридатом III.

Юлиан на несколько дней остановился в этом городе, чтобы дать легионам время перестроиться и окончательно доработать план кампании.

Раз он — воплощенный Александр, значит, ему следует во всем подражать ему. К примеру, он мог бы прибегнуть к тактике фронтальной атаки, которая столь великолепно удалась Александру при Гранике и Иссе. Но ведь с тех пор военное искусство сильно изменилось. Поэтому Юлиан предпочел прибегнуть к тактике так называемого «окружения», введенной Ганнибалом, которого он по справедливости считал величайшим военным гением мира.

От Карр в сердце Персии вели две дороги. Одна шла через долину Тигра. Она проходила мимо Кордуэна⁶, Абиадены и упиралась в Ктесифонт. Другая, несколько западнее первой, спускалась в долину Евфрата и — через Каллиник и Киркесию — вела в Вавилон. Юлиан решил вести армию по обеим дорогам одновременно.

Разделив свое войско, он составил первый корпус из 30000 человек и доверил командование им Прокопию и комиту Севастиану. Задачей этого корпуса было перейти через Тигр, выйти на левый берег реки и, соединившись с силами армянского царя Аршака, опустошить Западную Мидию с тем, чтобы лишить парфян источника продовольствия. После этого армия Прокопия должна была вновь перейти через Тигр и стремительно направиться к Ктесифонту. Из оставшихся войск Юлиан составил второй корпус, насчитывавший около 45000 человек, и сам возглавил его. Эта вторая армия должна была идти по дороге вдоль Евфрата, захватить попутно ряд укрепленных городов, охраняющих западный берег реки, и выйти к Вавилону. Как только Юлиан выйдет к Вавилону, а Прокопий к Ктесифонту в том месте, где Тигр и Евфрат

разделены лишь узкой полоской земли, две армии соединятся. Предполагалось, что они совместно окружат войска Шапура и разгромят их. После этого римской армии предстояло перейти к осуществлению второй части кампании — завоеванию Азии.

Созданная же в Самосате эскадра должна была еще раньше сняться с якоря под командованием Луцилиана, бывшего правителя Паннонии, которого некогда Юлиан захватил в плен под Сирмием⁷. Присоединившись к армии Юлиана под Каллиником, флот — как предполагал Юлиан — должен был сопровождать его с провиантом и осадными орудиями, «не обгоняя и не отставая». Из-за того, что большая часть парфянской конницы под командованием Сурены⁸ находилась в долине, ограниченной двумя реками, слишком широкими в этом месте, чтобы можно было форсировать их, Сурина неизбежно оказывался в ловушке между двумя армиями.

Как видим, Юлиана вдохновляла тактика, примененная Ганнибалом в битве при Каннах. Однако он предполагал применить эту тактику в куда более широком масштабе, ибо речь шла о том, чтобы взять в окружение весь тот участок земли, на котором, согласно библейской книге Бытия, находился рай земной. Это двойное окружение слева и справа могло идеально получиться при условии, что все передвижения будут выполнены быстро и точно.

Быстро, потому что малейшая отсрочка в выполнении замысла могла дать возможность Сурене отойти по узкому перешейку, разделяющему реки, к Вавилонской возвышенности. Точно, потому что на первом этапе военных операций наиважнейшим условием была идеальная синхронность передвижения двух армий и флота.

II

Поначалу вся армия целиком двинулась в направлении Тигра, чтобы Шапур подумал, будто удар будет нанесен именно с этой стороны, и чтобы войска Сурены не ушли из Верхней Месопотамии. Однако это был всего лишь обманный маневр⁹. Через 24 часа армия разделилась на два корпуса. Юлиан простился с Прокопием и назначил ему встречу у стен Ктесифонта. Затем, спустившись в долину Билехаса, он быстро повернул на юг и форсированным маршем направился к Каллинику, торговому городу, расположенному на Евфрате, и подошел к нему 27 марта в день праздника богини Кибелы.

Юлиан, посвятивший в свое время Матери богов философский трактат¹⁰, увидел в этом совпадении доброе предзнаменование. Он отпраздновал этот день, совершив омовение статуи богини в водах Евфрата¹¹. Затем он удалился в свой шатер для короткого отдыха.

В ту ночь Юлиан прекрасно спал и проснулся бодрым. Едва встав, он узнал о прибытии депутации арабских вождей, просивших о встрече. Юлиан сразу же принял их.

— Мы слышали, что ты — Посланник Солнца, — заявил один из вождей, — и мощь твоей армии подтверждает это. Мы тоже поклоняемся Солнцу под именами Алла и Дюсарес. Поэтому мы приехали, чтобы поднести тебе золотую корону и предложить свою поддержку и поддержку нашей конницы.

Юлиан поблагодарил их, принял подношение и приказал включить в свою армию 500 всадников, которых они привели с собой.

Когда Юлиан беседовал с арабскими вождями, ему сообщили о прибытии флота из Самосаты. Выйдя из шатра, император направился к реке, и его глазам предстало великолепное зрелище: весь Евфрат был в буквальном смысле заполонен кораблями. Там было 50 больших вооруженных для боя галер, 64 понтонных судна, предназначенных для перевозки пехоты и конницы через реки, и 1403 лодки, перевозившие провиант, оружие, пушки и гигантские гелеполисы высотой в двадцать метров, чьи мощные зубчатые башни выделялись на фоне неба. Юлиан поблагодарил Луцилиана: тот привел даже больше кораблей, чем предполагалось. Затем, посчитав, что этому дню сопутствует удача и ею надо воспользоваться, он отдал армии приказ направиться к Киркесию.

Небо было ясным. В этом году весна наступила рано. Докуда хватало

взгляда, вокруг простирались пшеничные поля, над которыми местами возвышались пальмы. Армия весело двигалась на юго-восток через эту плодородную и многообещающую землю.

В авангарде скакали арабы и 1500 римских конников, проводивших рекогносцировку местности. За ними двигался десяток легионов, в том числе носившие имена Победителей (Victores), геркуланы, зианны и так называемые империялы (Imperiali), то есть императорская гвардия. Всеми ими командовал сам Юлиан. Справа, то есть со стороны реки, шли терциаки, кельты и петуланты. Ими командовал Невитта. Слева, со стороны равнины, скакал кавалерийский корпус под командованием Аринфея и Ормизда. Комит Виктор и германец Дагалаиф возглавляли арьергард. Замыкающим шел дука Ордоэны Секондин.

Чтобы создать у парфян впечатление огромного войска, Юлиан отдал приказ растянуть дивизионы вдоль дороги и заполнить пространство между ними обозами. Протяженность колонны достигла таким образом почти пятнадцати километров. Двигавшийся параллельно армии флот Луцилиана тоже производил внушительное впечатление своими понтонами, осадными машинами и экипажем в 20000 человек под командованием Константина.

Однако эта армия, столь внушительная своими размерами и мощностью вооружения, была поражена неизлечимым недугом: она несла в себе все противоречия античного мира второй половины IV века.

Самое главное: в ней не было единства. Во-первых, среди офицеров и солдат имелись христиане. Хотя Юлиан и приказал изгнать их из армии, те, кто отвечал за набор войск, не посмели в полной мере следовать этому распоряжению, боясь, что это повлечет за собой резкое сокращение личного состава. В конце концов Юлиан уступил их доводам, убедив себя, что эти христиане скоро осознают свою ошибку и обратятся к религии Солнца. Конечно, ничего подобного не произошло. Враждебность христиан к Юлиану день ото дня только возрастала. Они испытывали глубокое отвращение при мысли о том, что им приходится сражаться под знаменами, на которых девиз «Soli Invicto» заменил монограмму Христа, что им приходится каждое воскресенье молиться Гелиосу-Царю, что они вынуждены проливать кровь ради победы императора, приказавшего вынуть камни из стен их церквей и без почтения относящегося к мощам их мучеников.

Но и среди язычников не было особого единодушия. Они распадались на две враждующие группировки: «западных» язычников римской традиции и «восточных», приверженцев эллинизма.

«Римляне», во всем отличавшиеся реалистичностью мышления, были обеспокоены тем, что Юлиан пустился в авантюру, смысла которой они не понимали. Зачем углубляться в эти пустынные земли, которые в свое время уже доставили немало хлопот императорам Валериану и Гордиану? Если Юлиан хочет обезопасить восточные границы империи, как он это сделал на Западе от Базеля до устья Рейна, то достаточно укрепить Самосату и Иераполь, и это надежно прикроет Пальмиру и Средиземноморское побережье. То, что Юлиан не объявил четко о военных задачах экспедиции, внушало им недоверие, усиливавшееся полным непониманием его целей в области религии. Конечно, они были ему обязаны тем, что он вернул утраченное величие языческим храмам. Но зачем он старается превратить мифологию в религию? Привычные к ритуалам, которым с незапамятных времен следовали их предки, они считали бесполезным что-либо менять в них. В их глазах христианство представляло собой преходящее зло, которое обречено исчезнуть само по себе. И потому вовсе незачем противопоставлять христианской Троице какую-то Солнечную Троицу.

Поэтому они прилагали все усилия к тому, чтобы уговорить Юлиана отказаться от своих планов, и прибегали к помощи авгуров и гаруспиков (гадателей). Эти «служители культа», ибо их и вправду трудно назвать как-то иначе, повсюду распространяли тревожные слухи. По их словам, кампания против парфян началась при дурных предзнаменованиях и, судя по знакам, плохо закончится.

Судите сами: когда Юлиан находился в Каррах, в Риме сгорел храм Аполлона (19 марта 363 года), и неизвестно, спасены ли Сивилловы книги храма¹². Чуть позже при проезде императора рухнула триумфальная арка. Сам он не пострадал, но обломками придавило 50 солдат из его эскорта. Еще чуть позже он увидел у дороги труп казненного¹³, а это считалось у древних предвестником близкой смерти. Затем из десяти быков, приведенных к алтарю Марса, девять погибло до жертвоприношения. Короче говоря, не было ни одного случая, ни одного совпадения, которые не превращались бы авгурами в гибельное предзнаменование.

Эти «пораженческие настроения» в конце концов вывели Юлиана из себя. Но в еще большей мере они выводили из себя таких приверженцев эзотерического эллинизма, как Орибасий, Максим Эфесский, Анатолий и элевсинский иерофант. Они умоляли Юлиана не прислушиваться к тем, кто пытается смешать веру с самыми дикими суевериями и не поддаваться воздействию этих пророков несчастья. Кто дал им право судить о воле богов? Разве боги сами не указали ясно, какова их воля? Разве Юлиан

может бросить на одну чашу весов все милости, оказанные ему богами, и вздор, который несет какая-то деревенщина, не способная понять сверхъестественной миссии, выпавшей ему?

По правде говоря, Юлиан не нуждался в этих ободряющих речах. Его путь был намечен свыше, и он намеревался пройти по нему до конца.

III

В первые дни апреля армия, по прежнему сопровождаемая флотом, прибыла в Киркесий. Это был важный укрепленный пункт, расположенный у слияния Хабура и Евфрата. Его стены были выстроены почти столетие назад по приказу Диоклетиана, потому что тогда это место было крайней восточной точкой империи. Юлиан задержался здесь на несколько дней, чтобы дать время флоту построить мост для перехода через реку. Этот переход был важным этапом операции, ибо за Хабуром начинались дикие просторы Персидской империи с их ловушками, засадами и неведомыми далями.

Как только мост был готов, — а это произошло среди ночи, потому что Юлиан хотел оказаться на другом берегу до восхода солнца, — император отдал приказ войскам начать переправу. В частях чувствовалось некоторое колебание, и он решил обратиться к солдатам, как это обычно делают перед боем. Поднявшись на небольшой холм на берегу Хабура, император начал с напоминания о том, что римская армия не впервые вторгается в эти земли и что она, вопреки утверждениям некоторых, отнюдь не всегда терпела здесь поражение. Он напомнил им о Лукулле и Помпее, о Вентидии и Траяне, о Вере и Севере, которые вернулись из этих областей с богатыми трофеями. «Даже Гордиан вернулся бы с победой, — заверил он солдат, — если бы его не предал префект Филипп».

Доспехи солдат слабо мерцали в ночной тьме, потому что луна уже зашла и на востоке начинали бледнеть звезды. Но если фигура Юлиана была видна смутно, то смысл его слов был абсолютно ясен. Он продолжал:

— Этих героев подвигло на великие подвиги стремление к славе. Нас же побуждают к этому бедствия захваченных противником городов, тени воинов, погибших без отмщения, наши огромные потери и разрушенные крепости! Поэтому с Божьей помощью я всегда буду с вами, ваш император, ваш знаменосец, ваш собрат по оружию. И если в бою меня постигнет злая участь, то я по крайней мере умру с уверенностью в том, что пожертвовал собой на благо Общего дела!

Какая странная речь! Вопреки всем ожиданиям, Юлиан не упоминал ни Гелиоса-Царя, ни Александра, столь милых его сердцу. Он взывал исключительно к патриотизму римлян. Никогда еще он не вел себя так *по-западному*, как в этот момент вторжения в земли азиатов. Несомненно, он хотел рассеять в душах легионеров страхи, порожденные

пессимистическими заявлениями авгуров, и показать, что в нужный момент и он умеет встать на точку зрения традиционных римлян.

— Так будьте храбры, как этого требуют от вас обстоятельства, — сказал он в заключение. — Уверуйте в успех! Будьте готовы бросить вызов опасности, зная, что всех, сражающихся за правое дело, ждет победа.

Солнце появилось на горизонте в то самое мгновение, когда он закончил речь. Юлиан спустился с холма и направился к своему шатру, а солдаты собрались вокруг своих командиров. В эту минуту только что прискакавший всадник спрыгнул с коня и протянул Юлиану пакет. Это было письмо от префекта Галлии Саллюстия. Юлиан вскрыл его и пробежал глазами.

«С грустью и тревогой слезу я за твоими действиями, — писал префект. — Умоляю, откажись от экспедиции в Персию, пока еще это можно сделать. Заклинаю тебя: не иди навстречу верной смерти против воли богов»¹⁴.

Юлиан в гневе скомкал письмо. Опять эти советы об осторожности, призывы к разуму, которые на деле всего лишь прикрытые трусости. Решительно, те, кто изображает из себя его друзей, плохо его знают!

Не дав себе задуматься над письмом Саллюстия, он приказал легионам перейти через Хабур. Когда последний солдат ступил на противоположный берег, Юлиан велел разрушить мост, чтобы «ни у кого не оставалось надежды на то, что он повернет назад».

IV

Перейдя через Хабур, войско двинулось вперед по дороге вдоль левого берега Евфрата. Теперь оно находилось уже на персидской земле. Все напоминало солдатам о том, что они вторглись в земли, абсолютно не похожие на те, что остались позади. Горизонты казались более дальними, холмы более дикими, тишина более глубокой, и, когда за их спинами садилось солнце, они видели, как на небе восходят незнакомые созвездия.

У городов, мимо которых они проходили, были варварские названия: Тилуфа, Ахяхалька, Бараксамальха, Озогардана, Перисабора, Майозамальха...

Эти города проплывали мимо, как бы несомые монотонно плещущейся рекой, и, казалось, бежали прочь. Легионеры быстро забыли бы о них, если бы каждый не остался связан в их памяти с какой-нибудь яркой деталью.

В Дура-Европос они увидели мавзолей, в котором покоился прах императора Гордиана. Проходя, они отдали ему честь, склонив знамена. В Озогардане они обнаружили колодцы, заполненные какой-то черноватой жидкостью, которая бурлила, изливаясь на землю. Это был битум. Юлиан приказал поджечь его. Огромный столб пламени взметнулся в небо. Его красноватые всполохи долго мерцали в ночи, и Юлиан сделал вывод, что они на правильном пути, ибо было известно, что Александр тоже видел такие колодцы.

Чуть позже возвращающийся с рекогносцировки Юлиан наткнулся на группу молодых людей, несущих что-то тяжелое. Оказалось, что это лев, которого они только что убили ударом дротика. Оружие все еще торчало в боку зверя. Юлиан обрадовался. Он увидел в этом предзнаменование смерти царя и не сомневался, что речь идет о царе персов. Однако, когда он посоветовался с авгурами, те сказали прямо противоположное.

— Речь идет о царе, идущем с запада, — заявили они, качая головами. — О, Юлиан! Это еще один знак, запрещающий вторжение в земли Шапура и грозящий тебе такой же участью, как участь этого зверя¹⁵.

Окружавшие Юлиана философы возмущенно зашумели.

— В 297 году, — возразил один из них, — когда Галерий, еще будучи цезарем, выступил против персидского царя Нарса, ему принесли окровавленный труп льва. И он вернулся невредимым после победоносной кампании¹⁶.

— Ваши доводы не выдерживают критики, — отбивались авгуры. — В

те времена Нарс первым нарушил границы империи. Галерий только оборонялся. Лев же всегда означает нападающего.

«В этом вечном конфликте между упорными консерваторами, опирающимися на официальные предсказания, и отважными толкователями из школ восточного мистицизма», как справедливо замечает Аллар¹⁷, Юлиан, как всегда, отдал предпочтение последним. Но хотя он и запрещал себе сомнения, нагромождение мрачных пророчеств начинало тревожить его. Как убедиться, что боги все еще поддерживают его? В конце концов, он не получал от них прямых указаний со времени своего паломничества в Пессинунт. Желая успокоить себя, он попросил Максима Эфесского вновь обратиться к богам.

Кудесник преклонил колена перед колодцем с водой, начал ровно и глубоко дышать и впал в глубокое оцепенение. Спустя несколько мгновений он вздрогнул и открыл глаза. Но его взгляд был остановившимся, как у слепого. Он заговорил голосом, который звучал как бы из другого мира:

— Не бойся ничего, Юлиан... С тобой говорит не Максим, а Гелиос... Ты будешь побеждать до тех пор, пока будешь идти к моей колыбели... Твоя жизнь останется вне опасности, пока ты не вступишь во Фригийские поля...

— Фригийские поля? — воскликнул Юлиан и расхохотался. — Мы давно уже оставили Фригию позади, и у меня нет ни малейшего желания туда возвращаться! Если это единственная опасность, которая меня подстерегает, то это все равно, что я вообще вне опасности!

Успокоенный, он вернулся к войскам и велел продолжать путь.

Продвижение легионов было быстрым и легким. Многие из городов сдавались без сопротивления. Но солдат беспокоила сама эта легкость. У них было впечатление, что они погружаются в пустоту. Где парфяне? Почему они не показываются? Находятся ли основные силы Шапура до сих пор в Месопотамии? Или, споря в быстроте с римской армией, они отступают к югу, чтобы избежать окружения? Разведчики прочесывали местность почти до горизонта. Но они по-прежнему никого не встречали. С течением времени эта пустота и тишина становились все более тревожными.

Внезапно с высот Пирисаборы кто-то из всадников дал сигнал о приближении большого конного войска. При этом сообщении легионеры издали радостный крик. Наконец-то они померятся силами с противником! Они знали, что парфяне отличные кавалеристы и любая стычка с ними очень опасна. Но любая опасность казалась им лучше той

неопределенности, в которой они пребывали Со времени перехода через Хабур.

Не дожидаясь приказа командиров, легионеры наступательным шагом бросились на вражескую конницу. Этот дерзкий поступок мог погубить их; но оказалось, что лучшего решения нельзя было и придумать. Вооруженные стрелами и дротиками парфяне обычно старались держаться на расстоянии от противника, потому что это давало им возможность маневрировать, сидя верхом. В ближнем бою они теряли все свои преимущества и поэтому старались избегать сближения. Захваченные врасплах бросившейся на них с воплями толпой пехотинцев, они быстро смешались. Римские легионеры проникли в их ряды и стали избивать их.

Парфяне отступили на юг, бросив на поле битвы множество убитых и раненых. Что до легионеров, то они вообще не понесли потерь.

Эта победа, завоеванная много легче, чем можно было ожидать, подняла моральный дух войска и рассеяла тревогу последних дней. Парфяне и впрямь не были похожи на тех непобедимых демонов, которыми их описывали. Легионеры почувствовали, что вполне смогут гнать их до самых краев земли...

Вновь обретя уверенность, конники и пехотинцы опять построились в колонны и с песней продолжили путь. Флот сопровождал их, не испытывая никаких трудностей, тем более что, начиная с этого места, русло Евфрата расширялось.

Юлиан пребывал в радостном настроении. Успокоительные слова Максима изгнали из его души последние тени мрачных предсказаний авгуров, а результат первого сражения наглядно показал, что его солдаты могут успешно противостоять противнику и побеждать. До Ктесифонта оставалось всего несколько дней пути. Стало быть, нет повода для беспокойства...

11 мая войско вышло к руслу Нахармальхи. Это был широкий канал длиной в пять километров, связывавший Тигр и Евфрат между собой. Он был сооружен по приказу Селевка Евпатора чуть выше Вавилона. Позднее персы засыпали его песком, чтобы помешать римлянам воспользоваться им при вторжении. Из соображений предосторожности Шапур велел набросать сверху огромные камни.

Юлиан приказал расчистить канал. Как только уровень хлынувшей в него воды достаточно поднялся, флот смог беспрепятственно продолжить свой путь.

Начиная с этого времени, армия покинула долину Евфрата и устремилась на восток. Приближалось лето. День ото дня солнце становилось все горячее.

Местность, через которую шло войско, была плодородной и хорошо орошаемой. Ее пересекало множество узких каналов. Виноградники сменялись фруктовыми садами, засаженными цветущими персиковыми и абрикосовыми деревьями. Но еще более восхитительными были целые поля цветов, простиравшие в бесконечность свой многоцветный ковер и создававшие у солдат впечатление, будто они идут по покрывалу, сотканному из света. Там были и нарциссы, и амаранты, и жонкиль, и адонис. Жасмин и тубероза источали ароматы, сливавшиеся с более слабым запахом лилий и миндаля. Корабли флота с их осадными машинами и башнями тихо скользили по водам канала, берега которого поросли лавром и дикими азалиями. Все было разноцветным; воздух благоухал, и тысячи маленьких птичек с блестящим оперением порхали в нем, подобные россыпи драгоценных камней.

Юлиану никогда не приходилось видеть столь красивой земли. Он мысленно сравнивал ее с волшебными краями, о которых читал в юности: с садами Армиды, с садами Алкиноя. Но на этот раз реальность оказалась прекраснее сказок: место, через которое они шли, было настоящим земным раем.

Прошагав много часов посреди этого цветочного великолепия, войско подошло к круглой стене. Она окружала охотничьи угодья персидских царей. Там разводили львов, пантер, антилоп, газелей и еще один вид редкой, повсеместно ценимой дичи: фарсистанских черных медведей. Юлиан позволил своим командирам устроить охоту: такая остановка, решил он, придется им по вкусу.

Сам он не стал принимать участия в этом развлечении, потому что не любил охоту. Он воспользовался передышкой для того, чтобы посетить расположенную по соседству виллу, должно быть, принадлежавшую кому-то из местных правителей. Это был роскошный дом, построенный в эллинском стиле. Все в нем — атриум под открытым небом, пергола^[21], увитая глициниями и ломоносами, ряды колонн и украшенные изящной мозаикой полы — напоминало Юлиану его имение Астакью. Его глубоко тронуло то, что греческое искусство проникло так глубоко в Азию. Это было наследие македонского завоевания.

Чуть дальше он обнаружил помпезное здание в чисто вавилонском стиле: летнюю резиденцию царя царей. В ней находился тронный зал с инкрустированным золотом потолком высотой 20 метров, покоящимся на колоннах, вытесанных из кедра. По всем четырем стенам зала располагался барельеф, изображающий охоту на львов, тигров, пантер и газелей. Сам царь преследовал стадо онагров, стоя на колеснице, запряженной четырьмя украшенными плюмажем конями. Вся картина производила необычайное впечатление мощи и жизненности. Однако в сценах массового убийства животных таилось что-то жестокое.

Наконец 24 мая римское войско вошло в долину перед Селевкийей. Этот город, некогда один из богатейших в мире, уже в течение многих поколений стоял заброшенным и покинутым жителями. Юлиан осмотрел главные здания города. Одинокое эхо отзывалось на его шаги из-под просторных сводов. Картина заброшенного величия показалась ему столь тяжелой, что он предпочел не задерживаться здесь надолго. Выйдя из разрушенного дворца, он увидел наполовину высохшее русло реки, лентой вьющееся через город, и решил пройтись вдоль него. Оно вывело его к четырехугольному водоему, в котором стояла гнилая зеленоватая вода.

Попав на эту площадку, заросшую сорными травами, Юлиан

содрогнулся от ужаса. Вокруг водоема он увидел десяток насаженных на копья трупов, разлагавшихся под лучами солнца. Они смотрели на него окровавленными глазницами, из которых были вырваны глаза. Их изуродованные тела источали отвратительный запах. Это были тела правителей городов, расположенных вдоль Евфрата, тех, что бежали перед наступлением римских легионов. В наказание Шапур приговорил их к самой лютой казни в этом заброшенном месте, где тишину нарушало лишь стрекотание кузнечиков.

Юлиан понял это как предостережение: Шапур решил вести против него войну не на жизнь, а на смерть, и ему предстоит еще немало сражений, прежде чем он сумеет достичь цели. Оторвав взгляд от ужасного зрелища, Юлиан вскочил в седло и сразу же покинул Селевкию.

Он спешил догнать свое войско, обогнавшее его на расстояние полудневного перехода. К утру войско достигло правого берега Тигра и разбило лагерь напротив Ктесифонта.

VI

Ктесифонт! Юлиан с бьющимся от волнения сердцем впервые смотрел на столицу Шапура, мощные стены которой простирались на многие километры, окруженные рядами пальм. Вот оно, последнее препятствие на пути завоевания Азии, город, вокруг которого непрестанно вращались его мысли с самого отъезда из Антиохии! Теперь он лежит перед ним, до него рукой подать. Их разделяет только Тигр.

Однако Шапур, очевидно, ждал его. Гарнизон города был готов к бою. Более 60000 человек выстроились в боевом порядке на равнине, отделявшей город от берега реки. При каждом движении воинов их шлемы и кольчуги сверкали на солнце. Переправить через Тигр армию и флот не представлялось возможным, ибо их сразу же забросали бы стрелами и копьями.

Как всегда в тяжелые минуты, Юлиан воззвал к Гелиосу. Через мгновение лицо императора озарила улыбка. Он бросился в свой шатер, велел позвать командиров и спросил их, что они думают о создавшемся положении.

Командиры молчали. Их лица были мрачными. Наконец один из них решился взять слово.

— Раз уж ты спрашиваешь нашего мнения, Юлиан Август, я выскажу его тебе от лица всех! — высокомерно сказал он. — Эта экспедиция — безумие. Все предзнаменования против нас, все преимущества на стороне противника. Ты видел парфян? Их больше, чем звезд на небе. Нам никогда не победить их. До тебя уже многие пытались — и им это не удалось. Неужели ты думаешь, что сможешь своими руками поставить плотину на пути этого людского моря? Не упорствуй понапрасну. Эта война заранее проиграна. Прислушайся к голосу мудрости: прикажи войскам развернуться и идти назад в Антиохию. Это единственный разумный выход...

Движением руки Юлиан велел ему замолчать.

— Раз таково ваше мнение, — коротко ответил он, — соберите ваших людей. Я сам обращаюсь к ним.

Спустя полчаса Юлиан вышел к войскам и сказал:

— Солдаты! Неважно, видели ли вы персов. Важно, что персы видели вас!

Юлиан умолк на мгновение и внимательно всмотрелся в лица

легионеров. Все хранили молчание, не понимая, к чему он клонит. Тогда он продолжил:

— За последнюю неделю вам пришлось пройти много суровых испытаний. Вам удалось расчистить канал, провести флот от Евфрата до Тигра, доставить сюда все необходимое для боя и разбить лагерь. Я понимаю, что вам нужно несколько часов отдыха. Поэтому я решил посвятить остаток этого дня скачкам и атлетическим состязаниям. Я сам возложу золотые венки на головы победителей.

Солдаты оторопели, услышав эту речь. Если бы ее произнес кто-нибудь другой, они решили бы, что имеют дело с сумасшедшим. Как можно предлагать им игрища, когда менее чем в миле от них выстроилась в боевом порядке армия великого царя персов? Неужели это победитель Страсбургского сражения говорит такое? Однако, оправившись от первого потрясения, они подумали, что у Юлиана, возможно, есть основания поступить таким образом. Если их вождь столь уверен в себе, то зачем беспокоиться им? В конце концов они решили полностью положиться на Юлиана¹⁸.

Всю вторую половину дня перед глазами персов происходили пешие и конные состязания, перемежающиеся атлетической борьбой. С высоты импровизированной ложи Юлиан подбадривал участников, лично раздавая награды победителям. Парадоксальная ситуация! Персы стояли вооруженные до зубов, а римские солдаты оставили оружие в палатках. Если бы воины Шапура совершили вылазку, они могли легко перебить их всех. Однако Юлиан сохранял невозмутимое спокойствие, ибо Гелиос заверил его в том, что парфяне не пойдут в атаку.

Они не только не пошли в атаку, они наблюдали за играми с таким интересом, что, похоже, забыли о том, что находятся в состоянии войны. Вскоре их примеру последовало гражданское население Ктесифонта. Жители города собрались на городских стенах, чтобы насладиться этим зрелищем, и каждый раз, когда кто-то из легионеров одерживал победу в состязании, с другого берега слышался одобрительный гул. Группа командиров расположилась в промежутке между двумя зубцами стены. Среди них Юлиан различил Шапура по шлему с тройным сутаном из перьев и по стоящему рядом царскому знамени. Оно представляло собой квадратный кусок рыжей звериной шкуры, украшенной драгоценными камнями.

Состязания продолжались до наступления ночи. Убежденные в том, что в этот вечер никакого сражения не будет, парфяне покинули боевые позиции и вернулись в город. Крутой берег Тигра опустел. Воины ушли

также со стен Ктесифонта.

Когда полностью стемнело, Юлиан приказал легионерам взять оружие, быстро взойти на корабли и переправиться через реку. Первой снялась с якоря небольшая группа лодок под командованием Виктора. Однако персидский часовой заметил их и поднял тревогу. Из города выбежали небольшие отряды воинов. В ту же секунду сотни горящих стрел замелькали в воздухе, обрушиваясь на судна. Два из них загорелись. Пожар быстро перекинулся на третье. Внезапное нападение не удалось. Не успевшие взойти на корабли легионеры застыли на месте, парализованные страхом. Они были убеждены, что переправа провалилась.

Однако Юлиан сумел спасти положение.

— Победа! — закричал он. — Корабли горят! Это сигнал, о котором мы условились с Виктором! Высадка удалась! На корабли! На корабли!

Он говорил так уверенно, что люди поверили ему на слово. Юлиан бежал вдоль берега, крича, размахивая руками, подталкивая одних, подгоняя других и побуждая всех как можно скорее погрузиться на корабли. Он сам вспрыгнул на борт первого судна, когда оно уже отчаливало от берега. Пример оказался заразительным! Теперь солдаты были уже возбуждены не меньше, чем он. Они бегом ринулись к оставшимся кораблям. Некоторые, боясь опоздать, даже бросались вплавь, рассекая воду щитами¹⁹.

К наступлению дня все римское войско уже переправилось на левый берег.

VII

К рассвету Юлиан отдал приказ готовиться к бою. Под руководством командиров легионеры построились у своих штандартов и образовали каре.

Все это время ворота Ктесифонта изрыгали новые и новые войска, которым, казалось, не было конца. Перед городом собрались не только все отряды гарнизона, но и отряды ополчения, составленные из гражданского населения. Сначала появилась кавалерия в кольчугах и конических шлемах; затем — пехота с продолговатыми щитами из ивовых прутьев, обтянутых звериными шкурами; потом — сотня слонов, на спине каждого из которых помещалась башня с отрядом лучников. Персы образовали дугообразный строй перед стенами города, а за их спинами стояли слоны, как бы поддерживая их своими массивными телами землистого цвета. Заняв пост на одной из стен, Шапур и члены его штаба управляли движением своих войск.

Поначалу медленно, а затем все быстрее и быстрее римские легионы стали двигаться навстречу противнику. Юлиан гарцевал на коне впереди них, легко узнаваемый по пурпурному плащу.

Тут затрубили атаку. Легионеры с криком бросились вперед. Столкновение было ужасным. Сражающихся сразу же окутало облако пыли, и больше уже ничего не было видно. Однако это было живое облако, внутри которого происходило движение, сверкали молнии, раздавались боевые кличи, раскаты трубных звуков и бряцание металла о металл. Два войска сцепились в отчаянной схватке. Начавшись незадолго до рассвета, сражение продолжалось до наступления сумерек, ни на минуту не затихая.

К вечеру повеявший с Тигра ветер разогнал облако пыли, скрывавшее поле битвы. И тут персы осознали постигшую их катастрофу. Их позиции были прорваны по всей линии фронта. Часть отрядов была полностью рассеяна. Чтобы как-то спасти положение, они начали отходной маневр, который быстро превратился в беспорядочное бегство. Зажатые в узком пространстве, не позволявшем маневрировать, эскадроны кавалерии отступали к стенам, давя копытами коней находящихся за ними пехотинцев. Среди слонов тоже началась паника. Выйдя из-под контроля погонщиков, они начали бегать туда и сюда по полю битвы, издавая дикий рев. Это был сплошной хаос. Персами овладел дух поражения. В несколько мгновений их войско превратилось в вопящую и толкающуюся толпу, которая мчалась к воротам города. За ними, не отставая ни на шаг, гнались

галльские легионы.

Поток людей хлынул в ворота. Петуланты легко могли бы ворваться внутрь городских стен под прикрытием темноты и общего смятения. Еще немного, и Ктесифонт был бы взят²⁰. Однако Виктор, которого только что ранили в плечо, остудил пыл своих воинов. Он, без сомнения, счел неосторожным позволить солдатам углубиться в этот огромный город, население которого по численности в сотню раз превосходило их отряды и легко могло перебить их²¹.

Легионеры отличались дисциплинированностью. Хотя приказ Виктора показался им неразумным, они вернулись на свои позиции, а тяжелые бронзовые ворота захлопнулись с грохотом, как бы рыча вслед последним персидским воинам.

VIII

Впервые в жизни Юлиан добился лишь полууспеха. Не позволив петулантам войти в Ктесифонт, Виктор упустил победу. Все сложилось бы по-другому, если бы здесь был Прокопий! Две соединенные армии сумели бы овладеть городом, и к этому времени римские штандарты развевались бы на его башнях.

Но Прокопий не явился. Что с ним случилось?

Юлиан расставил часовых на подступах к городу и велел им внимательно следить за окрестностями и тотчас же сообщить ему, когда появится первый отряд Прокопия. Однако от Прокопия не было никаких известий. Что могло означать это опоздание?

К полудню, все еще не получив никаких сообщений, Юлиан решил с двумя когортами пойти навстречу Прокопию. Пройдя три часа по берегу против течения Тигра, он вышел к селению, жители которого мирно занимались повседневным трудом. На вопросы римлян они ответили, что вот уже много лет здесь не видели никаких чужестранных солдат.

Продолжая двигаться вперед, Юлиан прибыл в Опис. Это был еще один некогда значительный город, сыгравший важную роль в кампании Александра, поскольку он находился на пересечении дорог, ведущих из Малой Азии к Персидскому заливу и от Средиземного моря к Каспийскому. Теперь же он представлял собой лишь жалкое подобие крепости. Юлиан расспросил пастухов. Их ответ был таким же. Они никого не видели: ни пехотинцев, ни конников...

Все более беспокоясь, Юлиан спрашивал себя, стоит ли продолжать поиски или лучше вернуться — ведь углубляться в пространство вражеской страны со столь малым эскортом было опасно. И тут он увидел римского солдата, лежащего в беспомощности на дне рва. Он был одет в лохмотья и, казалось, умирал от голода. По знакам отличия, которые он носил, было ясно, что он входил в один из отрядов армии Прокопия. Кто он, единственный уцелевший после боя? Может быть, первый корпус был разбит по выходе из Абиадены?

Юлиан велел напоить и накормить солдата. Когда тот пришел в себя, то рассказал, что случилось. И то, что случилось, оказалось намного страшнее всего, что мог предположить Юлиан!

Армянский царь Аршак пообещал предоставить свою армию в распоряжение Юлиана. Однако, будучи христианином, он, оказывается,

вовсе не собирався помогать ему. Зная религиозные взгляды Юлиана, Аршак предпочел бы, чтобы тот погиб под стенами Ктесифонта. Ему удалось убедить Прокопия в том, что и тому нет никакой выгоды помогать Юлиану. Разве не мудрее будет переждать и посмотреть, как станут разворачиваться события? Прокопий послушался его: он отдал приказ войскам оставаться на месте.

Прокопий был прекрасным стратегом. Юлиан не случайно доверил ему половину своей армии. Однако Прокопий был скрытен, и его раздрали амбиции. Аммиан пишет: «Он был красив, велик ростом и печален. Он ходил, вечно согнув плечи и вперив взор в землю, и никто никогда не видел, чтобы он улыбался»²². Несмотря на это, Юлиан так высоко ценил Прокопия, что, прощаясь с ним на полпути между Тигром и Евфратом, подарил ему один из своих пурпурных плащей, сказав:

— Если в этой кампании со мной случится какое-нибудь несчастье, ты знаешь, что тебе нужно делать! У меня нет детей. Надень этот плащ, срочно возвращайся в Константинополь и провозгласи себя августом!

Какая неосторожность! С этой минуты Прокопием владела лишь одна мысль: сменить Юлиана на троне. А в таком случае зачем ему было идти к Ктесифонту и оказывать Юлиану поддержку? Не лучше ли было, подобно Аршаку, подождать, пока император сгинет?

Встреченный Юлианом солдат пешком преодолел расстояние от Абиадены до Описа, чтобы предупредить императора о вероломстве Прокопия.

Юлиан был сражен его рассказом. Измена Прокопия ставила императора в критическое положение. Она лишала его не только половины войска, но и надежды окружить армию Сурены.

Парфянские силы подразделялись на две категории: войска гарнизонов и полевые армии. Войска гарнизонов, нечто вроде народной милиции, набирались и размещались в городах. Их качество и боеспособность были весьма посредственными. Оборону городов вдоль Евфрата и оборону самого Ктесифонта осуществляли именно такие войска.

Полевая армия была совсем другого рода. Ее составляли конники родом с Кавказа и из Восточной Персии. Они были закалены в боях и обладали невероятной маневренностью. Именно такая армия находилась на равнинах Месопотамии. Измена Прокопия позволила ей откатиться на юг, покинув узкий проход между двумя реками. Отряды лучников, на которых римские легионеры натолкнулись у высот Перисаборы²³, были лишь малой частью арьергарда этой армии. Основные силы парфянского войска ничуть

не пострадали и отступали на юго-восток, намереваясь перекрыть Юлиану дорогу в Азию. Чтобы разбить их, надо было гнаться за ними через пустыню, возможно, вплоть до самых границ Арейи или Бактрианы...

С тяжелым сердцем Юлиан отдал приказ двум сопровождавшим его когортам возвращаться назад в Ктесифонт. Нельзя сказать, чтобы он был сокрушен. Однако он внезапно почувствовал еще большее одиночество...

По прибытии в Ктесифонт Юлиан узнал, что Шапуру удалось улизнуть из крепости и отправиться на соединение с армией Сурены. Это еще более усложняло задачу Юлиана! Надо было переделывать весь план кампании. Но какую бы новую форму он ей ни придумал, ему было ясно одно: ни в коем случае нельзя задерживаться подле Ктесифонта. Там римские легионы были бы обречены на окончательную гибель. Даже взяв город, они не смогли бы двинуться ни вперед, ни назад и представляли бы собой великолепную мишень для вражеских стрел.

Если Юлиан сомневался, какое решение следует принять, то и Шапур, со своей стороны, не был уверен в себе. То, что наследник Констанция успешно дошел до стен его столицы, доказывало, что молодой император куда более сильный противник, чем можно было предположить. До него ни одному римскому императору не удавалось зайти столь далеко в глубь Персии, не потеряв по дороге часть своей армии. Кроме того, Шапур был уверен, что римские легионы рано или поздно овладеют Ктесифонтом, пустив в ход осадные машины и гигантские катапульты. Потеря города занесла бы серьезный урон его авторитету в глазах подданных. Чтобы избежать такого несчастья, он решил направить Юлиану предложения о заключении мира на следующих условиях²⁴.

Если Юлиан немедленно отведет войска из Персии, Шапур уступит ему половину Месопотамии, то есть всю ту часть своего царства, которая расположена к западу от линии Нисибис — Киркесий и приблизительно соответствует долине Хабура. Кроме того, он своими силами восстановит Амиду, разрушенную его конницей во время прошлогодней кампании против войск Констанция, и возместит Юлиану все военные расходы.

Хотя Юлиан и отказался принять послов Великого царя персов, он знал об этих условиях от Ормизда.

— А что ты думаешь о предложениях Шапура? — спросил он Ормизда.

— Я думаю, что, если бы персидский царь был уверен в победе, он не предложил бы тебе половину своего царства...

Юлиан придерживался того же мнения. В то же время, если верить

Григорию Назианзину, «он толком не знал, на что решиться»²⁵. Стоит ли удивляться этому? Ему еще никогда не приходилось решать такое количество вопросов одновременно. Стоит или не стоит принять предложения Шапура? И если не принимать их, то следует ли далее осаждать Ктесифонт или лучше двинуться в глубь Азии, оставив крепость у себя за спиной?

Чтобы точно знать мнение своих командиров, Юлиан решил созвать большой военный совет.

IX

Совет состоялся на следующий день, 31 мая, в долине у стен Ктесифонта. В императорском шатре собрались все старшие военачальники, а также командующие легионами и когортами. Там были Невитта, Виктор, Аринфей, Ормизд, Дагалаиф, Секондин, Луцилиан, Константин, Валентиниан и многие другие. Юлиан председательствовал, сидя в окружении своих приближенных и нескольких философов, которых он также пригласил. Это были Максим, Орибасий, Анатолий и Евтерий. Прежде чем предоставить слово военачальникам, Юлиан подробно описал им ситуацию. Ничего не скрывая, он рассказал об измене Аршака и Прокопия, о состоянии вооружения и провианта, о неоднозначных результатах битвы за Ктесифонт. Наконец он сообщил им о полученных от Шапура предложениях.

— Что касается меня, — сказал он в заключение, — то я намереваюсь отклонить их, потому что они доказывают, что Шапуром уже овладел дух поражения. Один из моих осведомителей сообщил, что в последние дни перед побегом из Ктесифонта он метался по дворцу, жалобно стелая и посыпая голову пеплом. Согласиться на его условия означает вернуть ему столицу и трон, которые он фактически уже потерял. В соответствии с законами стратегии, которые учат, что начинать надо с уничтожения армии противника, мне представляется единственно правильным решением двинуть войска в глубь Азии...

Собравшиеся на совет командиры не дали ему закончить фразу. Они перебили его протестующими возгласами. Громче всех возражали приверженцы «римской традиции».

— Ты сошел с ума! — воскликнул один из них. — С самого начала этой кампании подле тебя находятся дурные советники. Авгуры ясно сказали: кампания закончится катастрофой. Мы уже говорили тебе, что единственное средство избежать ее — это убраться из Персии и вернуться в Антиохию. Тогда кампания осталась бы полупоражением. И вот теперь Шапур предлагает тебе условия, на которых это полупоражение превращается в неоспоримую победу: половина Месопотамии, восстановление Амиды, возмещение военных расходов! Вдумайся, Юлиан: о таких условиях нельзя было даже мечтать!

— Еще ни одному римскому императору не предлагали столь выгодных условий, — подчеркнул другой. — Даже Помпею после победы

над Митридатом! Империя увеличится, включив в себя целую половину Месопотамии, и для этого не надо больше воевать! Даже самый честолюбивый завоеватель не стал бы мечтать о большем!

— Тем более что в будущем мы можем ждать любых неожиданностей, — добавил Аринфей. — Парфянская армия еще далеко не разбита. Она отходит на восток. Как ты не понимаешь, что это делается для того, чтобы заманить нас в ловушку? Где мы наткнемся на эту армию? Где-нибудь в пустыне? И сколько сил останется у нас к тому времени? Несколько жалких легионов, истощенных жарой, усталостью и жаждой!

— Если мы тебя правильно поняли, — сказал своим звучным голосом Виктор, — ты собираешься отвергнуть предложения Шапура и идти в Азию, оставив Ктесифонт у себя за спиной. Но это безумие! Сколько войска у тебя осталось? Сорок пять тысяч человек, самое большее! А сколько насчитывает конница Шапура? Никто этого точно не знает. Может быть, сто тысяч. И ты собираешься подвергнуться такому риску вместо того, чтобы принять почетное предложение... Мы вряд ли сможем последовать за тобой... В конце концов, ты не римлянин. У тебя нет ни чувства реальности, ни чувства государственности²⁶.

Итак, слово было сказано. Его поддержал одобрительный гул голосов. Юлиан сильно побледнел. Командиры продолжали говорить и все более распалялись. Их возражения уже граничили с неповиновением. Что до командиров-христиан, то они следили за дебатами с высокомерным равнодушием. Они знали, что за спиной армии волнуется Малая Азия и повсюду распространяются недобрые слухи. Один из них повернулся к Иовиану и тихо спросил его:

— Слышал ли ты, какая шутка сейчас в ходу в Антиохии?

— Нет!

— Знаете, чем занят нынче Сын плотника? Он вытесывает гроб...

Иовиан с трудом подавил улыбку. Однако эта реплика была заглушена всеобщим шумом. Все говорили одновременно. Атмосфера все более накалялась.

Резким движением руки Юлиан заставил военачальников замолчать. Когда восстановилась тишина, он дал слово дрожавшему от ярости Максиму.

— Я счел бы вас трусами, если бы думал, что вы способны понять, о чем идет речь, — загремел тот, глядя на римских командиров. — К сожалению, из-за вашей глупости вы не в состоянии этого понять. С первого же дня вы противились войне, задач которой вы не можете оценить. Поэтому я обращаюсь не к вам...

С гневно горящими глазами он повернулся к Юлиану и продолжал:

— Для чего мы пришли сюда: для того, чтобы присоединить полпровинции, или для того, чтобы завоевать мир? Для того, чтобы дать империи возможность укрыться за незыблемыми границами, или для того, чтобы открыть ее навстречу всей вселенной? Чтобы оценивать бедствия войны или чтобы принести всем Откровение Солнца? Если мы не сделаем этого сейчас, мир сгинет во тьме в ужасных конвульсиях. В него хлынут варвары, и потребуются, может быть, тысяча лет, чтобы прийти к единству. Мы уже близки к цели. Единственное, что стоит у нас на пути, — это армия Шапура. Она испугана. Она бежит. Опрокинув эту ничтожную преграду, мы с триумфом придем к истокам Солнца, которые являются не только источником света, но и источником Единства, Мудрости и Жизни.

И повернувшись к командирам, он закончил:

— В эту великую минуту, когда решаются судьбы мира, вы хотите отказаться от борьбы?

Максим пылал священным гневом. Закончив эту язвительную речь, он на мгновение замолчал, чтобы перевести дух, а потом спросил Юлиана:

— Кому ты обязан восхождением на трон? Этим старцам? Конечно, нет! Большинство из них были с Констанцием и, не задумываясь, пошли бы в бой против тебя, если бы Констанций приказал им это. Ты ничем им не обязан! И ты предпочитаешь слушать их советы, а не советы Гелиоса? Боги не вмешивались столь открыто в жизнь ни одного другого римского императора. Это они создали твою судьбу. *О Гелиодромос*, крещенный кровью Митры, не собираешься ли ты отказаться от возложенной на тебя миссии и последовать совету этих старых пустомель, которые всегда останутся не более чем командирами наемников?

Военные заворчали. Однако красноречие Максима произвело на них впечатление.

В эту минуту взял слово Орибасий.

— Юлиан, вспомни ту ночь в Лютеции, — сказал он, — ту священную ночь, когда ты заперся во дворце, слыша вокруг себя ропот восставших легионеров. Ты не решался выйти к ним. Ты думал, что они взбунтовались против тебя и хотят твоей смерти! Случилось так, что именно мы сказали тебе: «Они не желают тебе зла. Они пришли, чтобы провозгласить тебя Августом». Ты поверил нам и смог убедиться, что мы тебя не обманули. Сделай то же сегодня! Поверь нам, когда мы говорим, что ты — Александр!

— Никогда не забывай пророчества Гелиоса, — вновь заговорил Максим. — *Ты будешь побеждать, пока будешь идти к моей колыбели...* То есть до тех пор, пока ты будешь идти в глубь Азии. Не думай о

возвращении! Это означало бы добровольно избрать позор и бесчестье. Не позволяй горстке старых глупцов подорвать твою веру. В конце концов они здесь только для того, чтобы исполнять твою волю! После того, как ты одержишь победу и утолишь жажду у источника Солнца, да, тогда ты вернешься в Константинополь, наделенный неограниченной властью. Хранитель Высшего Откровения, ты воссядешь на троне, стоящем у Босфора, в тройном качестве Августа, Посланника Солнца и Объединителя рода человеческого. И тогда ты услышишь, как все народы мира возносят тебе хвалу...

— Более того, — добавил Анатолий, — вполне может случиться, что произойдут непредвиденные события. В твоей жизни уже было немало неожиданного. Кто знает, вдруг Шапур погибнет при таинственных обстоятельствах накануне последнего сражения, как это случилось с Констанцием? Тогда все дороги Азии откроются перед нами и мы без единого сражения дойдем до Суз и Экбатана!

Военные живо отреагировали на последний аргумент. Они сами присутствовали при кончине Констанция и помнили, как радикально изменилось положение дел после того, как он внезапно сошел со сцены.

Юлиан поднял руку и коротко сказал:

— Задача ясна. Мы идем в Азию.

Но тут встал вопрос о флоте. Если армия отойдет от берега реки, чтобы направиться в пустыню, то корабли станут бесполезны. С другой стороны, оставить их вблизи Ктесифонта означало подвергнуть флот опасности уничтожения при первой же вылазке гарнизона города.

— Можно ли вернуть корабли в Амиду и оставить их там в безопасности? — спросил Секондин.

— Невозможно, — отозвался Луцилиан, — Тигр судоходен только в нижнем и среднем течении. Выше Ниневии корабли не пройдут. К тому же течение Тигра намного стремительнее, чем на Евфрате.

— Тогда, может быть, удастся отвести корабли по Евфрату?

— Подниматься вверх по течению, это не то, что плыть вниз по реке, — ответил Луцилиан. — Людям придется тащить корабли против течения. Хватит ли у нас для этого людей? — спросил он Константина, возглавлявшего личный состав флота.

Константин на минуту задумался.

— Нет, — ответил он. — Для этого нужно по меньшей мере 20 000 человек подкрепления, а их можно взять только из сухопутных войск.

Юлиан быстро считал в уме. Он начал войну с 80000 человек. От них, из-за предательства Прокопия, осталось всего 45000. Если армию сократить

еще на 20000, что останется? Самое большее 25000. Когда он шел на Константинополь, у него было еще меньше людей. Но все же 25000 человек — это действительно слишком мало для завоевания целого континента...

На лице Юлиана появилось выражение усталости.

— Когда Александр высадился в Азии, — тихо произнес Орибасий, как бы говоря сам с собой, — он сжег корабли, на которых переплыл Геллеспонт...

— Благодарю вас, — сказал Юлиан командирам. — Вы изложили мне свое мнение. Я подумаю. Возвращайтесь в свои палатки и ожидайте моих приказов. В должное время вы их получите.

Он поднялся в знак того, что совещание окончено.

В тот же вечер, дабы ясно показать непоколебимость своего решения, он приказал сжечь весь флот за исключением двенадцати кораблей, которые предстояло демонтировать, чтобы войско могло везти их с собой в телегах обоза.

На палубы кораблей бросили зажженные факелы, обмазанные смолой. Деревянные суда тут же вспыхнули. Ветер быстро переносил пламя с корабля на корабль. Всего за несколько секунд все 50 боевых галер, 60 понтонных судов и 1390 лодок стали добычей огня. Это было грандиозное зрелище! По снастям бежали искры, мачты обрушивались, как обугленные стволы деревьев. Катапульты и гелеполисы раскачивались на своих подставках и с ужасным треском падали вниз в то время, как снопы искр взлетали в небо и вся долина Тигра становилась красной от отблеска пожара. Столпившиеся на берегу солдаты плакали, видя, как гибнет флот, символ их надежды на возвращение. Вскоре от флота осталось лишь множество углей.

Спустя четыре дня (3 июня) армия выступила на восток. Поскольку больше не было флота для перевозки провианта, Юлиан велел погрузить на телеги запасы продуктов и воды, залитой в бурдюки.

Внезапно на смену весне пришло лето. Всего за несколько дней жара стала невыносимой. Юлиан надеялся, что эта напасть продлится недолго, потому что местные жители заверили его, что засуха наступает не раньше середины июля.

Войско покинуло ту узкую борозду, которую река за тысячелетия прорыла в месопотамском иле. Оно ступило на пологий склон и двигалось теперь по безводному плато, простиравшемуся в бесконечность. Юлиан скакал впереди войска вместе со своим врачом Орибасием и небольшой группой командиров. Они скакали, устремив взгляды на горизонт в надежде увидеть армию Шапура. Но ничего не видели. Казалось, парфянская конница испарилась...

Войско заночевало в пальмовой роще, где солдаты смогли вдоволь напиться воды и освежиться. Их моральный дух, упавший было при сожжении флота, начал восстанавливаться. Командиры объяснили им: поход в пустыню будет коротким и они скоро вернутся назад.

На следующее утро они отправились в путь с первыми лучами солнца. К полудню жара стала невыносимой. Местность вокруг постоянно изменялась. Островки пальм становились все более редкими; расстояние между колодцами все увеличивалось. Вскоре исчезли последние растения. Вместо потрескавшейся земли под ногами оказалась смесь песка и мелких камешков, обжигавшая ноги даже сквозь подошвы обуви.

В это время два человека из вспомогательного конного отряда проскакали вдоль колонны, разыскивая Юлиана. Они сообщили, что едва войско ушло, гарнизон Ктесифонта вышел из стен города и предал огню окружающие город пшеничные поля. Весь урожай сгорел. Долина, в которой два дня назад стояли лагерем римские легионы, превратилась в море огня.

Юлиан лишь пожал плечами, услышав эту весть. Он не собирался до осени возвращаться в Ктесифонт. Если жители города решили по собственной воле обречь себя на голод, то это их дело. Тем быстрее падет город, когда он вернется и осадит его...

Долгие дни армия шла на восток, все глубже проникая в иранскую

пустыню. Отражающиеся от песка солнечные лучи слепили глаза, а массы горячего воздуха, поднимавшиеся от земли, застилали горизонт.

Вскоре солдаты уже не видели вокруг себя ничего, кроме пылающей пустоты. Песок скрипел под их ногами, как ковер, сотканный из обожженной земли, а небо казалось почти черным.

Вскоре стали подходить к концу запасы воды. К усталости добавилась жажда. По счастью, они наткнулись на нечто вроде артезианского колодца. Его теплая и коричневатая вода стекала в небольшой водоем. Люди бросились к воде, как сумасшедшие, и ничто не могло их остановить. Юлиану пришлось применить драконовские меры, чтобы добиться справедливого распределения драгоценного питья среди всех отрядов. Казалось, солдаты потеряли голову. Двое из них поссорились из-за бурдюка с вонючей водой, и ни один не желал уступить, так что обоих пришлось убить на месте ударом меча.

Затем стала ощущаться нехватка продовольствия. Юлиан был вынужден уменьшить дневной паек. Чтобы подать пример другим, он сам ограничивался двумя чашками крупы в день. Разведенная в небольшом количестве воды, она представляла собой отвратительно пахнущую жижу. Аммиан пишет, что «на нее не позарился бы даже слуга, работающий в конюшне».

Войско шло дальше, но его силы таяли. Чтобы сэкономить пищу, пришлось пожертвовать лошадьми. Люди вскрывали им вены и пили кровь. Она была горячей и вязкой. Потом они разделявали туши и сушили мясо. Однако мясо быстро становилось жестким, и к тому же его нельзя было долго хранить.

Жара становилась нестерпимой. Солдаты больше не могли идти в доспехах, металлические части которых обжигали им бока. Они срывали их и бросали в пустыне. Потом настал черед шлемов, сжимавших им виски огненным обручем. Их тоже побросали. Жар солнца был ужасен. Можно сказать, солнце уже не источало лучи света, а изливало струи раскаленного металла.

Поскольку все лошади были перебиты, людям пришлось волочить телеги на себе, а это требовало дополнительных усилий. Все жестоко страдали, но тяжелее всего приходилось галлам и германцам, непривычным к такому жаркому климату. Даже пастухи-кочевники, которых они встретили в пути, не осмеливались выходить из палаток, боясь солнечного удара, и утверждали, что в этих местах с незапамятных времен не случалось такого лета.

У солдат воспалились веки, потрескались губы, язык стал сухим, как

пергамен. Некоторые из них, получив солнечный удар, валялись наземь у края дороги и больше не вставали. Другие, охваченные приступом безумия, с криком бросались бежать. Но не пробежав и сотни шагов, в свою очередь падали на землю.

Юлиан тоже шел пешком, потому что был вынужден убить своего коня. Он испытывал невероятное сострадание к несчастным воинам. Время от времени он подходил к ним, чтобы поддержать их дух.

— Возвращение назад ничего не даст, — разъярялся он. — Парфяне сожгли всю долину Тигра. Спасение впереди и только впереди. Скоро мы придем в более благоприятные места и в изобилии найдем там еду и воду. Тогда, подкрепив свои силы, мы одолеем парфян!

Он говорил с солдатами ласково, но твердо, заверяя, что они приближаются к цели, и умоляя сделать последнее усилие. Казалось, в его словах заключалась какая-то сила, придающая людям мужество, потому что, едва заслышав его голос, солдаты подтягивались и шли дальше.

Сам Юлиан, шедший впереди своей армии, казалось, легче других переносил это испытание. Но глубокие морщины, избороздившие его лицо, свидетельствовали о том, что он тоже страдает. Несмотря на то, что его выносливость вошла в легенду, его поддерживала скорее всего не физическая сила, а упорная, страстная, непоколебимая вера...

Истоки Солнца! Чтобы придать себе мужества, он пытался представить их себе. Наверное, это место, где никогда не наступает ночь, день идет за днем или заря рождается из зари, где Восток и Запад сливаются в единую субстанцию.

Но зачем беспокоиться и гадать? Он скоро придет туда и увидит то, что до него не видел никто из живущих: он увидит, как Гиперкосмическое солнце порождает Солнце видимое посредством равномерных и продолжительных пульсаций...

— Взгляни на своего сына, Гелиос! — бормотал он. — Я подчиняюсь твоим приказам, я иду по твоим следам. Я до конца останусь верен тебе и не поддамся слабости! Если будет нужно, я пройду сквозь огонь, чтобы прийти к тебе!

Похоже, он и впрямь шел сквозь огонь, ибо все вокруг — и земля, и воздух, и небо — были сплошным пеклом. Выцветшие римские знамена безвольно повисли на древках, и такая декорация в стиле Апокалипсиса придавала оттенок жестокой иронии начертанному на них девизу: *Soli Invicto!* О нет! Солнце было не просто непобедимым. Оно достигло полного триумфа. Казалось, оно хотело доказать людям безграничность своей разрушительной силы. Оно с безразличием смотрело, как они

умирают, словно желая наказать их за то, что они осмелились посчитать себя равными ему. Скоро ничего живого не останется на земле: солнце пожрет, сожжет, спалит все! Некоторые легионеры угрожали солнцу мечами, выкрикивая дикие проклятья. Они испытывали к нему столь сильную ненависть, что погасили бы, если бы смогли...

Армия превратилась в бесформенную, шатающуюся из стороны в сторону массу, в которой уже нельзя было различить отдельных отрядов. Конники и пехотинцы шли вперемешку, поддерживая друг друга. Они брели, спотыкаясь, похожие на армию призраков. Вскоре они уже не могли идти в поножах и решили их снять. Им приходилось обрезать ремни, потому что иначе вместе с ремнями отрывались лоскутья плоти. Никогда ни одной армии не приходилось терпеть подобную пытку. Легионеры ушли из Ктесифонта не более двенадцати дней тому назад, но эти двенадцать дней показались им вечностью. Угрюмые и иссушенные страданием, они все же считали делом чести следовать за своим командиром. Но они уже были не в состоянии этого делать. Они умоляли Юлиана положить конец их мучениям. Но Юлиан продолжал двигаться вперед, как бы ведомый не своей волей. Глядя на него, можно было подумать, что он не чувствует усталости. Однако с каждым шагом его колени тоже слабели, а перед глазами плясали черные круги.

Неожиданно 15 июня у него появилась галлюцинация. Он увидел, что на востоке весь горизонт закрыт огненной стеной. Ему показалось, что за завесой пламени, там, где полыхала сама земля, он увидел истоки Солнца.

— Хвала Богу! — воскликнул он как в бреду. — Наконец мы дошли до цели. Солдаты! Последнее усилие. Радость, ожидающая нас там, утешит нас после несчастий.

Он опустился на колени, бормоча имя Гелиоса, и поцеловал землю, которая обожгла его пересохшие губы.

Орибасий и два офицера, увидевшие, что он упал, решили, что это солнечный удар, и бросились поднимать его. Они с облегчением вздохнули, поняв, что он жив.

— Остановись, Юлиан! — умоляюще сказал ему Орибасий. — Не ходи дальше... Это невозможно...

— Почему невозможно? — с безумным видом пробормотал Юлиан. — И это говоришь мне *ты*?

— Посмотри на свою армию. Она вот-вот взбунтуется. И солдаты, и командиры говорят, что шагу не ступят дальше. Начинается смута. Они говорят, что ты поклялся погубить их, что ты хочешь завести их в ад...

Юлиан обернулся и с ужасом увидел, что армия больше не идет за

ним. Большая часть людей, истерзанных и едва живых, лежала на земле. Другие начинали разбредаться по пустыне. Еще несколько мгновений, и легионов больше не будет...

Тогда Юлиан понял, что дошел до предела, который невозможно перешагнуть. Для того чтобы идти дальше, ему пришлось бы бросить и армию, и империю, как он уже бросил шлем и доспехи. Может быть, он и сумел бы сделать это в последнем, высшем усилии, но что бы это дало? Ведь он не может в одиночку победить армию Шапура. Ему вспомнились слова одного из военных: «Неужели ты думаешь, что сможешь своими руками поставить плотину на пути этого людского моря?» Было ясно, что он этого не сможет. Да и во время всей этой кампании ему этого не удавалось! Он переносил те же тяготы, что и его люди, терпел те же лишения, испытывал те же муки. Но солдаты не разделяли той веры, которая поддерживала его. Он требовал от них того, что было выше их сил.

Голосом, изменившимся, но достаточно твердым, чтобы скрыть от других свое отчаяние, Юлиан велел командирам собрать своих людей и объявить, что он считает бесполезным дальнейшее продвижение вперед. Но он не мог решиться сам приказать им повернуть назад. Он предпочел предоставить им свободу самим принять это решение.

Благодарный гул пронесся над войском.

В меру сил солдаты построились рядами и пошли в обратную сторону.

Юлиан остался неподвижен, как если бы не мог осознать происходящее. Только когда колонны отошли уже на некоторое расстояние и он понял, что они к нему не вернутся, он тоже подчинился необходимости и повернул назад.

В течение многих дней армия откатывалась на запад. Хотя она по-прежнему представляла собой жалкое зрелище, казалось, сам факт возвращения придал ей новые силы. Миновав два почерневших от огня холма, она вышла в пустынную долину и тут потеряла дорогу.

17 июня солдаты увидели, что на востоке поднимается облако пыли. Поначалу они решили, что это стадо онагров, множество которых бродило в этих местах. Но это было войско Шапура. Эти тысячи всадников, похожие на явившихся из ада демонов, ринулись на римскую армию, чтобы добить ее. Парфянская конница быстро приближалась. Топот коней походил на раскаты грома. Парфяне напоминали грозовую тучу, спустившуюся на поверхность земли.

Охваченная ужасом римская армия остановилась, чтобы принять удар этой лавины людей, и не было никакой уверенности, что им удастся сдержать натиск. Однако верные своей тактике парфяне не стали подходить слишком близко. Остановившись в сотне метров, они обрушили на римские колонны поток стрел, быстро развернулись и галопом помчались прочь. Среди легионеров погибло около ста человек.

Как только парфяне исчезли из виду, колонны вновь нетвердым шагом пустились в путь. Но они уже не знали, в каком направлении следует идти. К счастью, удалось найти двух хорошо знакомых с местностью кочевников, которые согласились стать проводниками. Они посоветовали Юлиану взять курс на север, чтобы дойти до Тигра. Этот путь не был кратчайшим, но почти на всем своем протяжении он проходил между двух рядов скал, что не давало возможности Шапуру воспользоваться конницей. Армия должна была выйти к притоку Тигра под названием Дур, где солдаты могли бы напиться и сделать запасы питьевой воды. Наконец, вдоль этой дороги стояло несколько небольших укреплений — Эсета, Хукумбра, Данабэ и Сима. Ими можно было воспользоваться как убежищами в случае новых нападений. Взвесив все «за» и «против», Юлиан решил последовать совету проводников.

20 июня они пришли в Хукумбру. Это была большая крепость, окруженная пальмовыми деревьями, которые орошались из двадцати источников.

После испытаний в пустыне и тягот возвращения Хукумбра показалась солдатам райским уголком. Юлиан дал им десять дней отдыха.

Люди в изобилии нашли в Хукумбре все, в чем нуждались: воду и возможность выспаться. Поскольку большая часть из них были молоды и сильны, они достаточно быстро восстановили свои силы. Их язвы начали заживать, и поскольку они не были ни больны, ни ранены, а просто истощены жарой и тяготами пути, то по прошествии недели их состояние значительно улучшилось. И как всегда, с улучшением состояния возродилась надежда...

Подле пальм паслись сотни коней. Юлиан реквизирует их, и этого хватило, чтобы посадить в седло часть кавалерии. Произведя ревизию того, что осталось в телегах обоза, солдаты обнаружили запасные шлемы и доспехи. Благодаря этому Юлиан смог экипировать несколько лучших отрядов. Спустя неделю армия продолжила свой путь по направлению к Тигру.

Жара стала понемногу спадать. Растянувшееся на десять километров войско вновь построилось обычным походным маршем. Оно подразделялось на три корпуса: впереди шел авангард, по большей части состоявший из конницы; в центре находились зании, геркуланы, терциаки и империалы, в основном состоявшие из пехотинцев; кельты и петуланты замыкали колонну.

Они вошли в ущелье, с обеих сторон окруженное отвесными скалами. Через какое-то время скалы стали ниже и кое-где не превышали высоты человеческого роста. Внезапно за этой каменной стеной легионеры увидели движущиеся параллельно им многочисленные ряды копий. Посланные на разведку пехотинцы авангарда вскарабкались на скалу и увидели за ней... армию Шапура в полном составе! В нее входили десятки тысяч лучников и копейщиков, которых поддерживал отряд воинов, размещенных на спинах слонов. Они тихо двигались параллельно римской армии, выжидая момент для нападения. Этот момент неизбежно наступил бы при выходе армии в долину Маранга.

Вернуться назад? Об этом не могло быть и речи. Ущелье было слишком узким, и легионеры оказались бы заперты в нем. Парфянам было достаточно заблокировать оба выхода, чтобы устроить римлянам ловушку и перебить их всех до единого. Лучше было все-таки пробиваться вперед. А что случится потом? Это было трудно предсказать, но одно было ясно наверняка: у выхода из ущелья начнется битва не на жизнь, а на смерть. Это будет решающее сражение нынешней кампании, потому что в нем примут участие все основные силы Шапура. В этой битве римским легионам оставалось победить или погибнуть...

Поняв, какая опасность их ожидает, легионеры встревожились.

Передышка в Хукумбре позволила им в какой-то мере восстановить силы. Однако их боеспособность далеко еще не восстановилась, и они не были уверены, что смогут одолеть столь сильного противника. Юлиан также не мог не понимать всю тяжесть положения. Имея измученное войско и не зная местности, на которой произойдет сражение, он был вынужден сойтись с намного превышавшим его по численности противником. Юлиан был достаточно сведущ в военном деле, чтобы понять, что это означает. Ему говорили, что он послан на землю, чтобы завершить дело Александра, но Александру не приходилось попадать в подобное положение! Кроме того, Гелиос обещал ему, что он будет побеждать «до тех пор, пока будет идти к его колыбели». А теперь они повернулись спиной к истокам Солнца! Конечно, он сделал все, даже невозможное, чтобы достичь этих истоков и не дать армии повернуть назад. Но факт остается фактом, очевидным и не подлежащим обсуждению: теперь он идет в сторону запада. Отнесется ли Гелиос к нему сурово или проявит великодушие и простит неповиновение, совершенное, в конечном счете, даже не им?

Последнее время Юлиана тревожили мрачные предчувствия. В Хукумбре, пока солдаты отсыпались, он сидел в своем шатре все ночи напролет, оценивая оснащение войска, численность его состава, и при свете маленькой лампы, привезенной им из Лютении, размышлял над новым планом кампании. Напомнил ли ему свет этой лампы ту полную чудесную ночь, когда ему явился Гений-Хранитель империи? Вполне может быть, потому что Гений империи вновь посетил его. Но на этот раз его лицо было скрыто черной дымкой. Он отвернулся от Юлиана и вышел из шатра, не сказав ни слова...

Опустив головы и сплотив ряды, римские воины молча шли вперед. Юлиан получил эстафету. В ней сообщалось о том, что в некоторых отрядах царит непонятное волнение и ряд командиров ведет подозрительные речи. В воздухе запахло изменой.

Полностью погруженный в обдумывание плана предстоящего сражения, Юлиан не придал значения этому сообщению.

— Это несерьезно, — пробормотал он. — Солдаты всегда нервничают перед столкновением с противником...

Скалы раздвинулись. Их высота уменьшилась. Внезапно они исчезли совсем, и солдаты вышли в долину, сверкающую ослепительной белизной.

В то же мгновение они оказались лицом к лицу с армией Шапура.

XII

Строй римских легионов был слишком вытянут из-за того, что им пришлось идти по узкой лощине и они один за другим выходили из нее. Противостоявшие им воины Шапура были сгруппированы в компактные отряды вокруг своих слонов. Конные лучники уже натянули тетиву луков. Не дожидаясь, пока на них обрушится град стрел, легионеры бросились на врага с неистовством отчаяния. Казалось, они хотели раз и навсегда покончить со всем этим, свести счеты с самой жизнью. Чтобы обеспечить себе некоторое пространство для передвижения, парфянское войско разомкнулось, что позволяло предпринять атаку против его двух флангов. Находившийся в центре Юлиан сразу заметил это. Он метался между рядами солдат, перестраивал их и побуждал к действию словом и жестом. От него «ничто не ускользало»²⁷. Он действовал, следуя исключительно инстинкту военачальника, изгнав из души любое сомнение и поддерживая в себе единственное чувство: волю к победе. Он снял с себя доспехи, чтобы ничто не мешало быстроте движений. В этот момент ему сообщили, что его арьергард подвергся серьезной атаке персов и некоторые отряды вот-вот отступят.

Прикрываясь одним щитом, Юлиан бросился туда: он вновь собрал смешавшиеся отряды, заставил их построиться, собственной горячностью внушил им уверенность и приказал двум легионам вновь начать атаку. Сам он сражался в первых рядах, бросаясь в самую гущу схватки с абсолютным презрением к опасности. Его пехотинцы перерубали сухожилия коням и слонам противника, и животные падали на землю, давя тех, кто на них сидел. Эта тактика, придуманная Юлианом во время пребывания в Хукумбре, оказалась тем более действенной, что как только парфянский всадник падал с коня, он становился полностью беспомощным. Теперь начали отступать воины Шапура. Юлиан преследовал их, чтобы расширить образовавшуюся в их рядах брешь. Там, где он появлялся, римляне начинали одерживать верх. Но он не мог быть одновременно везде.

Юлиану уже почти удалось превратить отход персов в отступление, когда ему сообщили, что теперь серьезная опасность угрожает авангарду. Не обращая внимания на падающие вокруг стрелы, он бросился туда. Он обладал какой-то неодолимой властью над людьми, потому что, едва завидев его, солдаты сомкнули ряды и перешли в наступление. Его неустрашимость пробуждала в солдатах вдохновение. Кто-то из легионеров

крикнул ему, чтобы он поберег себя. Но Юлиан, зная, что все зависит только от него, не стал его слушать. И здесь противник тоже начал отступать. Желая воспользоваться этим преимуществом, Юлиан собрал вокруг себя отряд всадников и велел им идти в атаку.

В то же мгновение он почувствовал острую боль в правом боку и упал. Поднимаясь, он увидел, что в его боку, меж двух ребер, торчит дротик, глубоко вошедший в тело. Кровь текла ручьем. Он почувствовал, что глаза заволакивает туман, и с грустью сказал себе, что все кончено.

И все же он покуда отказывался считать себя побежденным.

— Ничего! — крикнул он столпившимся вокруг солдатам. — Не думайте обо мне... Бейте персов! Их ряды прорваны и справа, и слева, и в центре... Мы выиграли сражение...

Кто нанес ему смертельный удар? Кто-то из командиров-христиан? Или кто-то из римлян-консерваторов? По этому поводу нет единого мнения, хотя Либаний²⁸, а позже Созомен²⁹ утверждали, что это сделал человек, «не желавший почитать богов», возможно, имея в виду кого-то из галилеян. Ясно одно: это сделал не парфянин.

Юлиан попытался вырвать дротик, застрявший у него в боку. Он тянул изо всех сил, и казалось, это вот-вот удастся. Но на древке были закреплены длинные и острые, как бритва, металлические пластинки. Они глубоко врезались в его руку, и по ней тоже потекла кровь. Он уже не мог участвовать в бою.

В ту же секунду он почувствовал, как все поплыло в его глазах. Что сделал он богам, чтобы заслужить такую немилость? Может быть, он неправильно понял их знаки и обещания? По какому жестокому умыслу они столько раз спасали его от смерти, чтобы привести в долину Маранда, где суждено окончиться его жизни? Почему, ну почему они лишили его поддержки в тот самый момент, когда сама судьба заколебалась между триумфом и поражением?

Охваченный безмерным отчаянием, он смотрел, как в его ладонях скапливается кровь. Потом он поднял руки к небу и воскликнул:

— О Солнце, Солнце! Почему ты покинуло меня?³⁰

Спустя мгновение он упал и потерял сознание...

Два проходивших мимо командира-христианина увидели заострившиеся черты его лица, пронзенный копьем бок и окровавленные руки. Их поразило его странное сходство с образом Распятого.

XIII

Юлиан потерял сознание. Его закрыли плащом, чтобы спрятать от глаз солдат. Потом переложили на носилки и отнесли в шатер. Когда его переносили, он начал приходить в себя. Он услышал, что трубы трубят атаку и шум битвы удаляется.

В шатре его положили на ложе. Прибежавший к нему Орибасий осмотрел рану. Он с ужасом увидел, что дротик вошел очень глубоко и пронзил печень. Рана оказалась смертельной. Юлиан был обречен.

Через какое-то время Юлиан открыл глаза. Он опять услышал звуки труб. Ему показалось, что он различил сигнал к прекращению боя, и на его лице отразилась бесконечная усталость.

Тут в шатер вбежали префект Саллюстий, Невитта и Валентиниан. Они были возбуждены до предела. Невитта подошел к ложу, на котором был распростерт Юлиан, и, не обращая внимания на его состояние, радостно воскликнул:

— Победа, Юлиан! Победа! Шапур побежден! Его войска бегут. Парфяне удирают на восток, оставляя кучи трупов на своем пути. Мы убили сотни коней и слонов. Ты был прав, что не отступил: Азия теперь наша...³¹

Значит, он выиграл это последнее сражение! Значит, вопреки тому, что он думал, Гелиос не оставил его! При этой мысли Юлиана охватило лихорадочное возбуждение. Поскольку Орибасий уже закончил перевязку, Юлиан приподнялся на ложе, громко потребовал доспехи, шлем и коня и сделал отчаянное усилие, чтобы встать. Он хотел вернуться на поле боя, броситься вдогонку за Шапуром, захватить его в плен и завершить этот день еще одним подвигом. Но это было невозможно. У него не было сил. От совершенного им движения рана вновь открылась. Из нее потоком хлынула кровь. С искаженным от боли лицом он упал на ложе.

— Невозможно! — простонал он. — Не могу больше, не могу...

Через минуту он спросил часового, охранявшего вход в шатер:

— Где я?

— Ты в своем шатре, повелитель, — удивленно ответил часовой.

Юлиан покачал головой:

— Я хотел сказать: как называется это место, где мы сейчас находимся?

— Местные жители называют его Фригийскими полями. Зрочки

Юлиана расширились. Он долго молчал, глядя перед собой, и вдруг понял, что сбылись все предсказания: и предсказания Максима, и пророчества авгуров.

Тогда он впал в оцепенение, которое не было еще смертью, но было крушением воли к жизни. Однако принять смерть так, как следует это делать, было еще труднее. Для этого были нужны спокойствие духа и ясность мыслей. Смерть означает не только распад тела. Она означает, что поверхностная часть твоего существа, та, которая общалась с другими, должна распасться и дать свободу той невыразимой глубине, которую каждое существо носит в себе и которая не исчезает, ибо она неразрушима.

В глубине души Юлиан ощущал несказанную радость от того, что Гелиос не покинул его, а лишь положил конец его земному пути, чтобы призвать к себе. Теперь он понял свою ошибку. Он искал истоки Солнца на Востоке, и ему преградила путь огненная стена. Истоки Солнца находятся не в Азии; они вне этого мира, в глубине той бездны совершенства и света, порог которой никто не может переступить, не избавившись от плотской оболочки. А в этом измерении путь открыт для него теперь более чем когда-либо...

Покуда он неподвижно лежал на своем ложе, в шатер вошли Максим, Евтерий, Хрисанф и элевсинский иерофант, а за ними — небольшая группа военачальников. Доспехи пришедших с поля битвы были покрыты пылью и кровью. Философы же облачились в ритуальные белые туники, словно перед посвящением. Не говоря ни слова, они столпились в глубине шатра.

Открыв глаза, Юлиан увидел их и дал знак приблизиться. Либаний, Аммиан и многие другие пишут, что, «желая умереть как философ, Юлиан посвятил последние минуты своей жизни беседе с учеными о бессмертии души»; что его рассуждения были тонкими и поучительными и черпали вдохновение в последних словах Сократа, которые Платон приводит в своем «Федоне»³². Какая глупость! Ни Либаний, ни Аммиан не присутствовали при происходившем. Они приписали эти действия Юлиану, потому что сами были риторам и, желая воздать наивысшую хвалу своему другу, не нашли ничего лучшего, что можно было бы о нем написать.

На деле все было куда проще. В те тяжелые минуты, когда каждый человек в последний раз оказывается наедине с собой, Юлиан вовсе не собирался играть какую-то роль или производить впечатление на окружающих. Его жизнь была достаточно яркой, и ему было незачем заниматься этим. Если он столь спокойно отнесся к собственной смерти, то это потому, что он всю жизнь ощущал ее близость и больше не боялся ее. Зачем ему было бояться, если он точно знал, что произойдет?

Все будет так, как во времена его детства в Астакии, когда Гелиос впервые позвал его по имени. Теперь он поднимется вверх и помчится сквозь лазурное пространство с еще большей легкостью, чем тогда, потому что его не будет сдерживать тяжесть тела. Он будет подниматься все выше и выше, направляясь к Солнцу. Он воспарит не только над Халкедоном и Пропонтидой, на которой тысячи маленьких лодок возвращаются в порт. Он воспарит над всей землей. Чем больше он будет удаляться от нее, тем меньшей она будет казаться. Сначала она предстанет перед ним огромной блистающей сферой, потом сияющим диском, а потом — неразличимой точкой, затерянной в бесконечности. Да, это будут ощущения, пережитые в Астакии, но намного более сильные. Только на этот раз он не вернется. За видимым солнцем — которое умрет вместе с ним, раз его глаза перестанут воспринимать его, — он обретет невидимое Солнце, трансцендентное и бессмертное, то, которое мы зовем черным, не умея приписать ему какой-либо цвет, однако яркий блеск его наделен такой мощью, что одного его луча достаточно, чтобы испепелить нас.

Он больше не будет парить в океане света; он сам *станет* этим океаном, мельчайшей частицей этого грозного пламени, полыхающего от рождения мира, этого неугасимого горнила, искру которого содержит в себе каждое живое существо, а эта искра сохраняет неясную память о своем источнике. Ведь никто из живущих, сколь бы жалок он ни был, не может прожить на этой земле, не любя кого-то: его притягивает к другим именно эта неодолимая сила, причину которой он не осознает.

Философы молчали. Очнувшись от своих мыслей, Юлиан повернул голову и с нежностью взгляделся в их лица. Тут он заметил, что один из них не пришел на его зов. Это был Анатолий, его любимый ученик, которого он сделал начальником канцелярии и который был рядом с ним на протяжении всей кампании.

— Где Анатолий? — спросил он с явным беспокойством. Поскольку никто не осмелился ответить, он повторил вопрос более настойчиво.

— Где Анатолий?

— Анатолий среди обретших счастье, — наконец решился ответить префект Саллюстий.

Анатолий погиб в сражении, но от Юлиана скрыли это, чтобы не расстраивать его.

Услышав об этом, победитель Шапура заплакал.

— Анатолий, Анатолий! — простонал он. — Ты, которого я так любил! Не смерть, а разлука разрывает мне сердце... Неужели нужно, чтобы мне выпало еще и это страдание, прежде чем я отойду?

Присутствующие были взволнованы при виде того, что император оплакивает смерть друга, не проливая слез о собственной смерти. Философы и командиры не могли сдержать рыданий. Но такое проявление слабости показалось Юлиану недостойным.

— Не сокрушайтесь, — сказал он им, вновь обретая твердость духа. — Будет унижительно для всех нас, если вы будете оплакивать своего императора, чья душа готова воспарить на небо и слиться с пламенем звезд...

Элевсинский иерофант похвалил его мужество, и Юлиан ответил ему:

— Разве ты не помнишь слова, которые ты мне сказал, когда я пришел к тебе, еще будучи учеником в Афинах? Ты сказал: «Мужайся, Юлиан! Боги готовят тебе судьбу, не имеющую равных. Ты дашь большое сражение. Это будет апофеоз огня! Огонь низвергнется на землю и испепелит все... В этот день ты предстанешь перед лицом своего Отца. Какая слава!» Так о чем же ты сокрушаешься? Твое предсказание скоро сбудется...

Затем, повернувшись к военным, он сказал:

— Я чувствую, что теряю силы и не смогу долго говорить. И все же я не хочу покинуть вас, не сказав несколько слов. Я часто бывал суров и требователен по отношению к вам. Не пеняйте на меня за это. Это было не по гордыне, а ради того, чтобы восторжествовала Истина. Если мне не всегда удавалось убедить вас, то я по крайней мере всегда приводил вас к победе. Благодаря мне на Рейне и Дунае царит мир, как теперь будет он царить и на Тигре и Евфрате... Возможно, мне не всегда удавались переходы... Мне не хватило времени... К тому же я никогда не стремился управлять... Я всегда предпочитал *познавать*... И за это я тоже прошу вас не судить меня слишком строго...

В это мгновение черты его лица исказились. Он тихо вскрикнул и прижал руку к правому боку. Но пораненная ладонь только причинила ему еще больше боли. Сделав над собой видимое усилие, он продолжал слабеющим голосом:

— Что до того, кого вы выберете императором после меня, то я предпочитаю ничего не говорить об этом, ибо судьба не позволила мне оставить после себя сына. Боюсь, что в том состоянии, в котором я сейчас нахожусь, я не смогу назвать самого достойного; а если бы я и назвал кого-либо, то подверг бы его опасности в случае, если ваш выбор падет на другого... Выберите же сами из своих рядов того, кто кажется вам наиболее способным поддержать единство и величие империи так, как это делал я...

Дыхание Юлиана стало неровным. Капли пота заблестели на висках.

Поскольку было ясно, что наступают последние минуты, Орибасий попросил военных выйти. В шатре осталась только группа философов.

Одетые в белые туники, они встали полукругом подле ложа, на котором умирал Посланник Солнца и начали тихо бормотать Литургию мертвых. Иерофант произносил нараспев один стих, а другие бормотали в ответ текст, соответствующий митраистской службе³³.

Внезапно Юлиан простонал:

— Пить!

Ему протянули чашу с разбавленным водой уксусом. Он отпил несколько глотков. Все услышали хрип в его груди. Спустя несколько секунд он испустил последний вздох.

По знаку иерофанта Максим записал точную дату и час его смерти: 26 июня 363 года в полночь. Юлиану было 32 года. Его правление продлилось двадцать месяцев.

И тут, согласно легенде — ибо легенды сразу предъявили на него свои права, — присутствующие узрели, как из его тела вышли две души. Сначала его собственная, а затем — душа Александра, которая также обитала в нем.

Не касаясь земли, они несколько мгновений парили над его ложем, как бы ища выход. Затем, обнявшись, выпорхнули из шатра и стали подниматься к небесам.

Философы бросились наружу, чтобы проследить за ними взглядом. Сначала души напоминали два пылающих факела; потом — два огненных шара; затем — две лучистые звезды. Наконец они исчезли в глубине небосвода, и окружающие больше не видели ничего, кроме мерцания звезд.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ОПАЛЕННАЯ МЕЧТА

Юлиана сокрушили те самые поколения, на поддержку которых он рассчитывал: несмотря на всю его силу, они свалили его наземь и наступили ему на грудь...

Шатобриан

Известие о смерти Юлиана посеяло в армии уныние. Каждый легион стал приписывать себе заслугу победы, чтобы иметь право на большую долю добычи, — и над ними уже не было главнокомандующего, который рассудил бы этот спор. Кельты и петуланты претендовали на особую близость к Юлиану из-за того, что первыми провозгласили его августом и пытались навязать свои правила остальным. Еще немного, и легионы готовы были схватиться между собой не на жизнь, а на смерть... Но раздоры царили и внутри каждого легиона. «Римляне» обвиняли «греков» в том, что те втянули их в бессмысленную авантюру. «Греки» в ответ возлагали на «римлян» вину за убийство Юлиана, а те, в свою очередь, винили во всем «галилеян». Как пишет хронист, «за несколько часов каждый стал врагом каждого».

Командиры собрались на совет. Прежде всего необходимо было назначить нового главнокомандующего. Выбор пал на Иовиана, командира императорской гвардии, которого и провозгласили августом. Иовиан был христианином, и это не всем пришлось по вкусу. Но зато он был спокойным, уравновешенным человеком и внушал доверие как военачальник, а в сложившейся критической ситуации это было особенно важно.

Итак, Иовиан принял командование войсками и сумел навести относительный порядок. Однако войска все еще находились в глубине Персии. «Греки» считали, что следует оставаться на месте и в полной мере воспользоваться победой, добытой столь дорогой ценой. Напротив, «римляне» и христиане утверждали, что нужно как можно скорее уходить из Персии и возвращаться на исходные позиции.

Для этого предстояло пройти через всю Месопотамию. Такой длительный переход был невозможен без предварительного перемирия с Шапуром, потому что легионы уже ни физически, ни морально не были способны защитить себя.

Иовиан сразу же вступил в переговоры с персидским царем. Но тот, хотя и был разгромлен, согласился на мир только на драконовских условиях. Он позволит римской армии вернуться домой. Но Римская империя полностью откажется от притязаний на пять месопотамских провинций, уступит ему пятнадцать крепостей, среди них Сингару и Нисибис, и, наконец, признает за ним право наказать армянского царя

Аршака, который хотя и не участвовал в войне, но занимал враждебную Шапуру позицию. Никогда еще армия-победительница не принимала столь унижительных условий. «Договор бесчестья» — так называет этот договор Аммиан¹. «Постыдная, но неизбежная капитуляция», — добавляет Евтропий². Вся восточная граница от Эдессы до Пальмиры становилась открытой для врага.

10 июля Иовиан, стиснув зубы, принял эти условия. Это был единственный способ спасти то, что осталось от армии. Короткими переходами легионы вернулись в Киликию. На обратном пути они встретили боевой корпус Прокопия. Тот благоразумно подчинился Иовиану. В результате, по злой иронии судьбы, этому командующему-предателю, чья измена столь сильно повредила плану кампании Юлиана, было поручено сопровождать останки императора до Тарса.

Здесь Юлиан был похоронен в небольшом мавзолее, расположенном в пригороде, близ римской дороги, ведущей к Тавру. Перед началом кампании против персов Юлиан объявил, что больше не вернется в Антиохию и уже поручил префекту Меморию подготовить для себя жилище в Тарсе. Этому предсказанию суждено было сбыться. На его надгробном камне высекли следующее двуступище:

Здесь, с берега Тигра вернувшись, спит Юлиан,
Добрый правитель и воин отважный.

Сказать меньше было бы невозможно. Спустя недолгое время эта надпись была уничтожена.

Вскоре начались безжалостные репрессии в органах управления и в армии. При Иовиане христиане полностью вернулись к власти. Они воспользовались этим, чтобы восстановить все свои прежние привилегии и даже получить новые. Все служившие Юлиану гражданские и военные чиновники были смещены. Те, кто участвовал в Халкедонском суде или слишком ретиво проводил в жизнь эдикты об образовании и об изъятии камней из храмов, были приговорены к смерти. Большая часть остальных подверглась проскрипциям, и их имущество было конфисковано. Лабарум вновь стал имперской эмблемой. Со штандартов был снят девиз «Soli Invicto». Что же касается языческих писателей, то их не стали преследовать открыто, но постарались создать для них невыносимые условия. Вокруг них возникла столь тягостная атмосфера подозрительности, что многие отказались от занятий философией и словесностью. Оставшегося верным

памяти императора Либаия подвергли таким притеснениям, что в конце концов он умер.

На самого Юлиана обрушился такой поток клеветы, что последствия этого сказываются и доныне. Многие его сочинения были уничтожены, в частности трактат «Против галилеян», написанный им в последний период пребывания в Антиохии. Текст трактата до сих пор не обнаружен. Все его декреты были признаны недействительными. Его изображения разбивали молотками, сбивали со стен надписи, прославлявшие его победы. Это была первая в истории попытка вычеркнуть из памяти главу государства и заставить последующие поколения поверить, что его никогда не существовало...

Но это не удалось, потому что личность Юлиана была слишком значительна. То одно, то другое положительное свидетельство о его правлении время от времени всплывало на свет божий. Тогда пришлось прибегнуть к систематическому извращению в описании черт его характера, его поступков и мыслей. Эдикт о веротерпимости переименовали в «Эдикт о преследованиях». Его самого обзывали и «смердящим козлом», и «Отступником», и «Антихристом». Эта ярость разрушения — не лучшая страница в истории Церкви. Правда, она вела борьбу, от исхода которой зависело само ее существование. Но сила последовавшей реакции заставляет также предположить, что она действительно боялась молодого императора-философа, который хотел воскресить старых богов и, без сомнения, сумел бы изменить ход истории, если бы не был в возрасте 32 лет сражен дротиком, пущенным неизвестно чьей рукой³...

II

И поскольку Юлиан умер, его боги тоже были обречены на смерть. Дело не только в том, что поклонение им становилось опасным. Святилища приходили в запустение, а затем и разрушались. Из храмов выламывали колонны, балки, капители и использовали их для строительства монастырей и церквей. Те же из них, которые Юлиан велел отстроить заново, бросили, обрекая тем самым на постепенное разрушение.

В 376 году, то есть спустя 13 лет после смерти Юлиана, в Риме было разрушено святилище Митры; в 380 году император Феодосии приказал снести храм в Элевсине; в 391 году были закрыты все языческие храмы, и язычники стали подвергаться преследованиям. Менее чем за 13 лет от предпринятого Юлианом труда по обновлению язычества в буквальном смысле не осталось камня на камне.

Христианство вышло из катакомб; язычество, напротив, сходило в могилу. Поскольку его больше не поддерживала всесильная десница императора, оно все более приходило в упадок. «На Западе, — пишет Аллар, — оно еще какое-то время сохранялось благодаря политической поддержке тех слоев аристократии, которые оставались приверженцами древних традиций. На Востоке же оно сразу впало в то состояние, из которого его пытался поднять Юлиан; оно было подобно обрушившейся постройке, руины которой почти повсеместно захлестнул поднимающийся прилив христианства»⁴. Иовиану даже не пришлось вмешиваться, чтобы ускорить его гибель: древние боги умирали сами...

И раз умирали боги, империя тоже была обречена на смерть. На следующий же год при таинственных обстоятельствах погиб Иовиан (364 год). Империю поделили между собой Валент и Валентиниан, двое сыновей паннонского военачальника Грациана. Валентиниан получил Запад, Валент оставил за собой Восток. Империя была расколота. Она воссоединилась лишь с огромным трудом при императоре Феодосии. Но это единство сохранялось недолго, не более года (394–395). По смерти Феодосия империя была вновь разделена между двумя его сыновьями. На этот раз раскол стал окончательным.

Вдобавок к этим событиям варвары, которых Юлиан умел отбрасывать или сдерживать, вновь начали вторгаться в римские провинции. Алеманны и бургунды перешли границу в верховьях Рейна, квады и сарматы нарушили границу по Дунаю; франки покинули пределы своих земель в

нижнем течении Рейна, а саксонские пираты опять стали перекрывать морские пути. В Африке поднял восстание вождь мавров Фирм. Как пишет Дюруа, «казалось, весь варварский мир поднялся, чтобы обрушиться на шаткую и униженную империю»⁵.

Но это было только начало. В 409 году Аларих во главе племен вестготов совершил поход на Рим. На следующий год он вошел в город, и варвары разбили лагерь на Семи холмах. В 411 году вандалы и свевы поделили между собой Испанию после того, как прошли через опустошенную Галлию. В 412 году Атаульф и его вестготы заняли Нарбонские земли. В 413 году Секвания перешла в руки бургундов. В это же время готы и гунны, перейдя через Дунай и разбив римские легионы под Адрианополем, распространились по Паннонии, Македонии и Иллирии. Над греко-римской империей опустилась ночь, и эту ночь можно сравнить лишь с тьмой, поглотившей персидско-македонскую державу после смерти Александра⁶.

Поочередно оспариваемый друг у друга готами и византийцами Рим лишь по видимости оставался великим городом. Сожженный, разрушенный, наполовину уничтоженный варварскими нашествиями, он являл миру лишь груды руин, среди которых ютилось несчастное население числом не более 30 000 человек, питавшееся подаванием Церкви. «Во время ужасных бедствий готской войны, — пишет Григоровий, — античный мир исчез навеки. В сожженном и опустевшем городе лишь развалины свидетельствовали о былом процветании. Свершилось пророчество Сивиллы. Непроглядная тьма окутала латинский мир, и в этой тьме единственным светом оставались церковные свечи и одинокие лампы монахов в монастырях».

Если верить Прокопию^[22], в течение этих трагических лет от оружия и голода погибли сотни тысяч жителей Италии. Невозможно без содрогания читать оставленное им описание крестьян Лация, «за неимением зерна питавшихся желудями и изуродованных цингой». «Их лица, — добавляет он, — были изрыты морщинами, а взгляд полон отчаяния. Когда они умирали, то рядом не было никого, кто облек бы их в саван, и никто не заботился о том, чтобы похоронить их. Их не трогали даже питающиеся падалью птицы, имеющие обыкновение терзать трупы, ибо на них уже не оставалось плоти: их плоть пожрал голод».

«Земля пустынна и заброшена! — чуть позже восклицал Григорий Великий^[23]. — Никто больше не живет на ней! В былых жилищах людей поселились звери!» А когда Григорий обратился к претору Сицилии с

просьбой срочно прислать ему в Рим зерно, он выразил это такими словами: «Если ты не пришлешь его, то это будет убийством, и не одного человека, а целого народа».

Правда, императору Юстиниану (527–567) удастся овладеть Италией, но лишь для того, чтобы вновь потерять ее. Одновременно он окончательно довершит разрушение того, что оставалось от империи. Когда его сменит на троне его племянник Юстин II (567–578), он обнаружит, что «общественная казна опустошена долгами и сведена к крайней нищете, а армия дезорганизована до такой степени, что государство не в силах противиться нашествиям варваров».

И действительно, когда в Италию вторгнутся лангобарды, когда авары и славяне появятся на границах империи вслед за гуннами, напавшими в 559 году на Константинополь, и за парфянами, разрушившими в 540 году Антиохию, византийская армия уже ничего не сможет поделаться, и несчастный Юстин II попросту сойдет с ума!⁷

Если бы еще христианство сумело составить единый фронт для отпора варварским набегам! Но нет, вместо того, чтобы объединиться, христиане пошли на раскол, и возникли две соперничающие и воюющие Церкви: Греческая православная, признававшая своим главой только Константинопольского патриарха, и Латинская католическая, собравшаяся под знаменами епископа Римского. Никогда еще Восток и Запад не были столь разъединены.

Вместе с тем соединение Востока и Запада ради достижения единства рода человеческого и восхождения его на уровень высшей цивилизации — это не человеческая мечта. *Это мента, которую История воплощает в жизнь через посредство людей.* И потому через какое-то время в новом обличье и в новом, изменившемся мире эта мечта не могла не возродиться.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ГЕЛИОС-ЦАРЬ, ПОБЕЖДЕННЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ СТРАДАНИЕМ

Согласно одному из писем Юлиана, однажды ночью во время его пребывания в Лютееции ему приснился странный сон, который он следующим образом пересказал своему врачу Орибасию¹:

«Я видел очень высокое дерево, растущее в просторном триклинии. Оно склонялось к земле. От его корней поднимался другой росток, пока еще маленький, но весь цветущий и покрытый почками. С грустью и страхом я подумал, что это слабое деревце может быть вырвано из земли вместе с большим. И когда я подошел ближе, то увидел, что большое дерево уже лежит на земле, в то время как маленькое все еще стоит, хотя и слегка вытащено из земли. При виде этого моя тревога возросла. „Как жаль это прекрасное дерево! — воскликнул я. — Даже его отпрыску грозит смерть!“ И тут незнакомый голос сказал мне: „Посмотри получше и успокойся. Корни маленького деревца остались в земле, оно цело и невредимо и теперь только будет крепнуть“».

На вопрос Юлиана о значении этого сна Орибасий ответил:

«Его смысл ясен: старое дерево — это Констанций, молодой росток — это ты».

Представим себе на минуту, что подобный сон приснился святому Афанасию Александрийскому или святому Григорию Назианзину, современникам Юлиана. Если бы они спросили кого-нибудь из своего окружения о значении этого сна, то, без сомнения, получили бы такой ответ:

«Обреченное на смерть старое дерево — это Римская империя; молодой росток, которому суждено крепнуть, — это христианская Церковь».

Сегодня у нас есть достаточно оснований считать, что именно такой ответ был бы правильным.

Ибо, несмотря на все усилия Юлиана по воскрешению язычества — пусть даже в виде синтеза митраизма и александрийского неоплатонизма, — ни у него, ни у кого бы то ни было другого не хватило сил для того, чтобы спасти большое дерево от гибели или помешать молодому побегу

расти с невероятной быстротой. На деле такой ход развития был неизбежен. Он был естественным следствием особенностей структуры римского общества III–IV веков. Сколь бы пылкими и искренними ни были убеждения Юлиана и его сторонников, они не могли ничего изменить. Хотя внешне и может показаться, что это не так, приверженцы «Непобедимого Солнца» были изначально обречены на поражение.

Конечно, Юлиана отталкивали бесконечные потасовки между различными христианскими сектами. Ведь монофизиты, ариане, донатисты, циркумцеллионы, энкратиты и монтанисты (мы упомянули лишь основные течения) постоянно грызлись между собой. Можно понять, почему он испытывал явное отвращение к неопрятности адептов этих течений и к зачастую недостойному поведению их священнослужителей; к их всклокоченным бородам и покрытым вшами телам; к их преклонению перед сыном галилейского плотника, который оказался даже не в состоянии сам сойти с креста, чтобы доказать свою божественность; к мрачной приверженности христиан к костям и черепам, которые они превращали в реликвии; к их узким и темным церквям-склепам, где они упорно повторяли заунывные гимны; к их болезненной привязанности к смерти и той извращенной радости, с которой они ожидали конца света. Разве и впрямь не кажется все это зловещим по сравнению со светлой религией Зевса и Аполлона, с возвышенными ритуалами, которые совершались солнцепоклонниками? Если рассматривать только эти черты христианства, то вполне можно поверить, что ему не могло быть суждено великое будущее и что оно представляло собой некую преходящую болезнь, от которой следовало избавиться мир.

Тем не менее Юлиан ошибался. Если исход событий часто бывает трагическим, то начало их зачастую обманчиво. То, что Юлиан принимал за торжество смерти, со временем должно было стать олицетворением победы жизни. Как же стало возможным подобное превращение?

Верующим легко ответить на этот вопрос. Разве не сказал Иисус: «Аз есмь Воскрешение и Жизнь»? Разве не заверил он, что каждое его слово приведет в движение землю, «как прорастающее горчичное зерно»? Для верующих неодолимый взлет христианства — это исполнение пророчеств, проявление божественной воли. Однако помимо этого чисто богословского подхода существует и другой подход, исторический, позволяющий нам глубже рассмотреть социальные структуры Римской империи в период ее заката и лучше понять глубокие причины ее распада. И становится ясно, что приход христианства представлял собой не просто появление новой религии в конкретный исторический период: он стал беспрецедентным

революционным преобразованием в истории человеческого общества.

В мечтах, в тревогах, во время бессонных ночей, когда он с отчаянным пылом старался услышать не просто «эхо собственного голоса», но «ответ Другого», Юлиан явно искал веру, способную противостоять возвышению христианства, которое сам святой Павел называл не иначе как «безумием». Утверждение типа «Credo quia absurdum»^[24] не могло увлечь его проникнутую идеями эллинизма душу, ведь он считал главными атрибутами Истины логичность и ясность. Он также не мог понять, почему люди придают значение туманным пророчествам галилейского рыбака, которого к тому же никто из них не видел и не знал лично, и при этом остаются невосприимчивы к неопровержимому свидетельству истины, которое видят каждый день: к всемогуществу и божественности Солнца, которое заливает их своим светом с самого начала мира и будет светить до конца времен. Ему казалось необходимым избавить людей от своего рода бельма души и заставить осознать, что все народы мира являются солнцепоклонниками, даже если они сами не понимают этого и взывают к Солнцу под различными именами.

Однако солнечный культ Юлиана не был плодом Озарения, каковым было учение Иисуса; этот культ был результатом длинной цепи абстрактных рассуждений, выведенных из чтения Плотина, Порфирия и Ямвлиха. Несмотря на все усилия императора, принципы, на которых он основывался, не были *религией*. Хотел он того или нет, они были просто «способом мышления», *интеллектуальным синтезом*.

Такой синтез мог удовлетворить лишь небольшое число людей. Хотя он и тяготел к монотеизму и имел целью ввести некий языческий мистицизм, он не только отталкивал от себя адептов христианства, но и был абсолютно не по вкусу сторонникам традиционного язычества, изобиловавшего множеством различных полиморфных и обособленных божеств.

Нам могут возразить: «Какое это имеет значение? То, что солнечную религию Юлиана разделяло лишь малое число людей, ничего не доказывает. Христианство поначалу также распространяла лишь небольшая группа апостолов и пророков. Значение имеет не только количество, а качество приверженцев религии. Дело в том, что те, кто разделял воззрения Юлиана, несомненно, относились к элите. Это были философы, учителя, высокопоставленные имперские чиновники; почти все они принадлежали к правящей касте. Разве это не лучше, чем религия, последователи которой в основном набирались из нищих и рабов? К тому же число „гелиопоклонников“ было не так уж мало, поскольку этот культ поддерживали

многие военачальники и легионеры, открыто или втайне исповедовавшие религию Митры».

Все это верно. Но следует также добавить — и, по нашему мнению, именно это и явилось решающим фактором, — что небольшая правящая каста людей, окружавшая Юлиана, была обречена на исчезновение, а вслед за ней должна была исчезнуть и религия языческих богов, и это было так же неизбежно, как то, что рана, нанесенная Юлиану дротиком в долине Маранды, должна была повлечь за собой его смерть. Числу же адептов христианства предстояло расти и в конечном счете христианству предстояло смести с лица земли все проявления язычества. Как стало возможно такое развитие событий? Как удалось маленькому ростку пережить падение вырванного с корнем старого дерева? В первую очередь это произошло потому, что росток «цвел и был покрыт почками», а старое дерево уже представляло собой один лишь сухой ствол, мертвый остов, соки которого иссякли. И кроме того, у христианства обнаружился всесильный союзник в лице того пробуждающего к сопротивлению состояния, силу которого Юлиан недооценивал: это было *страдание*.

Дело в том, что люди, жившие в ту эпоху, в подавляющем большинстве были несчастны. И они стремились отнюдь не к «интеллектуальному синтезу», сколь бы великолепным и убедительным ни представлялся он для ума. Что могло смягчить тяготы их жизни? Что им было делать с «гиперкосмическим Солнцем»? Не от него ожидали они спасения от своих крестных мук... Им нужен был близкий бог, способный проникнуть в глубину их сердец и дать им слова утешения и надежды; бог, спустившийся на землю, чтобы врачевать их раны, облегчить их нищенское существование, а более всего — для того, чтобы напомнить им о том, что у них есть бессмертная душа и что, хотя в этом мире они всего лишь «проклятые жители земли», существует другой мир, в котором Бог очистит их от грехов и воздаст им за страдания, позволив вечно разделять радости удела избранных. Именно это было нужно, чтобы возродить и поддержать в них силу надежды.

Мы знаем, что Юлиан видел в христианстве воплощение анархии и деградации, гангрену, от которой вели начало все бедствия государства. В то же время он не сумел увидеть, что *Государство порождало и множило вокруг себя все больше страданий и таким образом само давало начало тем силам, под ударом которых должно было погибнуть*. Ибо, несмотря на все его усилия, государство оставалось всего лишь инструментом в руках очень малой группы людей и его власть все больше и больше принимала характер подавления.

Это изменение наиболее ярко прослеживается не в трудах философов и писателей. Оно яснее видно в статуях и барельефах той эпохи, ибо в них лучше всего отражается всеобщее настроение. Что же именно можно в них увидеть?

Появляется новое чувство, которое не было присуще изображениям предыдущих веков: тревога и боль жизни. В течение всего классического периода, эстетические представления которого были почерпнуты у греков, скульптуры как бы иллюстрировали принцип, согласно которому *душа подобна телу*. Считалось, что любой человек, обладающий здоровым и хорошо сложенным телом, пребывает в состоянии душевного равновесия. *Mens sana in corpore sano*^[25] — вот девиз, вдохновлявший воспитателей и художников. Они не допускали мысли о том, что прекрасная душа может обитать в негармоничном и, тем более, уродливом теле. Результатом такого преобладания физического над духовным стала традиция изображать человечество, счастливо живущее в соответствии с природой и не мучимое изнурительными проблемами. Конечно, то здесь, то там появлялись изображения боли: Гекуба, Лаокоон, Медея, Титаны Пергама. Но строго говоря, это были не *образы страдания*, а *трагические образы*, — а это совсем не одно и то же. Судорожные спазмы их мышц и искажение черт лица вызывались не раздиравшими их внутренними противоречиями, а ударами жестокой судьбы, наносимыми извне.

Начиная с III века н. э. можно видеть, что положение в корне меняется: душа больше не зависит от тела; теперь *тело отражает душу*.

Плотин (205–270), бывший учеником Оригена и оказавший огромное влияние на своих современников, записал следующую мысль, которая возмутила бы Аристотеля и Платона: «Человеку следует презирать и ослаблять свое тело, чтобы доказать, что сам человек отличен от внешних вещей, которые его окружают... Потому мудрый не может не знать болезней; он даже сам захочет испытать страдание»². «Отсюда весьма далеко до атлетического идеала, преобладавшего в классической Греции, — замечает Р. Б. Бандинелли, — того идеала, который заложил основы канона красоты форм». И далее он добавляет:

«Думаю, было бы ошибкой утверждать, будто учение Плотина повлияло на все современное ему искусство. Однако некоторые из его утверждений помогают лучше понять, каковы были распространенные в обществе III века идеи, выражавшиеся посредством художественных форм той эпохи. Характерным для них является именно ослабление органической связи духа и тела, перенесение акцента на экспрессию,

вместо анатомического совершенства. Плотин пишет также: „Чем более материя утрачивает форму, тем более она становится похожей на изначальную модель, на идею... Когда художник придает форму тому, что находит внутри себя, то его творение можно назвать прекрасным. Глаз видит в творении то, что находится в душе (*nous*) человека“³. Имитация, *мимесис*, по древней платоновской терминологии, продолжает существовать; но теперь уже тело имитирует душу, оно становится образом (*eidolon*), *мимемой* души. Исходя из таких принципов, к концу века создается идеал духовного человека (*homo spiritualis, pneumatikos*), который явно оказал влияние на портреты начиная с конца III и вплоть до V века. Нельзя не заметить, насколько эти идеи в приложении к изображению внутреннего мира человека посредством осязаемой материальной формы близки к словам, приписываемым апостолу Павлу: „Видимое есть лишь покров, брошенный поверх невидимого“»⁴.

Как только этот принцип был принят за основу при изображении тела, то наиболее наглядно он сразу отразился на изображении лиц. «Если мы рассмотрим скульптуру, созданную в основных центрах Римской империи начиная с III века н. э., — продолжает Бандинелли, — то нас более всего поразит выражение боли на лицах и те изменения, которые художники вносили в принятые каноны, чтобы суметь передать эту боль. Речь здесь идет не о физической боли, которую уже изображали в ряде произведений эллинистического искусства. Здесь речь идет о чем-то новом: о *томлении* духа. Оно очень ярко отражено в портретах и в декоративных масках, в изображениях молодых людей и в лицах стариков, и даже — в портретах императоров. Достаточно взглянуть на статую Клавдия Готского, хранящуюся в Национальном музее в Риме⁵. При жизни предыдущих поколений император изображался в виде идеализированного героя либо в виде олицетворения мужества, осознающего свою силу; позднее его стали изображать в ореоле божественного величия, которое, как считалось, нисходит на императора. И только начиная с III века в чертах лиц правителей начинает появляться отражение тревоги и неуверенности»⁶. И это касается не только изображения Клавдия. Достаточно взглянуть на изображение Александра Севера в Музее терм или на портрет Деция в Музее Капитолия: в них явно чувствуется то же выражение беспокойства и тревоги, доводящих до изнеможения. И это главы государства пребывали в такой печали, несмотря на все преимущества, которые давала им власть! Так что же говорить о других! На всех лицах этой эпохи глаза становятся большими, расширяются, превышая нормальные пропорции, и

устремляются к небу, как бы желая призвать Бога в свидетели сокрушающих их несчастий; губы их приоткрыты, как бы в молении или крике отчаяния. Зачастую сам наклон головы подчеркивает это патетическое выражение. Все эти мрачные страдальческие лица с надрезами на зрачках, сделанными для того, чтобы усилить впечатление, передают выражение удивленной подавленности перед тяготами существования. Похоже, они созерцают конец света, и это действительно так, потому что «любая художественная форма является непосредственным отражением особенностей условий жизни человека».

Что видели эти люди с тревожными, а иногда испуганными лицами? Если верить большинству барельефов и других памятников эпохи, они видели жестокие, даже чудовищные картины: груды тел, в беспорядке разбросанные по земле и попираемые копытами римских коней; бесконечные вереницы закованных в цепи пленных, лица и жесты которых передают глубочайшее отчаяние; варваров, пронзаемых мечами центурионов; коленопреклоненных рабов, молящих хозяев о милости. Короче, истерзанную плоть, издающую стоны и попираемую ногами. Именно такой образ являла клонящаяся к закату империя тем, кто бессильно наблюдал за ее упадком: погрязшему в роскоши и блистающему драгоценными камнями двору, постоянно переезжавшему в зависимости от обстоятельств из Византия в Равенну, из Равенны в Милан (Юлиан, хотя и был императором, и дня не провел в Риме); армии, все еще полнокровной, но все менее и менее дисциплинированной, всасывающей в себя все живые силы завоеванных стран; пустеющим из-за нехватки рабочей силы деревням; Риму, утратившему моральную силу и дух государственности. В конечном счете римское государство уже представляло собой не что иное, как гигантскую машину для перемалывания рода человеческого. Стоит ли в этом случае удивляться, что все большее и большее число людей желало ему гибели и обращалось к религии, предсказывающей эту гибель? Сейчас трудно представить себе, какую отчаянную надежду воплощала собой Церковь и какую освободительную силу большинство задавленных жизнью людей того времени приписывали христианству.

В I веке до н. э. Цезарь хотел улучшить положение завоеванных Римом народов, отменив их подчиненное положение и предоставив им права гражданства. Он успел ввести этот закон в части Транспаданской Галлии^[26] и, несомненно, со временем распространил бы его на все народы, вошедшие в пределы Римского мира. Однако его убийцы не дали ему на это времени, а после него подобное равенство вводилось весьма неохотно, то есть в зависимости от произвола власти и очень ограниченно. Более того,

это равенство не несло освобождение, оно скорее ограничивало права. Ибо отмена подчиненного положения и возведение в гражданство обязывали людей исполнять воинскую повинность, становившуюся все более тяжелой, так что положение солдата стало хуже положения раба: в конце концов императоры уже командовали колоннами каторжников в шлемах.

Мы видели, что во времена Юлиана галльских легионеров нельзя было призвать на войну за пределами их страны, если они не давали на это согласия; и делать это можно было только в летнее время. Они имели право с приближением зимы вернуться к своим очагам. То, что Констанций попытался нарушить этот обычай, привело к бурному восстанию⁷.

Однако со временем гайки закручивались все туже. Галльских солдат стали не только набирать в армию сроком на двадцать лет — то есть практически на всю жизнь, учитывая, что в ту эпоху средняя продолжительность жизни не превышала сорока лет, — но и по первому приказу императора посылать куда угодно: в Британию, в Иллирию, в Испанию, на Восток; и везде с ними обращались столь же жестоко, как со всеми солдатами, набиравшимися среди «варварских племен» (галлов, германцев, персов, сарматов, иберов, нумидийцев и т. п.). Официальные историки восхваляют их смелость и выносливость, и до сего дня невозможно не испытывать гордости при мысли об этих солдатах из числа паризиев, аллоброгов, сикамбров или нервиенов, которые захватили Александрию, прошли мимо стен Вавилона и с песнями на устах вошли в сады Селевкии.

Но не стоит заблуждаться: их существование было весьма жалким, потому что у императоров вошло в привычку обращаться с ними, как с животными, и только накануне сражений говорить с ними, как с людьми. Вся остальная жизнь была для них сплошной цепью мучений и испытаний. Не странно ли, что эти несчастные с восторгом бежали за колесницей Цезаря, переносили на руках свои галеры, чтобы миновать пороги Нила, и сожженные солнцем погибали в месопотамской пустыне, подчиняясь военачальнику, вбившему себе в голову идею о достижении истоков Солнца? А ведь кроме этого они постоянно жили вдали от своих близких, жалованье им платили нерегулярно и заставляли выполнять бесконечные земляные работы: строить укрепления, рыть каналы, восстанавливать дороги, и в перерывах между кровопролитиями это становилось их повседневным занятием⁸.

Поэтому из всех статуй, сохранившихся от той эпохи, наиболее патетическими, несомненно, являются изображения

легионеров-«варваров», умирающих от истощения или убивающих себя в последнем порыве сопротивления и уязвленной гордости. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на «Умиряющего галла» в Музее Капитолия или на «Убивающего себя галла» в Национальном музее в Риме.

Символом империи были теперь уже не триумфальные арки Тита и Севера и не залитые солнечным светом портики Лепты Магны; этим символом стал исполненный силы обвинения барельеф, который можно видеть во Дворце правосудия в Карпентре⁹. Он изображает двоих пленников, прикованных к подножию трофея — памятника в честь победы.

Похоже, что пленники опутаны цепями, хотя об этом трудно судить из-за плохой сохранности барельефа. Их рты приоткрыты то ли в жалобе, то ли в мольбе. Их страдания слишком очевидны, и здесь нельзя ошибиться. А над ними возвышается подавляющий монумент-трофей. Он составлен из ликторских связок прутьев, императорской туники и перекрещенных щитов, повешенных крестообразно на ветвях большого дерева. Но это мертвое дерево. Сам же памятник-трофей стирается и распадается на части, как и символизируемая им слава. По правде говоря, он выглядит мрачно; можно сказать, он похож на огромную виселицу.

Глядя на него, нельзя не задать себе вопрос: стоило ли множить бедствия и подавлять столько народов, чтобы достичь вот этого? Очевидно, не стоило. Единственным утешением для нас может служить то, что потомки этих попранных людей, подвергавшихся столь страшным увечьям, в один прекрасный день преобразились и породили из своего унижения эпоху расцвета великолепных соборов.

Но этого не мог предвидеть ни Юлиан, ни кто бы то ни было из его современников. Они также не могли предвидеть, что Гелиос-Царь, Непобедимый и Блистающий, будет в конце концов сброшен со своего трона силой, превышающей его собственную силу: новой религией, родившейся из человеческого страдания.

ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ

Часть первая

ЗАРЯ

¹ *Soli invicto* (Непобедимому Солнцу) — девиз, начертанный Юлианом на штандартах его римских легионов. Напомним, что культ Солнца был официально введен в Риме Аврелианом (214–275).

² Столица провинции Вифиния (Малая Азия). Никомидия в эту эпоху была важным городом. Ее избрали своей резиденцией императоры Диоклетиан и Лициний. Там же находился двор Константина I, до его перевода в Константинополь.

³ Этот холм находился в двадцати стадиях (ок. 3,5 км) от города (Юлиан. Письма ритору Евагрию. Письмо 46).

⁴ Теперь оно называется Мраморным морем.

⁵ «У меня есть небольшая доминия из четырех поместий, доставшаяся мне от бабушки, — напишет позже Юлиан Евагрию, отдавая ему в дар это имение. — Эта местность расположена не более чем в двадцати стадиях от моря... Если, выйдя из дома, ты поднимешься на холм, то увидишь Пропонтиду, ее острова и город, носящий имя великого императора [Константина]. Там тебя будут окружать только тисовые деревья, тимьян и благоухающие клумбы. Ты найдешь там полную тишину, если захочешь прилечь и полистать книгу; а для того, чтобы отдохнули глаза, нет ничего приятнее, нежели созерцать корабли и море. В юности эта летняя резиденция казалась мне восхитительной... Даже став взрослым, я по-прежнему остался влюблен в это убежище моих прошлых лет: я часто возвращался туда, и ни разу не случилось, чтобы во время этого отдыха я не отдал должное изящной словесности» (*Император Юлиан. Письма I, 2, с. 12*).

⁶ *Император Юлиан. Труды императора Юлиана, II, 2. Соч. VII (Мисопогон), с. 175.*

⁷ О сне Василины сообщает Зонара (XIII, 10, 2 и далее), возможно основываясь на сообщении в письме Евнапия Орибасию: «К тому же родители возлагали на свое дитя большие надежды. Однако этот сон причинял им также беспокойство. Согласно Гомеру, рожденному Фетидой Ахиллу была уготована короткая жизнь и злая судьба» (*Bidez. La Vie de l'Empereur Julien, с. 10*).

⁸ *Аристотель. Физика. II, 2. с. 194b; ссылка автора на Анаксагора (О*

растениях, I, VII (817)), *Dubner*, с. 21, 16. Ср. с «солярным витализмом» Посидония, на которого Юлиан ссылается в своем труде о Гелиосе-Царе (Труды императора Юлиана, 22, 2, с. 102).

⁹ Ср.: Григорий Назианзин. Речи, IV, 91; Феодорит. История Церкви, III, 7; Созомен. История Церкви, V, 10. Одним из двух спасителей Юлиана был епископ небольшого финикийского города Аретузы Марк.

¹⁰ Галл родился в 325 или 326 году в Этрурии от первого брака Юлия Констанция с Галлой (см. генеалогическую таблицу). Галла принадлежала к аристократическому роду. Ее братья Руфин и Цереал исполняли обязанности соответственно консула и префекта.

¹¹ Максимин Фракиец (173–238). Клавдий II Готский (214–270) умер от чумы в Сирмии. В 310 году династия Геркулов, дискредитированная узурпацией и неудачами Максимиана Геркулия, была смещена династией солнцепоклонников Констанция Хлора, в интересах дела породнившейся с потомками Клавдия II (*Norman Baynes. The Historia Augusta, Clarendon. 1926, p. 59*).

¹² Деций, Аврелиан, Проб и Максимиан Геркул были родом из Сирмия; Галерий родился в Сердике (Софии), а Диоклетиан в Салоне (Спалато) в Далмации. Констанций Хлор, «усмиритель Британии», удачливый военачальник, происходивший из рода солнцепоклонников и родившийся в горах Дардании (современная Сербия), основал династию вторых Флавиев, принадлежностью к которой гордился Юлиан. В то же время его бабка Феодора, супруга Констанция Хлора, была по происхождению сирийкой. «Я высоко ценю судьбу, которой меня удостоил бог Гелиос, позволив мне родиться в семье, держащей в наше время власть и правление на земле, — скажет позже Юлиан. — ...Великим счастьем для человека является быть приверженцем этого бога [Гелиоса] вслед за длинной чередой предков, поклонявшихся ему в течение трех поколений [Клавдий II, Констанций Хлор и с 310 по 312 г. — Юлий Констанций, отец Юлиана], и нет ничего зазорного в том, чтобы признать, что ты родился для того, чтобы Служить этому Богу» (Труды императора Юлиана, II, 2, О Гелиосе-Царе, с. 101–102).

¹³ Так назывался личный штандарт императора.

¹⁴ «Сим победишь!»

¹⁵ Константин основал Константинополь 11 мая 330 года.

¹⁶ В 324 году Константин приказал умертвить своего соперника Лициния, который, потерпев за год до этого поражение при Адрианополе, был вынужден отречься и сдаться на милость императора. В 326 году он

повелел умертвить своего старшего сына Криспа, которого подозревал в измене, а также сына Лициния. В том же году по его приказу его супругу Фаусту задушили в бане во время купания. Кроме того, он избавился от цезаря Италии и Африки Севера (307), от Максимиана (310), цезаря Востока Галерия (311), от Максенция и Максимиана Дазы (312).

¹⁷ Вот что пишет Бидэ о смерти Константина: «С наступлением весны (337 г.) Константин отправился во главе своей армии в поход против Шапура, который дерзко оспаривал у него провинции по берегам Тигра, завоеванные Диоклетианом. У Константина была с собой палатка, служившая переносной церковью, и он был окружен свитой епископов, которые должны были молиться за успех экспедиции. Однако вскоре на небе появилась комета необычайных размеров, что породило беспокойство в умах, а вскоре после этого Константин неожиданно заболел. Проезжая поблизости от горячих источников Еленополя в Вифинии, он сделал там остановку, чтобы принять лечебную ванну. Затем он простерся перед мощами мученика Лукиана Антиохийского, которого особо почитала его мать Елена. Но ни купания, ни почитаемая святыня, привлекавшая паломников с высот Дрепанского мыса, не вернули здоровья больному. Напротив, недомогание перешло в приступ лихорадки. Его поспешно перевезли на виллу Анкирон неподалеку от Никомидии, и после шести дней страданий, во время праздника Пятидесятницы, он отдал душу Богу. По счастью, умирающему хватило времени для того, чтобы пройти через воды крещения» («*La Vie de l'Empereur Julien*», с. 13; см. также *Евсевий. Жизнь Константина*, V, с. 65 и далее).

¹⁸ Евсевий Никомидийский был единственным, кто присутствовал при последних минутах жизни Константина. Если обвинительное завещание действительно было обнаружено в руках императора, то никто, кроме Евсевия, не мог вложить его в руки Константина, возможно, по приказу последнего. Быстрое возвышение Евсевия до поста епископа Константинопольского может служить подтверждением этой гипотезы.

¹⁹ В октябре 361 года.

²⁰ Далмаций I, который был убит вместе со своими двумя сыновьями Ганнибалианом и Далмацием II (см.: *Зосим*, II, 40, и *Pauly-Wissowa. Real Encyclopédie der klassischen Altertumswissenschaft*, IV, 2456, p. 13 и далее).

²¹ Труды Цезаря Юлиана, I, 1, с. 215.

²² Труды Цезаря Юлиана. Письмо афинянам, с. 218.

²³ *Аммиан Марцеллин*, XXII, 5, с. 2 и далее; *Филосторгий. История Церкви*, VII, 4 (продолжение описания VI, 7) и с. 230.

²⁴ В своем восхвалении императрицы Евсевии Юлиан утверждал: «В детстве я избежал опасности, которой ни один взрослый человек не мог бы избежать без защиты божественных или чудесных сил» (Труды Цезаря Юлиана, I, 1, с. 91).

²⁵ Вот как позже Юлиан описывал Мардония: «Он называл достоинством простоту, воздержанием строгость, силой духа сопротивление страстям и нежелание искать счастья на этом пути... Хотите, я назову вам имя этого наставника и скажу, какого он был происхождения и где научился таким словам? Он был варваром, клянусь богами; он был скифом [то есть готом]. Он носил то же имя, что и человек, побудивший Ксеркса начать кампанию против Греции (Мардоний). Говорю вам, он был евнухом. Он получил образование благодаря покровительству моего деда, и ему было поручено заниматься воспитанием моей матери на основе поэм Гомера и Гесиода. Но поскольку, произведя на свет меня, своего первого и единственного ребенка, она в расцвете юности умерла, меня по прошествии семи лет отдали этому же воспитателю. С тех пор, вдалбливая мне в голову эти истины, он вел меня прямым путем к учению. И он отказывался признавать все другие пути и запрещал мне следовать по ним...» (Труды императора Юлиана, II, 2, Мисопогон, с. 175–176). Мардония заметил Юлий Юлиан, отец Василины, дал ему хорошее образование и затем поручил обучение своей дочери.

²⁶ Несмотря на это, Юлиан описывал свою жизнь в Мацелле весьма мрачными красками: «Меня и моего брата заточили в сельской местности в Каппадокии, оторвав меня еще ребенком от первых шагов в учении, и не позволяли никому приближаться к нам. Как описать эти шесть лет, которые мы провели в чужом месте, подобно тем, кого персы заточают в своих крепостях? К нам не мог проникнуть никто чужой. Нашим старым друзьям (Мардонию?) отказали в праве навещать нас: мы жили, лишённые какого бы то ни было серьезного образования и свободы общения, и выросли среди замечательных слуг, разделяя свои занятия с собственными рабами, ставшими нам товарищами. Ибо ни одного сверстника рядом с нами не было: это было запрещено! (Труды Цезаря Юлиана, I, 1, с. 216.)

²⁷ «Умоляю тебя, — писал он спустя много лет своему другу Приску, — не позволяй сторонникам Феодора [второстепенного философа-неоплатоника] утомлять твой слух повторением заявлений, будто Ямвлих был честолобив. Ямвлих — истинно божественный учитель, первый после Пифагора и Платона. Если есть дерзость в том, чтобы говорить тебе о нем с таким энтузиазмом, то ты в самом этом воодушевлении увидишь основание

для того, чтобы простить меня. Что до меня, то я без ума от Ямвлиха в философии и от моего тезки [Юлиана Халдейского] в теософии, и, говоря в стиле Аполлодора [фанатично преданного учителю ученика Сократа], рядом с ними, на мой взгляд, никого нельзя поставить» (*Император Юлиан. Письма, I, 2, с. 19*).

²⁸ «Как можете вы не признавать те блага, которыми пользуетесь каждый день не просто как члены некой группы людей, или как представители одной расы, или как жители одного города, но те блага, которые видимые боги одновременно даруют всему миру? — напишет Юлиан позднее александрийцам, пытаясь побудить их признать превосходство Гелиоса над всем. — Неужто вы, единственные из всех, нечувствительны к великолепию, исходящему от Солнца? Неужто вы, единственные из всех, не знаете, что оно есть прародитель жизни и движения во всей вселенной?» (*Император Юлиан. Письма, I, 2, с. 190*).

²⁹ *Ямвлих. О египетских мистериях, с. 56–57.*

³⁰ В «Теосе» энтузиазм определяется как присутствие божества в человеке. Это определение сформулировано уже в «Тимее» Платона. Юлиан будет впоследствии стремиться еще точнее определить суть этого явления и напишет следующее: «Если нельзя переставлять части или как-либо изменять текст Платона, либо просто заменять в нем слова, если следует чтить его целиком таким, какой он есть, поскольку он является священной древностью, то я подчиняюсь этому, ибо вряд ли кто-нибудь трактует мысль этого мудреца иначе, чем я. Говоря о «самом человеке», он имеет в виду не его тело, не его богатства, не его происхождение или славу его предков; все это — индивидуальные качества человека, но не сам человек. Человек, согласно Платону, — это разум, это мудрость, одним словом, это божество, находящееся внутри нас и составляющее в нас наиболее совершенный вид души, который Бог дал каждому в виде гения, пребывающего, по нашему мнению, в верхней части нашего тела и возносящего нас от этой земли к нашему небесному родителю» (*Труды Цезаря Юлиана, I, 1, «Констанций, или О царской власти», с. 140*).

³¹ В то время он не мог никому сказать об этом. Но позже, когда, добившись власти, он смог говорить открыто, он восславил его следующими словами: «На деле я приобщен к духу Гелиоса-Царя! И если я сохраняю в тайне самые неопровержимые доказательства этой приобщенности, то вот что я могу сказать открыто, не боясь впасть в святотатство. С детства я был полон страстной любви к лучам этого бога. Я с самых ранних лет столь полно отдавался в мыслях полету к его эфирному

свету, что не только мечтал не отводить от него взгляда, но, даже выходя на улицу ночью под чистым и ясным безоблачным небом, я был полностью равнодушен к чему бы то ни было и обращал внимание лишь на чудеса небес, не слыша ничего, что мне в это время говорили, и не заботясь о том, что я сам в это время делал...» (Труды императора Юлиана, II, 2, «О Гелиосе-Царе», с. 100–101).

³² Будучи столь чувствительным, Юлиан не мог, прочитав эти тексты, не подпасть под их влияние. Было бы ошибкой отрицать это влияние или преуменьшать его значение. Всю свою жизнь он сохранял печать христианской морали (хотя и отрицал само учение), и именно это делало его язычником, весьма отличным от других язычников. Его постоянная забота о том, чтобы устремления души преобладали над потребностями тела, те усилия, которые он прилагал к воплощению в жизнь праведности и воздержания, его аскетический образ жизни, его презрение к роскоши и почестям, его скромное поведение являются тому подтверждением.

³³ Мы оставляем за читателем право самому решить, был Юлиан христианином или нет. Этот вопрос обсуждается уже в течение многих веков и будет обсуждаться еще долго. Он является основополагающим, потому что в зависимости от ответа обвинение Юлиана в отступничестве окажется либо обоснованным, либо нет. Историки Церкви, отвечая на этот вопрос утвердительно, возвели на Юлиана безапелляционные обвинения. Для них сам факт крещения, смыывающий последствия первородного греха, достаточен для того, чтобы человек стал христианином, каковы бы ни были обстоятельства, при которых это крещение произошло. Божественная благодать, независимая от обретающего ее человека, приносит ему свет, хочет он того или нет, и, если он сознательно отворачивается от него, то навечно обречен скитаться в царстве тьмы.

Монтень и Вольтер придерживались другого мнения. Они считали, что крещение, навязанное обстоятельствами и совершенное в условиях, когда сам получающий крещение человек или его родственники не могут выразить свою волю, недействительно и фактически не происходит. В этом они как бы соглашались с точкой зрения Юлиана. «Никто не может стать христианином вопреки собственной воле, — заявляли они. — Только *приверженность* к вере делает таинство действительным».

Именно поэтому суждения о Юлиане весьма противоречивы. «Во мне воспитывали ужас перед императором Юлианом, — написал Андре Билли в газете «Фигаро» от 8 июля 1968 года. — Мои добрые учителя произносили его прозвище с омерзением. Отступник! Этим все сказано, не

правда ли? Разве отступничество — не одно из самых постыдных преступлений, наименее прощительное в глазах любого, кто получил благодать света веры?» Напротив, Альфред де Виньи записал в своем дневнике 18 мая 1833 года следующее: «Я не могу побороть симпатию, которую всегда чувствовал к Юлиану Отступнику. Если существует переселение душ, то я когда-то был этим человеком. Вот человек, чья роль, чья жизнь, чей характер были бы наиболее подходящими для меня в истории» (цит. по книге: *Luc Estang. L'Apostat*, с. 155–156).

«Даже там, где он говорит о начале своего разрыва [с Церковью], — пишет в то же время Бидэ, — можно обнаружить некоторые склонности ума и сердца, присущие той вере, которую он якобы отвергал. Поэтому его отступничество интерпретировали весьма по-разному. Юлиан смог стать героем Альфреда де Виньи после того, как им восхищался Вольтер. Разнообразие сочувствовавших ему людей свидетельствует о реальной сложности его собственной натуры» («*La vie de l'empereur Julien*», с. 62).

³⁴ *Bidez*. Там же, с. 24.

³⁵ Там же.

³⁶ Там же.

³⁷ Шапур II (309–379) был главой империи Сасанидов, унаследовавшей власть династий Аршакидов и Селевкидов. Изначально эта империя объединяла кочевые племена, пришедшие из Северного Ирана и Центральной Азии, а затем заняла территорию от Евфрата до Окса. Обладая огромной мощью за счет своей большой территории и обилия человеческих ресурсов, она в конце концов почти совпала с границами Персидской империи времен Ахеменидов. Владыки парфянской династии всеми силами настаивали на этой преемственности. Война, которую они вели против Римской империи, была в их глазах продолжением войн Ксеркса и Дария против Греции, происходивших шестью столетиями раньше. «Поэтому, — пишет Юлиан, — они упорно называют себя персами, хотя таковыми не являются!»

³⁸ «Эти народы, — пишет Юлиан, — сохраняют персидские обычаи и подражают им, несомненно боясь, что их примут за парфян, когда они претендуют на имя персов. Еще они любят одеваться, как мидийцы, и маршировать подобно им во время сражений, вооружившись тем же оружием и надев такие же украшенные золотом и пурпуром одеяния... Впереди движется конница: латники, лучники и бесчисленное множество других верховых солдат. Вообще они считают пехоту непригодной для военных действий и никогда не доверяют ей ответственных позиций, ведь

она не особенно необходима на равнинных и неровных землях, которые они занимают. Дело в том, что войско следует ценить высоко или низко в зависимости от необходимости данной войны. Поскольку сама природа их местности делает пехоту почти бесполезной, они обыкновенно не придают ей особого значения» (Труды Цезаря Юлиана. «Констанций, или О царской власти», с. 133–134).

³⁹ В 338, 346 и 350 годах.

⁴⁰ Подробный рассказ о битве при Сингаре можно найти в Панегирике Констанцию (Труды Цезаря Юлиана, I, 1, с. 36 и далее). До Юлиана Фемистий опубликовал описание битвы, скорее, в пользу парфян (Речи, I, 12). Либаний, будучи хорошим придворным, составил другое описание, в котором истолковал поражение римлян как победу (Речи, LIX, 117 и далее). На деле армия Констанция хотя и не попала в плен, но понесла большие потери.

⁴¹ Магненций, отец которого был бретонцем, а мать происходила из франкского рода, был лет, то есть «варвар, рожденный по эту сторону Рейна». Взятый благодаря хорошей осанке на службу в императорскую гвардию, он быстро сделал карьеру и вскоре стал командиром иовианов и геркуланов (Труды Цезаря Юлиана, I, 1, с. 50, прим. 2 и 3).

⁴² Ставший около 348 года епископом Антиохии Леонтий был человеком действия, больше интересовавшимся судьбой своих благотворительных заведений, нежели богословскими спорами, которые становились все более бурными. Его ожидало испытание во время службы в момент, когда нужно было читать «Верую» в присутствии двух основных противоборствующих групп: сторонников вселенской Церкви, которые хотели, чтобы произносились слова «Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу», и ариан, которые настаивали на формулировке «Слава Отцу через Сына во Святом Духе». Чтобы избежать стычки, которая наверняка последовала бы, выбери он одну из двух формулировок, он сказал только: «Слава Отцу», после чего его голос прервался покашливанием и зазвучал как нечленораздельное бормотание, вновь обретя силу только тогда, когда он начал произносить заключительную фразу: «Во веки веков, аминь». Беспокоясь о том, что произойдет после смерти Констанция, он однажды указал тому на его седые волосы и сказал: «Будет много грязи, когда этот снег растает» (*Созомен*, III, 20, 8 и далее; *Феодорит*. История Церкви, II, 24, 3; *Филосторгий*. Речи, III, 13 и 18).

⁴³ Чудотворец и целитель Феофил Индиец родился на каком-то дальнем острове и был смугл, как эфиоп. Констанций поручил ему миссию

в плодородной Аравии (современный Йемен), где он распространял святое слово и, как сообщали, совершил большое количество чудесных исцелений. По возвращении в Малую Азию он стал покровителем Аэция, главы аномеев, самого радикального течения в арианстве. Констанций глубоко уважал его, возможно, потому, что считал Феофила способным благодаря мистической силе выпросить для него у Бога наследника.

⁴⁴ *Bidez*. Цит. соч., с. 28.

⁴⁵ «Говорили, что император раскаивается в Константинопольском убийстве, что его мучают угрызения совести, — напишет Юлиан в письме к афинянам. — Он объясняет этим проступком немилость судьбы, лишаящей его возможности иметь детей, а также думает, что по той же причине его постигают неудачи в войне против персов. Такие слухи распространяли при дворе и в окружении моего брата Галла... Как я уже говорил, рассказывая это, они старались заставить нас поверить в то, что Констанций поступил так частично потому, что его ввели в заблуждение, а частично из-за того, что был вынужден уступить настроению насилия и возбуждения, царившему среди вышедших из повиновения и волнующихся войск. Вот такими песнями они пытались нас убаюкать» (Труды Цезаря Юлиана, I, с. 216).

⁴⁶ Почти достоверно известно, что в молодости и в первые годы правления Константин был приверженцем культа Солнца. Он перешел в христианство только в 312 году, когда, по словам Евсевия, ему было явлено видение сияющего креста на небе с надписью «*In hoc signo vinces*» («Сим победишь»). Однако он принял крещение только в 337 году и за все эти годы не приказал разрушить свою конную статую, открыто свидетельствовавшую о его предыдущих верованиях.

«Действительно, нельзя говорить о Константине, что он был христианином хотя бы потому, что он был крещен за несколько минут до смерти, — пишет Моризо. — Тем не менее церковь окружила его имя ореолом почти что святости» (Julien l'Apostat, с. 167).

⁴⁷ Отсюда происходит имя, которое ему впоследствии дали турки и которое он носит до наших дней — Истанбул, Стамбул.

⁴⁸ *Ricciotti*. Op. cit., с. 35.

⁴⁹ Юлиан пишет: «Это сокровище является для души тем же, чем лучи для солнца... Все золото на земле и под землей не стоит столько, сколько стоит оно. Обладая им, можно дарить его другим и при этом после дарения оно не уменьшается, как и солнце не теряет свой свет, освещая мир» (Труды Цезаря Юлиана, I, 1, с. 155).

⁵⁰ Базилика Святых Апостолов была в 350 году самой большой и наиболее пышной из христианских церквей Константинополя и в какой-то мере исполняла роль собора. Постройка храма Святой Софии была осуществлена только при Юстиниане (482–565), то есть на двести лет позже.

⁵¹ Первое послание коринфянам святого апостола Павла.

⁵² В Риме даже жизнь духовенства была далека от того, чтобы являть собой пример для подражания. Св. Иероним рисует ее самыми мрачными красками в своем послании к Евстохию. Вот что пишет со своей стороны Аммиан Марцеллин о кровавых драках за место епископа, ареной которых был Рим во времена папы Дамаса: «Думая о роскошной жизни, которую ведут в этом городе, я не могу отрицать, что тем, для кого эти вещи имеют ценность, приходится бороться любыми способами и пускать в ход кулаки, чтобы получить желаемое. Когда они достигают своей цели, то успокаиваются, обогащаются за счет приношений матрон, разъезжают в богатых колесницах, тщательно рядятся в изысканные одежды, устраивают столь пышные пиры, что затмевают роскошью обеды царей. И вместе с тем они могли бы быть истинно счастливы, если, презрев величие города, являющегося средоточием их пороков, жили бы подобно некоторым провинциальным епископам. Эти последние благодаря умеренности как в пище, так и в питье, благодаря простой одежде и опущенным долу взорам достойны как чистые и целомудренные люди привлечь внимание вечного бога и тех, кто его почитает (XVII, 2, 14).

⁵³ Циркумцеллионы были христианской сектой, члены которой считали себя «бойцами Бога в битве с дьяволом». Фанатизм заставлял их выступать против общественного порядка в целом и привлекал в их ряды более чем подозрительных людей: беглых рабов, профессиональных воров и т. п. Они окружали крестьянские жилища, грабили и сжигали их и тем самым вызвали к себе ненависть сельского населения.

Энкратиты (*целомудренные*) отказывались от мясной пищи и вина. Они считали брак мерзостью и любили срывать брачные церемонии, провозглашая их несовместимыми с евангельским целомудрием. Они считали «боговдохновенными» лишь некоторые фрагменты Ветхого Завета, отмечая все остальные как порождение Духа Зла.

Основателем секты монтанистов стал в 160 или 170 году некий Монтан, фригийский жрец Кибелы, который в старости перешел в христианство. Ко всем догматическим учениям Церкви монтанисты добавляли веру в постоянное вмешательство Святого Духа, или Параклета.

По их мнению, это вмешательство проявлялось в сверхъестественных наитиях святых, когда им открывалось будущее и объяснялось, какие изменения следует произвести в церковном укладе. Наиболее важным из этих изменений считалось усиление строгости нравов, призванное подготовить верующих к пришествию и вечному царствованию Иисуса Христа, которое, по утверждению монтанистов, должно было скоро наступить. Эта ересь, осужденная св. Елевферием (177–193) и св. Северином (202–218), достаточно быстро распространилась на Западе. На Востоке, хотя и расколовшись на секты квинтилланианов, таскодругитов, артотиритов и др., она просуществовала до конца правления Юстиниана (565 г.).

Донатисты считали себя последователями Доната, епископа в Нумидии. В 312 году он восстал против избрания Цецилиана епископом Карфагена, считая, что это избрание подготовили «изменники». Донат получил поддержку 70 епископов и добился перевыборов. Таково было начало донатистского раскола. На следующий год папа Мельхиад (Мильтиад) созвал в Риме Совет, осудивший Доната и оправдавший Цецилиана от всех обвинений в мошенничестве. Однако донатисты отказались подчиняться этому решению. Константин созвал второй Совет в Арле. В этот Совет входили галло-римские епископы. Они подтвердили осуждение Доната и признали действительным крещение вне вселенской Церкви на том основании, что крещение Христа Иоанном Крестителем произошло до основания Церкви св. Павлом. В 316 году африканские донатисты направили императору апелляцию по поводу решений Арльского Совета. Император осудил их в третий раз.

Гироваги (*скитальцы*) были сектой нищих бродячих монахов, которые скитались по сельской местности и пожирали местные урожаи под предлогом того, что те принадлежат всем. Крестьяне считали их «хуже тучи саранчи», потому что после того, как они где-нибудь проходили, там уже ничего не оставалось.

Аномеи представляли собой наиболее радикальное направление в арианстве. Их вождем был Аэций. Они не признавали догмат о единосущности. Отец, являющийся одновременно собственным Сыном, и Сын, являющийся собственным Отцом, казались им абсурдом.

Хотя этот перечень отнюдь нельзя считать полным, он позволяет составить представление о множестве христианских сект, существовавших в эпоху Юлиана.

⁵⁴ Юлиан ссылается здесь на явление гелиотропизма, очень распространенное в природе и подмеченное еще Порфирием и Ямвлихом.

Эти философы-неоплатоники обратили внимание на то, что крона деревьев активнее растет с той стороны, с которой их освещает солнце, «как если бы они старались пройти маршем перед своим царем». Однако наш ученик теургов относит эти яркие примеры к «цепи движения к Солнцу». «Когда, предваряя наши утренние молитвы, петух поет свой гимн заре, пришествие которой предчувствует, он по сути является частью ряда поклонений Гелиосу, и мощь бога, которого он призывает, как бы присутствует и в нем тоже. На более низкой ступени той же иерархии гелиотропные растения воспроизводят движения бога по небу; мы бы поняли, что цветок тоже молится, если бы наши чувства были способны воспринять звуки, которые он производит, поворачивая свою головку. Таким же образом в мгновения, когда показывается или прячется дневное светило, оживает лотос: он открывает свою чашечку или закрывает ее в движении поклонения, столь же выразительном, как и движения наших губ...»

⁵⁵ Запрет Юлиану посещать уроки Либания, согласно христианским — авторам, исходил от самого Констанция, который поступал таким образом якобы для того, чтобы оградить чистоту веры своего двоюродного брата. Однако, по словам самого Либания, в этом решении немалую роль сыграл Гекебол, который из ревности заставил Юлиана поклясться не присутствовать на занятиях своего соперника-язычника, поскольку в то время Гекебол еще был христианином (*Ricciotti. Op. cit., c. 36*).

⁵⁶ *Venustate oculorum micantium flagrans...* Аммиан Марцеллин, XXV, 4, 22.

⁵⁷ *Grandiaque incedens.*

⁵⁸ Рим утратил свою притягательную силу даже в глазах лучших мыслителей, наиболее преданных древней культуре. Рим перестал быть великим городом, образование развивалось в основном в провинциях. Со школами Афин и Александрии, по-прежнему притягивавшими наибольшее количество учеников, уже могли соперничать школы Никомидии, Анкиры, Пергама, Смирны, Берита, Газы, Кесарии Каппадокийской и Кесарии Палестинской. Слава этих школ постоянно росла (*Bidez. Op. cit., c. 42*).

⁵⁹ Либаний рассказывает: «Можно было видеть, как он в самом простом платье, со свитой, состоявшей только из суровых педагогов, аккуратно ходил на занятия. Он, внук Констанция Хлора, племянник Константина и двоюродный брат правящего императора, абсолютно не заботился о том, чтобы подчеркивать свое высокое положение. Он принимал приглашения и никогда не подчеркивал своего превосходства. В школе он, подобно всем, подчинялся общим правилам. Он говорил тогда,

когда говорили другие. Он не требовал ничего сверх того, что имели другие. Если бы кто случайно вошел в зал, где он находился, то тщетно искал бы его взглядом: его невозможно было отличить ни по каким приметам, которые обыкновенно выделяют людей особого положения... И вместе с тем, несмотря на его желание быть таким же, как все, в его сути было нечто царственное, что проявлялось в ряде исключительных черт» (Либаний. Речи, VIII, 11 и 13).

⁶⁰ См. выше.

⁶¹ «Родившийся в бедности Аэций был вынужден освоить ремесло ювелира, чтобы обеспечивать свою мать. После ее смерти он со страстью отдался изучению диалектики и богословия. Вскоре, участвуя в публичных диспутах, которые тогда были очень распространены, он заслужил недоверие и ненависть людей той безжалостной непримиримостью, которой заставлял своих противников замолчать. Будучи изгнан из Антиохии, он нашел прибежище в Аназарбе, где поступил на службу к некоему грамматiku, а в качестве платы за труд брал у него уроки. Он столь преуспел в занятиях, что по прошествии короткого времени сумел превзойти своего учителя. Поскольку тот разгневался на него за это, Аэцию пришлось вернуться к бродячей жизни. Однажды в Киликии он встретил гностика Борбориана, который сумел во время диспута одержать над ним верх при помощи сильных аргументов. Аэций хотел в отчаянии покончить с собой. Однако некое видение утешило его и объявило, что с этого времени он будет непобедим.

Узнав, что манихейский учитель Афтоний, обладавший удивительным даром красноречия, громит христианские общины Александрии, он сразу же направился туда и предложил Афтонию потягаться с ним. Пройдя несколько этапов диспута, Афтоний был вынужден замолчать; при этом он почувствовал себя столь жалким, что заболел и спустя семь дней умер. Что до Аэция, то, изучив в Александрии медицину с тем, чтобы иметь возможность бесплатно излечивать тело одновременно с душой, он вернулся в Антиохию. Галл был в это время только что назначен туда цезарем. Ему доложили об Аэции столько дурного, что он собирался приговорить его к колесованию. Однако вскоре он передумал, и ему даже пришла в голову фантазия вызвать к себе этого необычайного человека, которого он чуть было не казнил. Допущенный на аудиенцию Аэций сумел завоевать милость, а по прошествии времени и благосклонность цезаря» (Bidez. La vie de l'Empereur Julien, с 90–91).

⁶² «Там еще сохранилось скромное напоминание о моем занятии

садоводством, — пишет Юлиан о своем Астакийском владении. — Это маленький виноградник, дающий ароматное нежное вино и нуждающийся лишь в том, чтобы наступило время, которое принесет ему дары Диониса и Граций. Гроздья, еще висящие на лозе или раздавленные в давилъне, источают запах роз, а сок, едва разлитый в кувшины, становится, по словам Гомера, «отборным нектаром». Почему его больше нет? Может быть, я был не слишком ревностным виноградарем. Поскольку я воздерживаюсь от чаши Диониса и прибегаю в избытке к водам Нимф, я приказывал производить только столько вина, сколько было нужно для меня и моих друзей, а люди такого рода встречаются редко...» (*Император Юлиан. Письма, I, 2, с. 13–14*).

⁶³ Возможно, он также верил, что его защитил благоприятный отзыв Аэция.

⁶⁴ *Либаний. Речи, XVIII, 20 и далее; XIII, 13–16.*

⁶⁵ Плотин (204–270).

⁶⁶ Порфирий (233–304).

⁶⁷ См.: *Ricciotti. Op. cit.*, с. 40.

⁶⁸ Ямвлих (250–330) умер за год до рождения Юлиана, что позволило последнему считать, что он родился для того, чтобы воспринять его философское наследие.

⁶⁹ Труды императора Юлиана. О Гелиосе-Царе: II, с. 85.

⁷⁰ Там же, II, с. 84–85.

⁷¹ Там же, II, с. 89.

⁷² Там же, II, с. 85–93.

⁷³ *Ибсен Генрик. Кесарь и Галилеянин, с. 80–81.*

⁷⁴ Эта формула была позднее вновь применена святым Ансельмом.

⁷⁵ Труды императора Юлиана, II, с. 75. День рождения «Непобедимого».

⁷⁶ См.: *Гор Видал. Юлиан, с. 115–116.* Также: *Franz Cumont. La Religion de Mithra.*

⁷⁷ В Упанишадах можно найти следующий гимн:

О Солнце-Защитник, открой свою дверь золотую,
Что Бога сияющий лик сокрывает.
Позволь мне, искателю истины,
Лик сей увидеть.
Защитник, Всезрящее око,

О ты, Всемогущее Солнце, сын Бога,
Судья справедливый, лучи породивший и их рассыпающий
щедро,
Тепло приносящий по милости вечной своей,
Позволь мне увидеть
Твой образ, дарующий благо,
Тот образ, который ищу я,
Тот образ, которым являюсь!

⁷⁸ Le Grand Autel de Pergame. Leipzig, 1962.

⁷⁹ Согласно Асмусу (*Zeitschrift für Kirchengeschichte*, XXIII, 1902, с. 483 и далее), это, несомненно, было письмо к Феодору.

⁸⁰ Древние называли так храмы, построенные в память героев и иногда содержавшие их захоронения.

⁸¹ Юлиан. Письма, № 79, с. 85–86.

⁸² Там же, с. 87.

⁸³ См.: *Бенуа-Мешен*. Клеопатра, с. 75.

⁸⁴ Там же.

⁸⁵ *Аммиан*, XIV, 2.

⁸⁶ *Bidez*. *Op. cit.*, с. 97; *Аммиан*, XIV, 1 и 7.

⁸⁷ *Аммиан*, XIV, 7 и 11; *Филосторгий*, с. 53.

⁸⁸ Ее не следует путать с другой Констанцией, супругой Галла.

⁸⁹ *Аммиан*, XVIII, 3, 2 и XXI, 6, 4; *Аврелий Виктор*. Послания, XLII, 20; *Филосторгий*, 62.

⁹⁰ *Либаний*. Речи, I, 12.

⁹¹ *Roger Peyrefitte*. *Les Ambassades*, с. 16.

⁹² Там же, с. 25. Я позаимствовал это описание у автора «Посланников» по той простой причине, что лучше об этом не скажешь, а также потому, что он писал это, думая о Юлиане.

⁹³ *Аммиан*, XVI, 5.

⁹⁴ *Григорий Назианзин*. Речи, V, 23.

⁹⁵ *Либаний*. Речи, XVIII, 30.

⁹⁶ Даже сейчас туристы могут посетить большой зал, где мистерии происходили при Валенте и даже при Феодосии (см.: *Bidez*. *Op. cit.*, с. 115).

⁹⁷ Июль — сентябрь 355 года.

Часть вторая

ВОСХОД

¹ Труды Цезаря Юлиана, с. 221.

² *Bidez*. Op. cit., с. 127.

³ Там же, с. 128.

⁴ *Аммиан*, XV, 8, 4 и далее. Те, кто воздержался, возможно, были христианами.

⁵ Там же.

⁶ *Allard*. Julien l'Apostat, I, с. 405.

⁷ *Аммиан*, XVI, 5.

⁸ *Bidez*. Op. cit., с. 134.

⁹ *Allard*. Op. cit., I, с. 394.

¹⁰ *Аммиан*, XVI, 1.

¹¹ Там же.

¹² *Тацит*. Анналы, I, 17, 26.

¹³ *Аммиан*, XVI, 2.

¹⁴ *Allard*. Op. cit., I, с. 403.

¹⁵ Так назывались всадники, защищенные доспехами из металлических пластин, использование которых в римской армии ввел Констанций.

¹⁶ Пехотинцы, имевшие легкое вооружение и отчасти игравшие роль стрелков.

¹⁷ *Allard*. Op. cit., I, с. 404.

¹⁸ *Либаний*. Эпитафия. Reiske, I, 536.

¹⁹ *Юлиан*. Письмо сенату и жителям Афин.

²⁰ Речь идет о Таберне, Саверне-на-Рейне (Цаберн), а не о Трес-Таберне или Саверне в Вогезах.

²¹ *Allard*. Op. cit., I, с. 407–408.

²² Несомненно, это Дейц и Годесберг.

²³ Труды Цезаря Юлиана. Восхваление Констанция.

²⁴ Там же, с. 8.

²⁵ Там же, с. 71.

²⁶ Там же.

²⁷ *Bidez*. *Op. cit.*, с. 144.

²⁸ *Аммиан*, XVI, 7, 1.

²⁹ Там же. XVI, 11, 1.

³⁰ Там же. XVI, 11, 3.

³¹ См. выше.

³² Либаний утверждает, что Барбацион действовал по приказу Констанция, «надеявшегося таким образом предоставить командующему пехотным корпусом возможность одержать победу, к которой Юлиан не имел бы никакого отношения» (*Либаний*. Эпитафии).

³³ Некий варвар по имени Агенарих, воспитанный в Галлии и эллинизовавший свое имя (*Allard*. *Op. cit.*, I, с. 428).

³⁴ *Allard*. *Op. cit.*, I, с. 428.

³⁵ Там же. I, с. 427.

³⁶ Хнодомар был «Агамемноном среди варваров», если воспользоваться замечательным определением Аллара (I, с. 425), которое, впрочем, удивило бы Юлиана.

³⁷ *Аммиан*, XVI, 43.

³⁸ Констанций назначил ему в качестве тюрьмы лагерь наемных войск на Делийском холме. «Находясь вдали от родной страны, — пишет Аммиан, — подавленный унижением и сожалениями, Хнодомар вскоре умер там от изнурительной болезни» (XVI, 12).

³⁹ *Allard*. *Op. cit.*, I, с. 432, прим. 2.

⁴⁰ Ср.: *Бенуа-Мешен*. Александр Великий, с. 141–142.

⁴¹ Там же, с. 148.

⁴² *Тацит*. Походы Германика на Рейн, с. 73 (*Oeuvres choisies*, Paris, 1959).

⁴³ Об этом памятнике и о других строительных работах, произведенных Траяном в этой части Германии, см.: *Duru*. *Histoire des romaines*, IV, с. 738–739.

⁴⁴ *Аммиан*, XVII, 1.

⁴⁵ *Либаний*. Эпитафия.

⁴⁶ Там же.

⁴⁷ Труды императора Юлиана. Мисопогон, II, с. 160–161.

⁴⁸ В результате недавних раскопок под апсидой собора Нотр-Дам в

восточной части Сите был обнаружен посвященный Митре алтарь.

⁴⁹ Дед Юлиана.

⁵⁰ Аммиан, XXV, 4.

⁵¹ Bidez. Op. cit., с. 173.

⁵² Авзоний. Послание 10-е к Павлу.

⁵³ Allard. Op. cit., I, с. 385.

⁵⁴ Либаний. Эпитафия. Юлиан. Письмо сенату и народу Афин.

⁵⁵ Либаний. Эпитафия.

⁵⁶ Либаний. Письма, 369. Юлиан. Письма, с. 3.

⁵⁷ Allard. Op. cit., I, с. 452.

⁵⁸ Ныне Брабант.

⁵⁹ Ныне Фландрия.

⁶⁰ Allard. Цит. соч., I, с. 475. Говоря о том, как Юлиан описывает свои достижения в Галлии, Аллар отмечает: «Можно подумать, что читаешь фрагмент из *Res gestae divi Augusti* (Деяния божественного Августа), выбитые по приказу первого императора на стенах храма в Анкире».

⁶¹ Аммиан, XVI, 5, 14.

⁶² Елена никак не могла привыкнуть к климату Галлии. И она всегда с готовностью пользовалась любой возможностью пожить в Италии или Греции.

⁶³ Было ли это принятие христианства искренним или Ормизд только прикидывался, чтобы умиловить Констанция? Трудно сказать...

⁶⁴ Провинция на восточной границе, Внутренняя Паннония, которую не следует путать с италийской Валерией, сопредельной Самнию.

⁶⁵ Столица Паннонии (ныне Митровица).

⁶⁶ О надписи в Сполето см.: Allard. Op. cit., с. 479, прим. 2.

⁶⁷ Либаний. В защиту Аристофана (*Reiske*, I, с. 438).

⁶⁸ Либаний (*Reiske*, I, с. 465).

⁶⁹ Презрительное уменьшительное от Victor (Победитель).

⁷⁰ Ср.: Гор Видал. Юлиан, с. 330.

⁷¹ Этот аргумент в свое время уже приводил Катон против Цезаря (ср.: Бенуа-Мешен. Клеопатра, с. 14).

⁷² Аммиан, XVII, 11.

⁷³ Мамертин. *Gratiarum actio pro consulatu*.

⁷⁴ Duruy Victor. *Histoire des Romains*, VII, с. 282.

⁷⁵ «Будучи послан в Галлию в звании Цезаря, — пишет Евнапий, — не столько для того, чтобы править, сколько для того, чтобы найти смерть под этим пурпурным плащом, поелику против него затевались тысячи интриг, тысячи заговоров, Юлиан призвал к себе из Греции элевсинского иерофанта и совершил вместе с ним некие ритуалы, известные только им одним».

⁷⁶ Труды Цезаря Юлиана, с. 187.

⁷⁷ Юлиан. Письма. № 14 (Орибасию), с. 22–23.

⁷⁸ См. выше.

⁷⁹ Юлиан. Письма. № 14 (Орибасию), с. 21.

⁸⁰ Аммиан, XX, 4, 1 и далее.

⁸¹ Там же. XX, 4, 3 и далее.

⁸² Там же. XX, 4, 10 и далее.

⁸³ Аммиан, XX, 4; Либаний. Эпитафия Юлиану (*Reiske*, I, с. 553).

⁸⁴ Либаний. Там же.

⁸⁵ Не следует забывать, что Констанций запретил Юлиану брать из государственных фондов суммы, необходимые для выплаты вознаграждения солдатам.

⁸⁶ Юлиан. Письмо сенату и народу Афин.

⁸⁷ Евнапий. *Vitae Soph.*, Ed. Didot, с. 476.

⁸⁸ Юлиан. Письмо сенату и народу Афин.

⁸⁹ Аммиан, XX, 4; Либаний. Эпитафия Юлиану.

⁹⁰ Аммиан, XX, 4.

⁹¹ Там же.

⁹² Юлиан. Письмо сенату и народу Афин.

⁹³ См. выше.

⁹⁴ Юлиан. Письма. № 17 (Цезарь Юлиан — Констанцию), с. 23–25.

⁹⁵ См. выше.

⁹⁶ Так называли варваров — уроженцев левого берега Рейна. Они уже были романизированы и считались превосходными воинами.

⁹⁷ Юлиан. Письма. № 17 (Цезарь Юлиан — Констанцию).

⁹⁸ См. выше.

⁹⁹ Супруга Галла, умершая в результате приступа лихорадки в Вифинии.

¹⁰⁰ Аммиан, XX, 9, 1 и далее.

¹⁰¹ Среди прочих — Эпиктет, один из немногих епископов-ариан в Галлии (ср.: *Bidez. Op. cit.*, с. 189).

¹⁰² *Аммиан*, XXI, 5.

¹⁰³ Речь идет не об италийской Беллоне, богине войны, а о Беллоне Команской, восточной богине, культ которой был очень распространен в IV веке (см.: *Cumont Franz. Le Taurobole et le culte de Bellone* в *Revue d'histoire et de littérature religieuse*, 1901, с. 97 и далее). Некоторые авторы относят к этому же времени и принятие Юлианом «крещения кровью». Тем не менее представляется более вероятным, что оно произошло во Вьенне.

¹⁰⁴ Тем не менее не следует представлять себе этот «заслон» как абсолютно непроницаемый. Все варварские племена, просившие убежища и бравшие на себя обязательство уважать римские законы и обычаи, получали разрешение переправиться через Рейн и обосноваться в Галлии. Однако ни одно из племен уже не могло нарушить границу с оружием в руках.

¹⁰⁵ Эта церемония называлась Квинквенналии. Она некогда отмечала окончание срока военного командования, так как обычно *imperium* (военная власть) давался сроком на пять лет.

¹⁰⁶ См. выше.

¹⁰⁷ *Аммиан*, XXI, 5. Юлиан не хотел отчуждения командиров-христиан.

108

Отсюда идут белыми стадами мощные жертвенные быки,
Омытые многократно в священных водах Клитумна,
Дабы принести триумф римлян в храмы богов...

Так пишет Вергилий об этих великолепных животных, которые усиливали торжественность религиозных обрядов (см.: *Highet Gilbert. Poets in a Landscape*, с 89).

¹⁰⁹ Юлиан подробно описывает военные приготовления Констанция в своем Письме сенату и народу Афин (*Труды Цезаря Юлиана*, с. 233–234).

¹¹⁰ См. выше.

¹¹¹ *Аммиан*, XXI, 5.

¹¹² Там же. XXI, 6; *Allard. Op. cit.*, II, с. 45.

¹¹³ Ср.: Либаний, Мамертин, Зосима и др.

¹¹⁴ *Ab urbe in urbem inopina velocitate* (*Аммиан*, XXII, 2).

- ¹¹⁵ Аммиан, XXI, 9.
- ¹¹⁶ Civitatem, ut praesumebat, dediticiam petens (Аммиан, XXI, 10).
- ¹¹⁷ В своей речи во Вьенне. См. выше.
- ¹¹⁸ Allard. Op. cit., II, с. 57.
- ¹¹⁹ Аммиан, XXI, 10.
- ¹²⁰ Там же.
- ¹²¹ Осада крепостей на Маасе.
- ¹²² Юлиан имеет в виду франкских воинов, которых Констанций включил в свою армию и уподоблял «башням».
- ¹²³ Юлиан. Письмо сенату и народу Афин. Труды Цезаря Юлиана, с. 235.
- ¹²⁴ Либаний. Речи, XII, 64.
- ¹²⁵ Аммиан, XXI, 13.
- ¹²⁶ Один из братьев его матери Василины (которого не следует путать с отцом Василины Юлием Юлианом). Чуть позже Юлиан доверил ему исполнение функций комита Востока.
- ¹²⁷ Юлиан. Письма. № 28, с. 55.
- ¹²⁸ Там же. № 26, с. 54. Он, несомненно, хотел показать Максиму, что не утратил веру.
- ¹²⁹ Ахура-Мазда (Ормузд) и Анхра-Манью (Ариман) были соответственно богами света и тьмы в религии Зороастра.

Часть третья

ЗЕНИТ

¹ См.: *Бенуа-Мешен*. Клеопатра, с. 65. Фарсал — город в Греции, где в 48 году до н. э. войска Юлия Цезаря разгромили войска Гнея Помпея. (*Прим. ред.*)

² Там же, с. 315. У мыса Акции в 31 году до н. э. флот Октавиана Августа разбил флот Антония и Клеопатры. (*Прим. ред.*)

³ *Аммиан*, XXI, 15, 4 и 11, 2; *Либаний*. Речи, XVIII, 117 и далее; *Зонара*, XIII, 12, 1.

⁴ *Юлиан*. Письма. № 28 (Юлиану), с. 55.

⁵ «Становясь открытым врагом [Констанция], — пишет он дяде Юлиану, — я хотел только припугнуть его и надеялся принудить к более справедливым решениям во время переговоров» (Письма. № 28, с. 55). Моризо пишет: «Мы прекрасно знаем о различных состояниях духа Юлиана, о его реакции на события, о его страданиях и разочарованиях. Дело в том, что Юлиан много писал друзьям и, по счастью для нас, судьба позволила сохраниться большей части его переписки. Юлиан наряду со св. Августином является одним из первых людей античности, позволившим нам читать в их душах: его переписка и его труды рисуют нам его столь живым, что он порой кажется живее некоторых из наших современников» (*La science spirituelle*, с. 161).

⁶ И Констанций, и Константин, и Констанций Хлор родились в других местах.

⁷ *Аммиан*, XXII, 2, 4.

⁸ О роли, которую сыграл Аподем в убийстве Галла, см. выше.

⁹ *Bidez*. *Op. cit.*, с. 215.

¹⁰ *Евсевий*. Жизнь Константина, IV.

¹¹ *Bidez*. *Op. cit.*, с. 228.

¹² Там же, с. 237.

¹³ Там же.

¹⁴ *Либаний*. Речи. VIII, 125.

¹⁵ См. выше.

¹⁶ *Bidez*, *Op. cit.*, с. 228.

¹⁷ Там же. С. 229, прим. 12.

¹⁸ Юлиан. Письма. № 89 (Великому жрецу Феодору), с. 151 и далее.

¹⁹ Там же. С. 152.

²⁰ Юлиан. Письма, с. 86. Мисопогон.

²¹ *Pauly-Wissowa*. Real-Encyclopédie, ст. Лициний; Юлиан. Письма, с. 158, 173.

²² Бидэ (цит. соч., с. 271) добавляет: «Этот идеал удалось реализовать лишь частично и значительно позже, причем в лагере противника — в средневековой Церкви».

²³ Юлиан. Письма, с. 166.

²⁴ Труды императора Юлиана, II, 1, с. 102.

²⁵ Там же. II, 2, с. 97.

²⁶ «Для того, чтобы убеждать людей и наставлять их, — пишет Юлиан жителям Востры, — следует обращаться к разуму, а не к телесным наказаниям, ярости и побоям. Я не устаю повторять: пусть те, кто ревностен в истинной религии, не тревожат, не нападают и не оскорбляют эти толпы галилеян. Скорее следует жалеть, нежели ненавидеть тех, кто имеет несчастье столь глубоко заблуждаться» (Письма, с. 195).

²⁷ Юлиан. Письма, с. 72 и далее.

²⁸ Аммиан, XXII, 9, 1.

²⁹ Там же. 7, 8.

³⁰ См. выше.

³¹ Ср.: Ибсен Г. Кесарь и Галилеянин. Император Юлиан, Действие IV, с. 359–360.

³² Ср.: Гор Видал. Юлиан, с. 423.

³³ Ср.: Бенуа-Мешен. Александр Великий, с. 78–79. Цитируется Плутарх (Жизнеописание знаменитых людей).

³⁴ Об Антиохии см.: *Sournia J. C. u M. L'Orient des premiers Chretiens*, с. 13.

³⁵ То есть со времен Антиоха I Сотера (280–261 до н. э.).

³⁶ Эрнст Ренан весьма сурово относился к антиохийцам. Он писал: «Это была бессовестная шайка фигляров, шарлатанов, комедиантов, фокусников, чудотворцев, колдунов, самозванных проповедников. Город бегов, игрищ, танцев, процессий, праздников и вакханалий, безудержной роскоши, всех безумств Востока, самых сумасшедших суеверий, фанатических оргий. Все более погрязая в раболепстве и неблагодарности,

лени и наглости, антиохийцы представляли собой образец толпы, не знающей ни родины, ни национальности, ни семьи, ни честного имени. Большой проспект, пересекавший весь город, превратился в театр, где постоянно в течение целого дня сновали толпы праздных, легкомысленных, переменчивых, мятежных, порой остроумных людей, которые пели, состязались в искусстве пародии, шутили, бесчинствовали и тому подобное...» (Происхождение христианства, цит. в: *Sournia*. Op. cit., с. 18–19).

³⁷ Труды императора Юлиана. Мисопогон.

³⁸ *Шатобриан*. Исторические этюды, II, с. 110.

³⁹ Мисопогон, с. 151–152.

⁴⁰ Очевидно, что начиная с этого момента отношение Юлиана к «галилеянам» ужесточилось. Возможно, его подстрекало к этому новое языческое жречество (см.: *Bidez*. Op. cit., с. 299).

⁴¹ *Юлиан*. Письма, с. 197–198. О гробницах и похоронах.

⁴² Моризо пишет: «Христиане прожили в спокойствии не более пятидесяти лет. Возвращение к старому не прошло без оскорблений и мстительности. Жизнь завела Юлиана дальше, чем он намеревался зайти, и весьма скоро от великодушия и терпимости он перешел к раздражению из-за того, что его не понимают, потом к гневу, и наконец начал иногда прибегать к тирании — тирании уверенного в себе и владеющего собой человека, который хочет навязать своему народу то, что считает справедливым и истинным» (*La Science spirituelle*, февраль 1934, с. 180).

Часть четвертая

ГЕЛИОС-ЦАРЬ

¹ В 37 г. до н. э. См.: *Бенуа-Мешен*. Клеопатра, с. 284–285.

² *Либаний*. Речи, XVIII, 164.

³ Там же. XVIII, с. 194.

⁴ *Либаний*. Послания, 802.

⁵ *Юлиан*. Письма, с. 183–184.

⁶ В настоящее время на этой территории проживают курды.

⁷ См. выше. Луцилиан командовал флотом на Дунае.

⁸ «Сурена» на парфянском языке значит «главнокомандующий». Так что это, очевидно, не имя собственное.

⁹ Некоторые авторы — среди них Аллар, — анализируя этот маневр, делают вывод, что у Юлиана не было заранее составленного плана кампании и что он действовал под влиянием минутного вдохновения. Это утверждение недоказуемо. Юлиан не приказал бы флоту спускаться от Самосаты по Евфрату, не обеспечив его защиту сухопутными войсками.

¹⁰ Труды императора Юлиана, II, 1, 102.

¹¹ Во время праздника Нила, который Бонапарту еще удалось наблюдать во время своего пребывания в Каире в 1798 году, в реку бросали глиняную статую, изображавшую «невесту Нила» (см.: *Бенуа-Мешен*. Бонапарт в Египте, с. 140). Кроме того, мы знаем, что в день праздника Кибелы римляне омывали статую богини в Альмоне. Похоже, здесь речь идет о том же ритуале.

¹² *Аммиан*, XXIII, 3. Поскольку это случилось вскоре после пожара в храме Аполлона в Дафне, Юлиан был склонен видеть в этом не небесное знамение, а дело рук христиан.

¹³ Речь идет о некоем армейском служащем, казненном палачом за то, что обоз с продовольствием, за который он отвечал, не прибыл по реке в назначенное время. Аллар пишет: «Этот приговор был слишком поспешным и жестоким, потому что на следующий день на Евфрате появилась обещанная им флотилия с зерном» (op. cit., III, с. 213).

¹⁴ *Аммиан*, XXIII, 5.

¹⁵ Там же.

¹⁶ Там же.

¹⁷ *Allard. Op. cit.*, III, 215.

¹⁸ См.: *Гор Видал*. Цит. соч., с. 548.

¹⁹ Там же, с. 548–549.

²⁰ *Аммиан*, XXIV, 6.

²¹ *Либаний*. Эпитафия. Со своей стороны, Евнапий заявляет, что богатая добыча, захваченная под стенами Ктесифонта, «ослабила дух войска».

²² *Bidez. Op. cit.*, с. 318.

²³ См. выше.

²⁴ Через посредничество Ормизда.

²⁵ *Григорий Назианзин*. Речи, V, 10.

²⁶ Даже Аммиан, всегда стоявший на стороне Юлиана, но писавший на латинском языке и глубоко приверженный римской традиции, упрекал Юлиана за то, что тот не принял условия Шапура.

²⁷ *Allard. Op. cit.*, III, с. 273; *Аммиан*, XXV, 3.

²⁸ *Либаний*. Эпитафия. Либаний обвиняет в этом христиан.

²⁹ *Созомен*, VI, 2. Будучи сам христианским историком (V век), Созомен тоже считает, что это сделал христианин.

³⁰ Абсолютно точно известно, что Юлиан никогда не произносил знаменитую фразу: «Ты победил, Галилеянин!», хотя она и считается одним из немногих его изречений, дошедших до последующих поколений. Эту фразу приписал ему спустя сто лет после его смерти христианский историк Феодорит.

³¹ Персам пришлось оплакивать множество погибших из числа знати, сатрапов и простого народа, среди них двоих своих лучших военачальников Мерену и Ноходара. С римской стороны в основном пострадал правый фланг, где находился Анатолий (см.: *Allard. Op. cit.*, III, с. 278–279).

³² *Аммиан*, XXV, 3; *Либаний*. Эпитафия Юлиану.

³³ В частности, это «Прорицание богу Гелиосу», которое сохранилось до наших дней:

Когда ты скипетром твоим повергнешь расу персов,
Их до Селевкии преследуя ударами меча,
Тогда ты вознесешься на Олимп на огненной повозке —
Ее колеса будут землю сотрясать.
Свободный от страданий, что присущи телу,

Ты окунешься в дивный свет эфира
Там, где Отец твой правит и откуда,
С дороги сбившись, ты явился в мир
И жил в нем в теле человека.

Часть пятая

ОПАЛЕННАЯ МЕЧТА

¹ *Ignobili decreto* (Аммиан, XXV, 7).

² *Necessarium quidem, sed ignobilem* (Евтропий. *Brev.*, X, 16).

³ Основатель антропософии Рудольф Штайнер без колебаний назвал императора Юлиана «Титаном». П. Моризо, со своей стороны, пишет: «Юлиан попытался свершить великое, стараясь на уровне действий разрешить угнетавшее его душу противоречие, и эта его попытка по своему размаху, пожалуй, не имеет равных в истории» (*La Science spirituelle*, март 1934, с. 241).

⁴ *Allard*. *Op. cit.*, III, 309.

⁵ *Duruu Victor*. *Histoire romaine*, с 562–563.

⁶ См.: *Бенуа-Мешен*. Александр Великий, с. 276 и далее.

⁷ См.: *Bergasse Henry*. *Le Tocsin de la decadence*, Paris, 1975, с 179–180.

Заключение

ГЕЛИОС-ЦАРЬ, ПОБЕЖДЕННЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ СТРАДАНИЕМ

¹ См. выше.

² Эннеады, I, IV, 14.

³ Там же. V, VIII, 1.

⁴ См.: *Ranuccio Bianchi Bandinelli*. Rome, la fin de l'art antique, Paris 1970, с 16–19.

⁵ Напомним, что Клавдий Готский (214–270) был прадедом императора Юлиана.

⁶ *Bandinelli*. Op. cit., с. 3.

⁷ См. выше.

⁸ Знаменитые дороги, тянувшиеся на многие километры от Рейна до Оронта и от Волубилиса до Александрии, были построены почти исключительно легионерами-варварами.

⁹ Не следует путать этот барельеф с тем, который можно видеть на триумфальной арке в том же городе. На последнем изображены два закованных в цепи пленника — германец и перс — у подножия трофейного монумента.

ЛИТЕРАТУРА

ТРУДЫ ИМПЕРАТОРА ЮЛИАНА

Труды Юлиана Цезаря: Discours de Julien César, «Les Belles Lettres», Paris, 1932

- Eloge de L'Empereur Constance
- Eloge de l'Empératrice Eusebie
- Les Actions de l'Empereur ou De la Royauté
- Sur le Dérart de Salluste
- Au Sénat et au Peuple d'Athènes

Труды Императора Юлиана: Discours de Julien Empereur, 2 vol., Paris, 1963-1964

- A Thémistius
- Contre Héracléios le Cynique — Sur la Mère des Dieux
- Contre les Cyniques ignorants
- Les Césars
- Sur Hélios Roi
- Le Misopogon

Письма: Lettres et fragments, Paris, 1924

ДРЕВНИЕ ИСТОЧНИКИ:

Ammianus Marcellinus. Historiae

Eunapius. Vitae Sophistarum.

Eusebius. Vita Constantini.

Jamblichus. De mysteriis Aegyptiorum.

Libanius. Epistolae. Orationes.

Gregorius Nazianzenus. Oratio contra Julianum. Epistulae.

Philostorgius. Historia Ecclesiastica.

Plotinus. Enneades.

Porphyrius. Opera philosophica.

Sallustius. De deis. De mundo.

Sozomenus. Historia ecclesiastica.

Tacitus. Opera.
Thémistius. Epistolae; Orationes.
Theodoretus. Historia Ecclesiastica.

ЛИТЕРАТУРА:

- Allard Paul.* Julien l'Apostat. Paris, 1903.
Asmus R. Julian and Dio Chrysostomos. Tauberbischofsheim, 1896.
Baynes H. A. The Historia Augusta. Oxford, 1920.
Bidez J. Vie de Porphyre. Gand, 1913.
Bidez J. Michel Psellus: Epître sur la Chrysopée, etc.; Proclus: Sur l'Art hiératique, etc. Bruxelles, 1928.
Bidez J. La Vie de l'Empereur Julien. Paris, 1930.
Bidez J. et Cumont Franz. Les Mages hellénisés. Paris, 1938.
Bruckhardt Jacob. Die Zeit Constantin des Grossen. Basel, 1853.
Chateaubriand. Etudes historiques. Bruxelles, 1852.
Cumont Franz. Les Mistères de Mithra. Bruxelles; Paris.
Cumont Franz. Les Religions orientales dans le Paranisme romain. Paris, 1928.
Cumont Franz. Melanges Franz Cumont. Bruxelles, 1936.
Forster R. Kaiser Julian in der Dichtung alter und neuer Zeit. Berlin, 1905.
Frenzel Elizabeth. Stoffe der Weltliteratur. Stuttgart, 1963.
Geffcken J. Kaiser Julian. Leipzig, 1914.
Gibbon Edward. The Rise and Fall of the Roman Empire.
Grillot Henri. Le Culte de Cybèle. Paris, 1912.
Ibsen Henryk. Empereur et Galiléen. Paris, 1937.
La Motte-Fouqué. Légende vom Kaiser Julianus dem Abtrunnigen; Geschichten von Kaiser Julianus und seinen Rittern, 1816–1818.
Lot Ferdinand. La Fin du Monde antique et le Début du Moyen Age. Paris, 1927.
Merejkowsky Dmitry. La Mort des Dieux (*Мережковский Дм. Смерть богов*).
Mendier L. Le Philisophe Thémistius. Rennes, 1906.
Mugne. Patrologie.
Morizot P. Julien l'Apostat // La Science spirituelle. Paris, février — mars, 1934.
Navilie H.-A. Julien l'Apostat et la Philosophie du Polythéisme. Neuchatel;

Geneve, 1877.

Negri Gaetano. L'Imperatore Giuliano l'Apostata. Milan, 1901.

Reinhardt G. Der Perserkrieg des Kaisers Julian. Dessau, 1892.

Ricciotti Giuseppe. Julien l'Apostat. Paris, 1959.

Schwarz W. De vita et scriptis Juliani imperatoris. Bonn, 1888.

Simon J. Histoire de l'Ecole d'Alexandrie.

Sournia Jen-Charles et Marianne. L'Orient des premiers Chrétiens. Paris, 1966.

Strindberg August. Historiska miniatyrer, 1905.

Vermaseren M.-J. Mithra, le Dieu secret.

Vidal Gore. Julien. Paris, 1966.

Vigny Alfred, de. Daphné. Paris, 1912.

Voltaire. Статья о Юлиане в Философском словаре.

ДОПОЛНЕНИЯ К БИБЛИОГРАФИИ

Athanassiadi-Fowden P. Julian and Hellenism: An intellectual biography. Oxford, 1981.

Bouffartique J. L'Empereur Julien et le culture de son temps. Paris, 1992.

Bowder D. The Age of Constantine and Julian. London, 1978.

Bowersock G W. Julian the Apostata. Cambridge (Mass.), 1978.

Browning R. The Emperor Julian. Berkeley; Los Angeles, 1976.

Krawczuk A. Julian Apostata. Warszawa, 1974.

Smith R. Julian's gods: Religion and Philosophy in the Thought and Action of Julian the Apostata. L; N.-Y., 1995.

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ:

Юлиан. Кесари или императоры на торжественном обеде у царя Ромула, где и все боги. СПб., 1820.

Юлиан. Речь к антиохийцам, или Мисопогон. Нежин, 1913.

Юлиан. Письма Вступительная статья и перевод Д. Е. Фураман под ред. А. Ч. Козаржевского / Вестник древней истории. 1970. № 1–3.

Аммиан Марцеллин. Римская история. СПб., 1994.

Григории Назианзин (Григорий Богослов). Собрание творений в 2 т.

(репринт). Сергиев Посад, 1994.

Евсевий Памфил. Сочинения. Т. 2. Четыре книги о жизни блаженного царя Константина. СПб., 1849.

Евсевий Памфил. Жизнь блаженного василевса Константина. М., 1998.

Либаний. Речи. Казань, 1912–1916. *Плотин.* Сочинения. СПб., 1995. *Плотин.* Избранные трактаты в 2 т. М., 1994. *Созомен, Эрмий.* Церковная история. СПб., 1851. *Тацит, Корнелий.* Сочинения в 2 т. М., 1993. *Феодорит.* Церковная история. СПб., 1852.

Филосторгий. См.: Фотий, патриарх Константинопольский. Сокращенная церковная история Филосторгия. СПб., 1854. *Ямвлих.* О египетских мистериях. М., 1995.

Аллар, Поль. Христианство и Римская империя от Нерона до Феодосия. СПб., 1898.

Алфионов Я. И. Император Юлиан и его отношение к христианству. Казань, 1877.

Видал, Гор. Юлиан. СПб., 1997.

Вишняков А. В. Император Юлиан Отступник и литературная полемика с ним св. Кирилла архиепископа Александрийского в связи с предшествующей историей литературной борьбы между христианами и язычниками. Симбирск, 1908.

Ибсен, Генрик. Кесарь и Галилеянин. I. Отступничество Цезаря. II. Император Юлиан. — Собр. соч. Т. 3. М., 1957.

Мережковский Д. С. Смерть богов. М., 1991.

Муравьев А. В. Переписка Юлиана Отступника и св. Василия Великого (BNG 260) в связи с житийной традицией последнего // Вестник древней истории. 1997. № 2.

Новиков А. А. Политическая теория и политические взгляды императора Юлиана и его политическая сатира «Мисопогон» // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2. 1992. Вып. 2 (№ 9).

Попова Т. В. Трактат Юлиана «Против галилеян» // Вопросы античной литературы и классической филологии. Сб. статей. М, 1966.

Рабинович Е. Г. «Золотая середина»: к генезису одного из понятий античной культуры. (О трактате Юлиана Отступника «К Царю Гелиосу») // Вестник древней истории. 1976. № 3.

Розенталь Н. Н. Юлиан Отступник (Трагедия религиозной личности). Пг., 1923.

Стриндберг, Август. Исторические миниатюры. — Полное собр. соч. Т. 12. М, 1911.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ ИМПЕРАТОРА ЮЛИАНА

331, *ноябрь или декабрь* — рождение в Константинополе.

337, *22 мая* — смерть императора Константина Великого.

Лето — убийство по приказу императора Констанция отца Юлиана Юлия Констанция и членов его семьи, за исключением Галла и Юлиана.

347 — император Констанций посещает Юлиана в Мацелле.

351, *15 марта* — Галл, брат Юлиана, провозглашен цезарем Востока.

Конец года — Юлиан переведен в Никомидию.

354, *осень* — посещение Илиона (Трои).

Декабрь — казнь Галла.

355, *июль — сентябрь* — пребывание Юлиана в Афинах.

Октябрь — прибытие в Милан, арест.

6 ноября — возведение Юлиана в сан цезаря. Женитьба на Елене, сестре императора Констанция.

1 декабря — выезд в армию.

356 — поход к Кельну, участие в войне с германцами.

357, *январь* — успешная оборона Санса. Юлиан возведен в ранг главнокомандующего всеми силами в Галлии.

Август — победа под Страсбургом над германцами. *Октябрь* — переправа через Рейн.

358, *май* — поход против салических франков и хамавов.

360, *январь* — Юлиан провозглашен августом (императором).

Ноябрь — Эдикт о веротерпимости, действующий пока лишь на территории Галлии.

361, *июль* — клятва войска в верности Юлиану.

Начало августа — Юлиан выступает из Вьенна.

10 октября — Юлиан высаживается в Бононии.

3 ноября — смерть императора Констанция. Юлиан становится законным императором и правителем империи. 362 — подтверждение Эдикта о веротерпимости. Восстановление прав язычества в масштабах всей империи.

Лето — начало восточного похода.

18 июля — прибытие в Антиохию.

363, *12 февраля* — указ о запрещении хоронить днем.

5 марта — выступление из Антиохии. Начало войны с Шапуром.
26 июня — смерть Юлиана.

Иллюстрации



Предполагаемый бюст императора Юлиана.



Император Константин Великий. Обломок статуи-колосса из Рима.



Монета императора Констанция II.



Монета императора Магненция.



Император Констанций II.



Чаша с изображением триумфа императора Констанция II.



Молодой Юлиан. Именно таким можно представить себе будущего императора во время его пребывания в Астакии.



Афины. Парфенон.



Плотин.



Александрийские катакомбы. Такой была подземная часовня, в которой Юлиан получил первое посвящение.



Солнечное божество. Храм Ваал-Шамина в Пальмире.



Римские солдаты, ведущие быка для жертвоприношения.



Языческие иерофанты, приступающие к ритуалу посвящения. Фреска из Дюра-Эвропос.



Римский легионер в единоборстве с германским воином. *Изображение на колонне Трояна.*



Монета императора Юлиана, отчеканенная в Галлии. *Лицевая и обратная стороны.*



Зал во Дворце терм в Лютеции, где галльские легионы провозгласили Юлиана Августом.



Монета с изображением императора Юлиана. *На реверсе:* римский легионер ведет за собой пленника.



Солнечные божества под защитой римских орлов *Барельеф из Пальмиры.*



Митра, приносящий в жертву солнечного быка.



Митра (справа) посещает царя Антиоха. Барельеф в Нимруд-Даге.



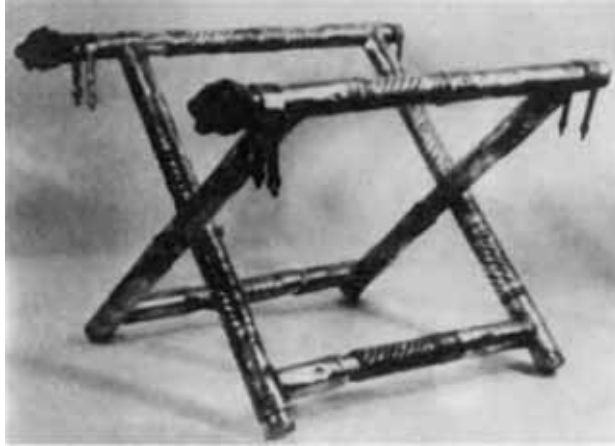
Солнечная Троица воинов. Пальмира.



Император Юлиан в период пребывания в Антиохии.



Шлем. Начало V в.



Походный складной стул императора. IV–V вв.



Дворец в Ктесифонте на берегу Тигра, где Юлиан впервые сразился с силами Шапура.



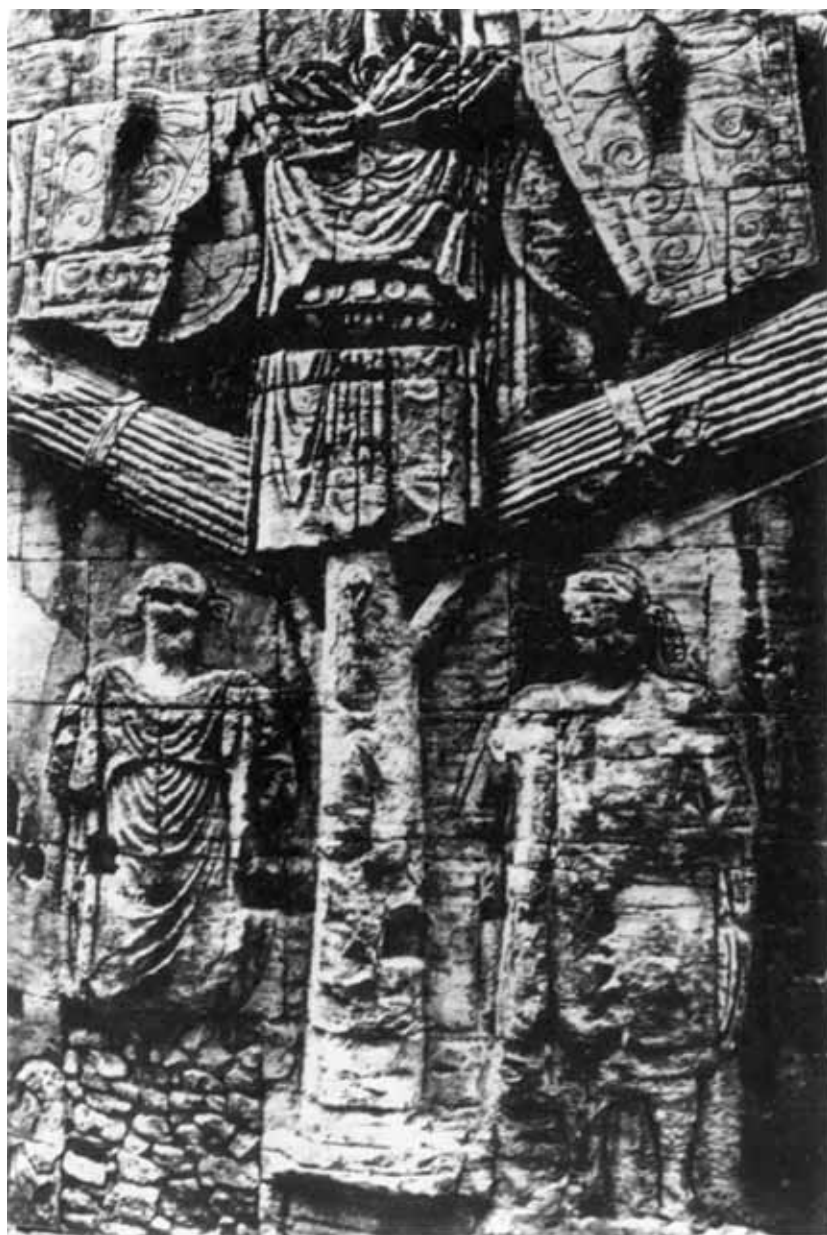
Шапур-триумфатор. Накш-и-Раджаб. Этот рельеф изображает Шапура I и относится к III в. до н. э. Победителем Юлиана стал Шапур II, живший на несколько столетий позже. Однако искусство за этот период не слишком изменилось, и вполне можно представить себе, что триумф Шапура II над Юлианом выглядел так же.



Голова варвара. *Деталь саркофага. Рим.* В изображении страданий погранных народов проглядывают черты страдающего Христа.



Статуя, изображающая императора Юлиана. *Лувр.*



Триумфальная арка в Карпентре. Закованные в цепи пленники, разваливающийся на части трофейный монумент — это образ самой Римской империи, какой она стала после смерти Юлиана.

notes

Примечания

1

Непобедимому Солнцу (*лат.*).

Автор, кажется, заблуждается, считая Елену второй женой Констанция Хлора. На самом деле, она была его первой женой и он вынужден был развестись с ней по требованию императора Диоклетиана. *(Прим. ред.)*

Пропилеи (греч. Προπυλαία) — монументальные ворота при входе в город или храм. В переносном смысле — преддверие.

4

Ямвлих.

5

Обувь с деревянными подставками под подошвами.

Пребнда — доход с церковного имущества; *бенефиций* — жалованная императором земельная собственность.

Алкиной — мифический царь феаков, приютивший у себя Одиссея и давший ему корабль для возвращения на Итаку.

Диадок — греч. «преемник». В описываемое время это слово обозначало «преемника в сане главы школы», в данном случае — традиции элевсинских мистерий.

9

Так назывался элевсинский жрец.

Велиты (от лат. *velum* — «покрывало») — легковооруженные солдаты, одетые не в металлические панцири, а в плащи. Предназначались для линейных стычек во время боя.

Регии (от лат. *regius* — «царский») — царские войска, лейб-гвардия.

То есть Александр Македонский.

Гунас — самый восточный из левых притоков Инда.

Публий Квинтилий Вар, наместник в Германии. Потерпев сокрушительное поражение в Тевтобургском лесу от германских племен, покончил жизнь самоубийством (9 год н. э.).

Германик (15 до н. э. — 19 н. э.) — римский военачальник, племянник императоров Тиберия и Домициана, успешно воевавший с германскими племенами.

16

Внутреннее помещение в римском доме, чаще всего трапезная.

То есть римские знамена.

Бухта у входа в пролив Босфор, на обоих берегах которой расположен Константинополь.

Энциклики — окружные послания. В данном случае автор имеет в виду обращения папы римского к подвластным ему церквам.

Левант — общее название стран, прилегающих к восточной части Средиземного моря.

Пергола — озелененная вьющимися растениями беседка или галерея.

Проконий — историк VI века, автор «Истории войн» в восьми книгах.

Григорий I (Великий) (ок. 540–604) — папа римский с 590 года, известный своей административной, юридической и литературной деятельностью.

«Верую, ибо это непостижимо» *(лат.)*.

«В здоровом теле — здоровый рассудок» (*лат.*).

Часть Галлии, расположенная по другую сторону реки Пад (По).